

89. P.
7-52

САТЕЛОТОЙ
ОЧЕРКИ
БЛАГО

75

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

С Е Р И Я ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией

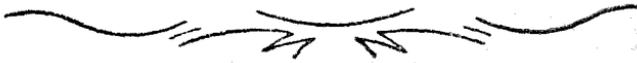
Н. А. БРОДСКОГО, Ф. В. ГЛАДКОВА,
Ф. М. ГОЛОВЕНЧЕНКО, Н. К. ГУДЗИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1956

С. А. ТОЛСТОЙ



О Ч Е Р К И
Б Ы Л О Г О

В Т О Р О Е И З Д А Н И Е



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1956

014041 ✓

ОТ РЕДАКЦИИ

Автор «Очерков былого», Сергей Львович Толстой, старший сын Льва Николаевича Толстого, родился в 1863 году. В течение почти полувека Сергей Львович имел возможность близко наблюдать жизнь великого русского писателя. Сергей Львович не разделял религиозно-нравственного учения отца и был свободен от реакционных взглядов «толстовцев». Такая позиция автора публикуемых воспоминаний позволила ему быть наиболее объективным наблюдателем происходящих в семье событий. Обладая ясным умом, широкой эрудицией в области искусства, незаурядной музыкальностью, Сергей Львович на протяжении нескольких десятилетий живо интересовался многими сторонами жизни и творческой деятельности Льва Толстого и его отношением к различным областям искусства: литературе, живописи, музыке. Он собирал семейные предания о роде Толстых и материалы о годах юности и молодости Льва Николаевича.

С. Л. Толстой известен советскому читателю статьями о жизни и творчестве своего отца. Его перу принадлежит несколько статей на тему о музыкальных интересах Толстого: «Музыка в жизни Толстого» (1911), «Музыкальные произведения, любимые Л. Н. Толстым» (1912), «Нечто о цыганской песне» (1913), «Л. Н. Толстой и П. И. Чайковский» (1924).

Его работы «Мать и дед Л. Н. Толстого» (1928) и др. явились целым вкладом в биографическую литературу о Толстом.

Сергей Львович был свидетелем многих встреч писателя с выдающимися современниками, посещавшими Ясную Поляну. Ему принадлежит известная статья «Тургенев в Ясной Поляне» (1919). Всегда глубоко интересуясь творческой историей художественных произведений своего отца, он в разное время опубликовал чрезвычайно интересные, богатые новым фактическим материалом статьи о творческой истории ряда произведений Л. Н. Толстого: «Об отражении жизни в «Анне

Карениной» (1939), «История писания и первая постановка «Плодов просвещения» (1940), «Ясная Поляна в творчестве Л. Н. Толстого» (1942). Ему принадлежат также и некоторые этюды-воспоминания о круге читательских интересов Льва Толстого, его стиле и т. д.— «Толстой о поэзии Тютчева» (1912), «Юмор в разговоре Л. Н. Толстого» (1923). Статьи С. Л. Толстого носят весьма своеобразный характер. Они не являются исследованиями в обычном понимании этого слова: в них излагаются в новостной форме различные события из жизни и творческой деятельности его отца. Вместе с тем в них нет обычной для мемуаров о Толстом голый фактографии: факты истолковываются автором, вводится критически осмысленный и проверенный архивный материал и т. д.

Значительно реже публиковал С. Л. Толстой свои воспоминания. Из его воспоминаний читателю до издания «Очерков былого» известно было очень немногое. Полностью были опубликованы включенные в «Очерки былого» глава «Мой отец в семидесятых годах» (см. «Красная новь», кн. 9, 1928), отрывки из последних глав (например, «Последние дни» — «Литературная газета», 1940, 17 ноября; «Последний путь» — «Правда», 1940, 20 ноября), некоторые главы о посетителях Ясной Поляны (например, о Тургеневе). Подавляющая часть воспоминаний «Очерков былого» впервые была опубликована в 1949 году (Гослитиздат, 1949). Следует отметить, что автор сам готовил свои воспоминания к печати, затратив на это много лет жизни. Эту работу С. Л. Толстой вел вместе с Н. С. Родионовым, который после смерти автора, последовавшей 23 декабря 1947 года, и завершил редакцию настоящих очерков.

Воспоминания С. Л. Толстого во многом дополняют литературу о Льве Николаевиче Толстом новыми фактическими данными о жизни писателя. В них читатель найдет свидетельства, освещающие гнетущую драму в семье писателя, распря из-за завещания писателя между В. Г. Чертковым, с одной стороны, и С. А. Толстой и некоторыми из членов семьи, с другой стороны. Весьма ценна фактическая сторона воспоминания Сергея Львовича о поездках Льва Николаевича в самарское имение, о последних днях его жизни, об откликах на смерть писателя и многое другое. Но не меньший интерес представляют для читателя и воспоминания о лицах, окружавших писателя. Воспоминания о встречах Толстого с Тургеневым и Фегом, Репиным и Ге и другими выдающимися деятелями русской культуры помогают читателю понять колоссальную разносторонность интересов писателя, глубочайшую его эрудицию во многих областях искусства и культуры.

Ценность этих очерков увеличивается тем, что Сергей Львович наряду с общеизвестными сведениями сообщает новые детали взаимоотношений Толстого с лицами из его окружения.

Характерна, например, в этом отношении глава о Танееве. Ничего не преувеличивая и не прикрашивая, автор правдиво повествует о роли Танеева в жизни семьи Толстых. Думается, что этим последним свидетельством сына писателя будет положен конец всем кривотолкам и вымыслам, которыми по этому поводу «увлекалась» падкая к сенсациям буржуазная печать, да и ныне смакует буржуазное «литературоведение» за рубежом.

В «Очерках былого» встречаются страницы, являющиеся воспоминаниями о личной жизни автора, почти совсем не связанные с жизнью и деятельностью его отца («Университет», «Д. И. Менделеев и самозванцы поневоле»). И эти главы не лишены интереса для читателя, поскольку автор воспоминаний рассказывает в них о своих встречах с выдающимися людьми того времени.

Внимание читателя привлекут и страницы воспоминаний, ярко характеризующие быт отжившей эпохи (охота в Ясной Поляне, скачки в башкирских степях, взаимоотношения семьи Толстых с управляющими именьями и окружающими их крестьянами и др.). Воспоминания автора об его участии вместе с отцом в охоте, в организации скачек — дополнительное к имеющимся в литературе о Толстом свидетельство увлечения писателя охотой, его любви к жизни среди природы и самой русской природе. Эти страницы воспоминаний живо напомнят читателю бессмертные картины русской природы в произведениях Л. Н. Толстого и, в частности, описание охоты в «Войне и мире», так высоко ценимое В. И. Лениным.

«Очерки былого» имеют неоспоримое преимущество перед многими из мемуаров о Толстом. Они свободны от одностороннего, тенденциозного религиозно-нравственного освящения жизни Толстого, как же мы встречаем в воспоминаниях единомышленников писателя. Воспоминания Сергея Львовича свободны также от вымысла, которым грешат мемуары некоторых лиц из окружения писателя.

С. Л. Толстой последние тридцать лет своей жизни прожил в нашу советскую эпоху, неутомимо трудясь на поприще социалистической культуры. За свои заслуги перед родиной он был в 1943 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.

С. Л. Толстой горячо откликался на важнейшие события в жизни Советской страны, особенно в годы Великой Отечественной войны, глубоко любил историю своей родины и ее культуру. Однако С. Л. Толстой был весьма далек от марксистско-ленинского понимания истории России, что наложило известный отпечаток и на его воспоминания: социальный смысл противоречий Толстого, вскрытый В. И. Лениным, во многом не понят автором «Очерков былого». В воспоминаниях Сергея Львовича разрыв Толстого с своей средой обуславливается не социальными, а главным образом религиозными исканиями и семейным

разладом. Самый же семейный разлад объясняется автором в основном личными, а не теми глубокими социальными мотивами, о которых не раз свидетельствовал сам писатель.

Читатель не всегда встретит здесь правильное понимание всей противоречивости творчества Толстого, мало ощутит Толстого-обличителя, срывателя всех и всяческих масок, борца против угнетения миллионов масс крестьянства. Мы не можем, естественно, разделить и точку зрения автора, частично совпадающую с взглядами его отца на роль и значение сектантского религиозного движения духоборов, Сютасина и других выразителей слабых сторон идеологии патриархального дореволюционного крестьянства.

Глава «Осень. 1905 года» была написана автором вскоре после 1905 года и с тех пор им не перерабатывалась. Поэтому она отражает лишь настроения кругов либеральной интеллигенции, к которым в то время принадлежал С. Л. Толстой. Рассказывая о революции 1905 года, автор не смог понять исторические процессы, ее породившие, и ограничился лишь поверхностным описанием бытовых случайных событий, которых он был свидетелем. Нельзя, конечно, соизмерять мемуары С. Л. Толстого с великолепными по мастерству портрета и глубине содержания известными воспоминаниями о Толстом, принадлежащими перу А. М. Горького. В интерпретации Сергея Львовича великий писатель скорее предстает в роли религиозно-нравственного утешителя и семьянина, трагически переживающего свой разлад с семьей, чем выразителя дум и чаяний многомиллионного дореволюционного переформенного крестьянства. Однако ценность предлагаемой читателю книги заключается в том, что многие явления прошлого описаны их участником и одновременно нашим современником, способным осознать историческую значимость происходивших на его глазах событий, хотя и не умеющим понять социальные причины этих событий. В свидетельствах С. Л. Толстого получила яркое отражение и огромная забота вождя революции В. И. Ленина обо всем, что связано с именем великого русского писателя.

Часть первая

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

ЖИЗНЬ НАШЕЙ СЕМЬИ ДО ОСЕНИ 1881 ГОДА

1862—1870 годы

Мои родители венчались 23 сентября 1862 года в Москве, в дворцовой церкви. Отцу было 34 года, матери — 18 лет. Из сохранившихся документов того времени: писем, воспоминаний, из дневника отца и др., видно, что отец был сильно влюблен в свою невесту.

Рассудок также поощрял его выбор. Во-первых, отец считал, что ему следует жениться на очень молодой девушке, чтобы перевоспитать ее по-своему, и, во-вторых, он находил, что ему не следует жениться на аристократке.

То и другое он нашел в Софье Андреевне Берс. Она была очень молода, и семья Берсов не принадлежала к русской аристократии. Отец его невесты, Андрей Евстафьевич Берс, внук офицера-инструктора, прибывшего из Германии при Елизавете, был умным и известным врачом, но не принадлежал к родовитому русскому дворянству, а профессия врача в то время не считалась достойной аристократа. Мать Софьи Андреевны, Любовь Александровна, дочь Александра Михайловича Исленьева, хотя по своему происхождению и принадлежала к родовитому дворянству, но родилась от брака, признанного незаконным; поэтому ее братья и сестры носили вымышленную фамилию Иславиных и не числились дворянами, а были приписаны к купеческому сословию.

Раннее замужество моей матери и ее полуаристократичность имели большое влияние на последующую жизнь нашей семьи.

Выйдя замуж очень молодой, моя мать вполне подчинилась воле своего мужа и усвоила себе тогдашние его взгляды на семейную жизнь, его стремления увеличить свое состояние и приобрести славу. Но, когда позднее он отрекся от этих взглядов, она не могла изменить мировоззрение, усвоенное ею в молодости от него же. А вследствие своего полузнатного происхождения она особенно ценила так называемое великосветское общество — high life — и старалась стоять паравне со своими аристократическими знакомыми и соответственно поддерживать известный строй жизни семьи.

Отец был женихом очень короткое время, торопил родителей своей невесты, предлагавших отложить свадьбу. После свадьбы молодые немедленно уехали в почтовой карете в Ясную Поляну. Там их встретили тетка и воспитательница отца Татьяна Александровна Ергольская, брат отца Сергей Николаевич, учителя яснополянских школ и вся дворня.

Первое время жизнь в Ясной Поляне была непривычна для молоденькой Софьи Андреевны. До этого она жила только в городе или на даче в Покровском и никогда — в деревне. Например, ее неприятно поразило, что ночью в деревне темно, нет фонарей. Конечно, все в Ясной Поляне отнеслось к ней предупредительно и дружелюбно. Но разница между городскими и деревенскими жителями чувствовалась.

К своему мужу она привыкла не сразу и даже первое время своего замужества говорила ему «вы». Она была ревнива и ревновала его к прошлому. Все эти шероховатости впоследствии обозначились, но в первые годы брачной жизни они сглаживались: со стороны отца его влюбленностью, со стороны матери преданностью мужу и со стороны обоих тем, что они оба высоко ценили семейное начало.

В продолжение безвыездной жизни нашей семьи в Ясной Поляне, до переезда в Москву в 1881 году, резкого разлада между моими родителями не было. Лишь в последние два-три года (1878—1881) возникали недоразумения; но в то время отец еще не требовал, чтобы его семья изменила свой образ жизни, да и сам он мало изменил свои привычки. Последствия перелома в его мировоззрении сказались для семьи позднее — после 1881 года.

Я родился 28 июня 1863 года в Ясной Поляне, на кожаном диване. На этом диване родились мой отец, его братья и сестры и некоторые мои братья и сестры; этот диван и сейчас стоит в кабинете отца.

Я родился несколькими днями раньше предполагаемого срока. 27-го вечером, когда начались роды, отец говорил матери:

— Душенька, подожди до полуночи.

Ему хотелось, чтобы его старший сын родился 28-го: как известно, эту цифру он считал для себя счастливой, сам он родился 28 августа 1828 года. Природа как бы исполнила его желание, и я родился после полуночи.

Отец хотел назвать меня Николаем, в память своего отца и любимого брата Николая, но мать этому воспротивилась, говоря, что в семье Толстых Николай несчастливое имя.

Тогда отец загадал: если в святцах 28 июня есть святой Сергей, назвать меня Сергеем, в честь его второго брата, Сергея Николаевича. Оказалось, что 28 июня празднуется память «валаамских чудотворцев Сергия и Германа», и я был назван Сергеем.

Крестным отцом был дядя Сергей Николаевич, а крестной матерью тетенька Татьяна Александровна Ергольская.

Мать начала меня кормить, но у нее сделалась грудница; тогда меня стала подкармливать Евлампия Матвеевна, жена ямщика Филиппа Родионова, бывшего позднее нашим кучером, а затем приказчиком; с их сыном, а моим молочным братом Мишей, впоследствии я был в приятельских отношениях. Евлампию заменила Наталья Казакова, а затем меня стали кормить из рожка. Я был болезненным ребенком. Моей няней была сначала старая няня моего отца,— я ее не помню,— а потом Марья Афанасьевна Арбузова, бывшая дворовая помещика Воейкова. Это была тихая, добрая женщина. Она была также няней моих братьев Ильи и Левы и сестер Тани и Маши. Она к нам привязалась, и мы ее любили. Сказок она нам не рассказывала, как полагалось няне, но она нас баловала, а позднее, когда стала экономкой, потихоньку водила нас в кладовую и угощала изюмом, миндалем, шепталой и вареньем.

Кроме моих родителей и няни, из туманных воспоминаний моего детства выступает образ тетеньки Татьяны

Александровны Ергольской. Теперь я вижу в ней женщину того странного прежнего мира, в котором романтические мечты и чувствительность могли уживаться с крепостными отношениями. А тогда она представлялась мне доброй, очень доброй, но скучной старушкой. Так же как и мои родители, я называл ее тетенькой. Она была небольшого роста, опрятно одета, с шалью на плечах и с чепцом на голове. Со мною, со своим крестником, она была особенно ласкова; она угощала меня сладостями и любила показывать мне свои вещицы: миниатюры, шкатулки, биссерные вышивки и прочее.

При тетеньке жила ее горничная, бывшая крепостная, Аксинья Максимовна, очень преданная своей госпоже. Еще при тетеньке жила ее подруга, тоже старушка, несколько моложе ее, — Наталья Петровна Охотницкая, из мелкопоместных дворян. Она была небольшого роста, щеки ее были дряблы, говорила она — точно у нее каша во рту; она нюхала табак и любила перед обедом выпить рюмку водки. Она была болтлива и рассказывала необыкновенные, но интересные истории из жизни помещиков, офицеров и монастырей¹.

Кроме постоянных жителей Ясной Поляны — отца, матери, нас, детей, и тетеньки, — в Ясной Поляне подолгу жила племянница отца Варя и Лиза Толстые, и почти каждое лето во флигеле жила вышедшая замуж в 1867 году за А. М. Кузминского сестра моей матери тетя Таня, вместе со своим мужем и нарождавшимися детьми. Эта молодежь вносила в дом большое оживление.

В ноябре 1866 года к жителям яснополянской усадьбы присоединилась молоденькая англичанка, дочь садовника Виндзорского дворца, Ханна Тардзей. Это была бонна, выписанная отцом из Англии для нас — трех старших детей. В то время мне было три года, Тане — два, Илье — несколько месяцев.

С помощью словаря моя мать и Ханна скоро стали понимать друг друга; знание французского и немецкого

¹ Известно, что отец написал рассказ «Сон», подписал его «Н. О.» и послал И. С. Аксакову в редакцию газеты «День» от имени Натальи Петровны Охотницкой, с якобы ее просьбой напечатать его. Аксаков ответил г-же Охотницкой, что «для первого литературного опыта слог... недурен, но сила вся не в слогe, а в содержании» и потому рассказ в его газете напечатан быть не может. (См. Юбилейное издание Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, т. 7, стр. 361—362.)

языков очень помогло моей матери¹. Уже через два дня Хаша подружилась с моей матерью, с которой была почти одних лет, а мы, дети, ее очень полюбили, так что она сделалась членом нашей семьи.

В жизни детей прислуга занимала гораздо более заметное место, чем у взрослых. Так это было и у нас. У няни, Марьи Афанасьевны, было два сына: Павел и Сергей Петровичи Арбузовы. Павел, сапожник, акклиматизировался в Ясной Поляне и построил себе дом князу от деревни, между деревней и въездными башенками. Впоследствии он учил моего отца сапожному мастерству. Сергей был по профессии лакеем и немножко столяром. В качестве лакея он не раз поступал к нам в дом, и не раз его рассчитывали за дурное поведение. Тогда он отправлялся в Тулу, где делал ящики для гармоник. Это был человек среднего роста, с кривыми ногами, с яркорыжими волосами и бакенбардами (усы он брил) и очень подмигивным лицом. Он был энергичен, способен и довольно грамотен; впоследствии он написал свои воспоминания о моем отце². Он был обуреваем страстями, особенно к вину и женщинам. Несмотря на эти свойства, он был предан нашему дому и близок нам, как сын нашей няни, так что многое ему прощалось. Бывало, он запивал запоем, пропивал все, что только мог, и пропадал на несколько дней; возвратившись, он говорил своей добродетельной жене Арише Григорьевне, которую любил и, несмотря на свое отсутствие, уважал: «Ничего, Аришок! Только не впадай духом!» И опять он поступал в наш дом на службу.

Большая часть прислуги в нашем доме была из прежних дворовых, еще не потерявших связи с усадьбой. До Сергея Арбузова слугою моего отца был Алексей Степанович Орехов, один из тех мальчиков, о которых отец так пишет в своих воспоминаниях: «Очень глупая мысль была у опекунши-тетушки дать нам, т. е. четырем братьям Толстым, по мальчику, с тем чтобы потом это были наши преданные слуги».

Алексей Степанович был с моим отцом на Кавказе и разделял с ним опасности севастопольской осады. В 60-х

¹ См. о ней С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, изд. «Academia». М.—Л. 1936, стр. 69—70.

² См. «Гр. Л. Н. Толстой. Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги графа Л. Н. Толстого», т-во типографии Владимир Чичерин в Москве, 1904.

годах я помню его уже не слугою моего отца, а почтенным приказчиком (то есть управляющим) Ясной Поляны, женатым на бывшей горничной моей матери, веселой и умной Дуняше — Авдотье Николаевне. Алексей Степанович был тих, рассудителен и очень предан моему отцу.

Об Агафье Михайловне, горничной бабушки моего отца, затем ключнице, затем «собачьей гувернантке», писали отец в своих воспоминаниях, сестра Татьяна и брат Илья. Не буду повторять. Скажу только, что Агафья Михайловна имела вид аристократки, и есть предположение, что в ней текла кровь князей Горчаковых. Не буду также повторять написанного братом про нашего повара Николая Михайловича Румянцева, типичного дореформенного дворового, грязного, передко пьяного, но добродушного и преданного нашей семье, и про его сына Семена Николаевича, также много лет после своего отца, почти до года смерти моей матери (1919), служившего поваром в нашем доме, несмотря на то, что это было ему невыгодно.

Типичными дворовыми были также два брата Суворовых — Иван Васильевич и Василий Васильевич. Иван Васильевич, Ванюша, или «Jean le cuisinier», как мы его почему-то называли, был так же, как Алексей Орехов, одним из тех мальчиков, которых тетушка, опекунша отца, определила к братьям Толстым¹.

Иван Васильевич Суворов, подобно Ванюше в «Кавказах», знал немножко по-французски, — его на Кавказе выучили Лев Николаевич и Николай Николаевич, — и, бывало, он с хитрым и гордым видом отчетливо выговаривал: «се тре жולי, бонжур, ла фамм» и пр. По профессии он остался лакеем, но в нашем доме служил редко.

Брат Ивана Суворова, Василий Васильевич, был медник и самоварщик. Он брал заказы и материал в Туле и дома выработывал самоварные части. Человек он был беспечный и пьяный. Зато жена его, Пелагея Николаевна,

¹ К какому брату был определен Иван Суворов, я не знаю, вероятно к Николаю Николаевичу. Отец в своих «Воспоминаниях» говорит, что к его брату Дмитрию был определен Ванюша и что этот Ванюша и сейчас, то есть в 1903 г., когда были написаны «Воспоминания», живет в Ясной Поляне. В то время в Ясной Поляне из слуг братьев Толстых жил один только Иван Суворов, но почему же Иван Суворов был с моим отцом и его старшим братом Николаем Николаевичем на Кавказе, а не в Курской губернии с Дмитрием Николаевичем? Не ошибся ли мой отец, и не был ли Иван Суворов слугою Николая Николаевича, а не Дмитрия Николаевича?

была необыкновенно энергична и трудолюбива. Она была нашей прачкой, перестирывала все белье с барского двора и в то же время успевала работать на своих многочисленных дочерей и на своего беспутного мужа.

В общем у меня остались добрые воспоминания о дворовых Ясной Поляны. С многими сверстниками из их числа мы были в приятельских отношениях.

Отношения моего отца к прислуге были ровные и спокойные, и я не помню, чтобы он кого-нибудь ударил или даже обругал; он сердился, но сдерживался. Моя мать не была так сдержанна и иногда раздражалась горячими выговорами, однако она не пользовалась таким авторитетом, как отец.

Кажется, самое раннее мое воспоминание относится к нашей поездке в Москву в 1866 году: я сижу с моей матерью и еще с кем-то в закрытом ящике, этот ящик движется, мы толкаемся об его стенки, и меня мутит. Это мы ехали зимой в возке на лошадях до Серпухова; в то время Московско-Курская железная дорога еще строилась и была открыта только от Москвы до Серпухова. Поездка в Москву в 1868 году оставила во мне более ясное воспоминание. Помню, что тогда на Средней Кисловке, в том доме, где мы жили, обвалилось крыльцо. Тогда же дед Андрей Евстафьевич Берс был при смерти, я его боялся, и меня поразило его страдальческое лицо.

В моем раннем детстве я испытал два тяжелых впечатления. Первое — в Туле, когда я увидел на Киевской улице медленнодвигающуюся повозку с высоким помостом, на котором, согнувшись, одиноко сидела женщина в арестантском халате. На ее спине был плакат с надписью крупными буквами: «Мужеубийца». В те времена тяжких преступников подвергали такой всенародной выставке. За повозкой бежал народ и бросал на помост медные деньги.

Другое сильное впечатление был панический страх. С детства любя самостоятельность, я как-то убежал от надзора старших и отправился исследовать новые места — луг по ручью Ясенке. Там я встретил мужика, который вел в поводу жеребенка. Вдруг мужик этот остановился, вынул большой нож и полоснул им по шее жеребенка. Алая кровь полилась ручьем, а я что есть духу бросился

бежать. Мужик показался мне ужасным извергом, который может зарезать и меня. Дома мне объяснили, что он зарезал жеребенка для того, чтобы он не высасывал силы у своей работницы-матери.

Большим развлечением в деревне в прежнее время служили ручные медведи, которых водили в те времена по всей России. Появление медведя в Ясной Поляне возмущало прежде всего отчаянным лаем всех собак на деревне. Затем, пройдя по «пришпекту», к нашему дому подходили: поводырь с медведем на цепи, «коза» и с ними, обыкновенно, еще мальчик. Жители усадьбы сбегались, и начиналось представление. Поводырь командовал, держа цепью:

— Михайло Иваныч, поклонись господам.

Медведь кряхтел, вставал на задние лапы и, звеня цепью, кланялся в ноги.

— Покажи, как поповы ребята горох воруют.

Медведь ложился на землю и крался к воображаемому гороху.

— Покажи, как барышня прихорашивается.

Медведь садился на задние лапы, перед ним держали зerkальце, и он передними лапами гладил себе морду.

— Умри!

Медведь, кряхтя, ложился и лежал неподвижно.

Затем начиналась пляска медведя с «козой».

«Коза» — это был человек, который надевал на себя покрывало, из которого сверху торчала трещотка. Трещотка трещала, поводырь или мальчик бил в барабан, а медведь и «коза» плясали. Почему такого рода ряженый назывался «козой», я никогда понять не мог. А отсюда произошло выражение, совершенно потерявшее свой смысл в настоящее время: «отставной козы барабанщик».

Кончалось все это обыкновенно тем, что всем, в том числе и медведю, подносилась водка. Выпивши, медведь делался добродушным, ложился на спину и как будто улыбался.

Представление с медведем было в общем забавно, но в то же время медведь, с кольцом в щеке, с облезлой шерстью, навсегда прикрепленный к цепи, производил жалкое впечатление. Впоследствии (не знаю когда именно) водить медведей было запрещено.

Другим событием в деревне было появление разносчиков. Их было два типа: пешие и на фурах. Первые

сами везли свой плохонький, но разнообразный, преимущественно так называемый галантерейный товар на двухколеске. Вторые обыкновенно называли себя венгерцами, приезжали на парных фурах и везли целые магазины: ситец, сукна, обувь, галстуки, бумагу, ленты, пуговицы и т. п., даже ноты. Товар их был разнообразный и хорошего качества. Помню, как отец у одного из них купил ноты «Accélérationen-walz» Штрауса и с удовольствием их разыгрывал.

До 1871 года в яснополянском доме преобладало радостное, бодрое настроение. Родители мои были сравнительно здоровы и дружны; тетенька Татьяна Александровна была еще на ногах и вносила в семью тихую старческую ласку; мы, дети, были в ведении Ханны Тардзей, любившей нас и любимой нами; гости, родственники — тетушка Мария Николаевна, ее дочери и семья Кузминских — вносили в дом большое оживление. Это было то горячее время, когда отец писал «Войну и мир», продолжая хозяйничать и охотиться, а мать по многу раз переписывала «Войну и мир», рожала и выкармливала детей и вела домашнее хозяйство. Из следующих выписок видно, как в то время отец глубоко погружился в свою работу и как интенсивно трудилась тогда моя мать.

23 января 1866 года отец полушутя писал Фету:

«Я рад, что вы любите мою жену. Хотя я ее меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете,— жена».

А мать писала сестре (27 июня 1866):

«Я то отсасываюсь, то кормлю, то прижигаю, то промываю, а кроме того дети, варенья, соленья, пастилы, переписыванье для Левы, а для beaux arts (изящных искусств) и чтения еле-еле минутку выберешь, и то если дождь идет».

Неверно было бы заключить из этих отзывов о разладе между моими родителями в то время. Не я один привык считать, что мои родители в первые годы своей брачной жизни были исключительно дружной четой. Так же думали наши родственники как со стороны матери, так и отца.

В своем дневнике 1864 года 21 декабря Варя, старшая дочь моей тетки Марии Николаевны, писала: «Мамаша

сказала нам, чтобы мы не спешили выходить замуж, что Сонечка с Левочкой примерные супруги, но что таких редко найдешь и что больше слышно, что то муж оставил жену, то жена развелась с мужем». А брат моей матери, Степан Берс, так писал о своей сестре и зяте: «Близость и взаимная любовь этой четы всегда служила мне идеалом и образцом супружеского счастья. Мои покойные родители говорили: «Соне лучшего счастья пожелать нельзя». Сам отец не раз писал А. А. Фету, А. А. Толстой и другим о своей счастливой семейной жизни.

В сентябре 1869 года с отцом произошел случай, сыгравший, как мне кажется, некоторую роль в его жизни.

Он поехал в Пензенскую губернию с намерением купить имение и проездом почевал в городе Арзамасе, в плохой гостинице. Там он испытал то тяжелое чувство, которое потом называл «арзамасской тоской». Об этом он так писал матери 4 сентября 1869 года: «Третьего дня в ночь я почевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей мере возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддавался ему, тем более, что оно и было слабее»¹.

Я не берусь определить причину арзамасской тоски, но мне все-таки кажется, что это был болезненный припадок. Может быть, причиной была болезнь печени, никогда не оставлявшая моего отца, может быть — переутомление от умственного труда. Арзамасская тоска прошла тогда и не нарушила бодрого и деятельного строя яснополянской жизни.

1871 год

С этого года мои воспоминания становятся более отчетливыми, и с помощью писем и воспоминаний разных лиц я буду записывать их хронологически.

¹ Юбилейное изд., т. 83, стр. 167—168.

Помню, как в 1871 году мы рассматривали иллюстрации, изображавшие расстрел французов немцами, и как отец и все мы сочувствовали французам.

В начале года на яснополянское небо надвинулись тучи. 12 февраля мать преждевременно родила болезненную белокурую девочку Машу, после чего заболела родильной горячкой. Ей обрили голову, а Машу стала кормить кормилица. Отец был мрачен, чувствовал себя нездоровым, боялся чахотки и весной уехал в Самарскую губернию на кумыс, взяв с собой своего шурина Степу Берса.

Степан Берс, один из младших братьев моей матери, учился в Училище правоуедения. Начиная с 1866 года, когда ему было только одиннадцать лет, вплоть до 1878 года, когда он окончил курс правоуедения, он свои каникулы проводил в Ясной Поляне. Он был живым и сильным физически мальчиком и восторженно относился к моему отцу. Ко мне, будучи лишь на 8 лет старше меня, он относился покровительственно, но по-товарищески. Я его любил, но иногда его неосновательная вспыльчивость отталкивала меня от него.

Возвратившись из Самарской губернии, отец поздоровел. Кумыс всегда приносил ему большую пользу. Он и Степа с восторгом рассказывали про свою робинзоновскую жизнь в башкирской кибитке. Моя мать тоже поправилась.

В этом же году началась пристройка к яснополянскому дому залы и двух комнат под нею. До этого дом, в котором мы жили, был одним из двух совершенно одинаковых флигелей, и только с севера к нему были пристроены три небольшие комнаты с большой крытою террасой над ними. Теперь отец решил сделать фундаментальную двухэтажную пристройку с противоположной южной стороны дома. При закладке отец хотел по традиции замуровать в угол фундамента золотую монету, а так как в то время у него золотого не было, он взял у меня подаренный мне Ханной английский золотой соверен (фунт стерлингов). Эту золотую монету он замуровал в фундамент тайно от каменщиков, пока они обедали, а мне потом возместил ее стоимость.

Постройка вышла очень удачной: прибавились к дому просторная зала и две комнаты под нею, из которых одна была передней, а другая долгое время служила кабинетом отцу.

Осенью в Ясную Поляну приехал мой прадед, дед моей матери, Александр Михайлович Исленьев. Это был очень свежий старик, семидесяти восьми лет, высокий, лысый, бритый, с крупными чертами лица, живыми движениями и манерами избалованного барина. Как известно, А. М. Исленьев послужил моему отцу прототипом отца Николеньки Иртеньева в «Детстве» и «Отрочестве». Отец был с ним учтив и почтителен и, чтобы напомнить ему старину, устроил охоту с борзыми внаездку.

Хотя мне было только 8 лет с небольшим, я уже ездил верхом, и меня также взяли на охоту. Лошадь мне дали смирную, но довольно высокую, которую звали по ее происхождению — Каширский. Отец приучал меня, а затем и моих братьев, с малых лет ездить верхом без седла и без стремян, чтобы привыкнуть держать равновесие. Он имел также в виду, что падение с неоседланной лошади менее опасно. Итак, я поехал на охоту на одном только потнике, подвязанном ремнем. Отец, прадед, еще, кажется, два охотника и я рассыпались по полям и «разнялись», то есть ехали на некотором расстоянии друг от друга, чтобы наехать на зайца или лисицу.

Заехав в сторону от остальных, за степное болото, так называемое «Диготну», и размышляя, как мне перебраться на ту сторону, я вдруг услышал на том берегу болота крики: «ату его! ату его!» Кто-то поднял зайца, и началась травля. Отец, прадед и оба охотника поскакали за собаками и зайцем, а мой Каширский, бывавший не раз на охоте, увидав скачку, с места в карьер пустился скакать прямо через болото. Он чуть не увяз в трясине и с большим трудом выбрался на другую сторону болота, но здесь, ставши на твердую почву, вдруг остановился как вкопанный. Вероятно от усилия, он запыхался и остановился, чтобы перевести дух. Я не удержался и полетел через голову лошади.

Каширский был высок, а я мал; стремян не было, и я без посторонней помощи не мог влезть на лошадь. Пришлось идти пешком, с Каширским в поводу. Прочие охотники скрылись за горкой, и, когда я дошел до них, травля уже кончилась: заяц был пойман, заколот и второчен. Это была чуть ли не первая моя охота, да еще с прадедом, а мне ничего не пришлось видеть! Я был в отчаянии.

Зимой 1871/72 года я уже довольно усердно учился. Мать учила меня русскому и французскому языкам, не-

множко истории и географии и игре на фортепиано, Ханна Тардзей — английскому языку, а отец — тоже русскому языку (но не грамматике) и арифметике. Он в то время составлял «Азбуку» и на нас — своих детях — поверял ее. Он рассказывал и заставлял нас излагать эти рассказы своими словами. Это были большею частью рассказы, вошедшие потом в его «Книги для чтения». Он считал себя малоспособным к математике, но именно поэтому хорошим преподавателем. Он говорил, что так как он свои знания по математике усвоил с трудом, то вполне уяснил их себе и хорошо запомнил, и поэтому он может ясно их излагать. В преподавании, как и во всем, он искал новые приемы. Так, например, он учил нас считать на счетах. Таблицу умножения он заставлял нас выучить наизусть только до пяти, а умножение чисел от шести до десяти производить на пальцах следующим образом: вычесть из каждого множителя число пять, остатки отложить на пальцах обеих рук, загнув их, и сложить загнутые пальцы — это будут десятки произведения; остальные незагнутые пальцы обеих рук перемножить и приложить к десяткам. Например, требуется помножить 7×9 . Вычитая по 5 из каждого множителя, получается 2 и 4. На одной руке загибается 2 пальца, на другой — 4. Сумма их — 6. Это десятки. Остальные незагнутые пальцы перемножаются $1 \times 3 = 3$. Следовательно, произведение $7 \times 9 = 60 + 3 = 63$.

Не помню, тогда или позднее отец задавал нам свою любимую народную задачу о гусях: летит стадо гусей, навстречу гусь. Гусь говорит: здравствуйте, сто гусей. Гуси отвечают: нас не сто гусей, но было бы сто, если бы нас было столько, да еще столько, да еще полстолька, да еще четверть столька, да ты с нами. Эта задача, легко решаемая алгеброй, арифметически решается труднее.

(Из уравнения $100 = x + x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + 1$ получается: $x = 36$.)

1872 год

В конце 1871 и в начале 1872 года в Ясной Поляне поселились. Приехали Дмитрий Алексеевич Дьяков с дочерью и ее воспитательницей «Софешь» — Софьей Робертовной Войткевич, тетушка Мария Николаевна с детьми—

Варей, Лизой и сыном Николенькой — и дядя Костя Иславин. Катались на санях, причем особое удовольствие состояло в том, чтобы из них вываливаться. На святках наряжались. Дмитрий Алексеевич нарядился медвежьим поводомьрем; дядя Костя, надев полушубок наизнанку и войдя в залу на четвереньках, изображал медведя; отец — «козую»; Николенька Толстой оделся старухой, Софешь — стариком с горбом и мочальной бородой. В залу привалило все население усадьбы, и начался пляс под звуки «Барыни», которую играли в четыре руки, а потом и просто под гармошку. Моя мать одела меня в голубое женское платье, наколола мне на голову нечто вроде напудренного парика, и я должен был изображать маркизу. А сестра Таня была одета в мужской костюм, тоже голубой, она изображала маркиза. Мы танцевали польку с фигурами, которым нас научила мать, но успех наш был средний: маркизские костюмы и полька с фигурами как-то не подходили к общему характеру святочных увеселений в Ясной Поляне.

14 мая отец поехал в свое второе имение, Никольское-Вяземское, и взял меня с собой. Никольское тогда произвело на меня сильное впечатление: густые лиственные леса, глубокие овраги, холмистые поля, вековые тополи и величественная сосна в яблоневом саду, речка Чернь, убегающая вдаль или сверкающая между деревьями, постоянно шумящая водяная мельница, широкие виды на речку, луга, лесные склоны, поля, дальние села и церкви, большие камни на самом высоком месте имения — все это мне было ново и казалось необыкновенно красивым, да и на самом деле было красиво. По младости лет я тогда не обратил внимания на бедность никольских крестьян: мне бросались в глаза лишь старинные домотканые яркие наряды баб, их понёвы, шитые рубашки, кички и пушки в ушах вместо серег.

Отец ездил по всему имению, особенно внимательно проверял, целы ли леса, и в общем, кажется, остался доволен управляющим Иваном Ивановичем Орловым.

Возвращаясь в Ясную Поляну и проезжая по дороге на станцию Чернь через деревню Далматские Дворы, мы, то есть отец и я, увидели печальное зрелище: на еще дымящемся пожарище, среди обожженных балок, груды кирпичей, золы и угля, сидела старая собака: это была коричневая с белыми пятнами и длинными висячими

ушами легавая; она выла, подняв голову. Оказалось, что здесь только что сгорел дом, а вместе с домом и вся семья. Осталась в живых одна только старая легавая собака.

Пока отец ездил в Никольское, в Ясной Поляне случилось несчастье: бык забодал пастуха. Рассказывали, что бык стал кидаться на людей потому, что мальчишка-подпасок раздражил его. Однажды бык погнался за подпаском, а старый пастух, не боявшийся быка, ударил его бичом. Тогда бык обернулся на пастуха, кинулся за ним и пригвоздил его к дереву. Пастух умер в тот же день, а быка немедленно зарезали.

Последствием этого было судебное дело. Судебный следователь, молодой человек, постановил обязать моего отца не выезжать из имения до суда. Он «слиберальничал»: ему показалось лестно проявить свою власть по отношению к богатому помещику и графу. Отец сильно вознегодовал на это распоряжение и подал жалобу об отмене постановления следователя. Отца оштрафовали на 100 рублей, но распоряжение следователя было отменено.

В это лето Кузминские, то есть тетя Таня и ее муж Александр Михайлович, вместе с тремя маленькими дочерьми уехали на Кавказ. Кузминский, до того служивший судебным следователем и товарищем прокурора в Туле, был назначен прокурором в Кутаис. Летом в Ясной стало пусто. Особенно сильно почувствовала отъезд своей любимой сестры моя мать.

В июле отец опять уехал на несколько недель на кумыс.

Осенью в нашей детской жизни произошла крупная перемена. Ханна Тардзей стала кашлять и худеть: видимо, у нее началась чахотка. Моя мать решила отправить ее в края с более теплым климатом. В это время Кузминские искали гувернантку для своих детей. Они пригласили Ханну, и осенью она уехала с ними в Кутаис. У меня сохранилось ласковое письмо ее ко мне из Кутаиса с описанием ее путешествия; ее особенно поразило, как в Поти пассажиров (и ее в том числе) сбрасывали с парохода в турецкие фелюги.

Через некоторое время после отъезда Ханны к нам, мальчикам (мне было девять, Илье шесть лет и Лева три года), был приглашен рекомендованный Фетом немец-гувернер, или, лучше сказать, дядька, Федор Федорович

Кауфман. Это был малообразованный человек, лет тридцати пяти. Он носил парик, что тщательно, но тщетно скрывал. Он прожил у нас два года.

К сестрам поступила англичанка, мисс Дора, прожившая в Ясной Поляне недолго, но успевшая покорить сердце Федора Федоровича.

Зимой 1872/73 года отец сделал опыт так называемого лапкастерского обучения. Он поручил мне, сестре Тане и даже брату Илье, несмотря на то, что ему еще не было семи лет, обучать деревенских ребят грамоте. Учил также дядя Костя Иславин. Ученики приходили к нам в дом; в передней и в прилегающих к ней комнатах мы учили каждый свою группу учеников. Опыт был довольно удачен, и ученики мои и сестры Тани усвоили себе начальную грамоту; Илья же был слишком мал и к тому же подражал со своими учениками.

В свободное от уроков время мы с увлечением катались с нашими сверстниками-учениками на скамейках. Здесь они были нашими учителями. Особенно мы любили садиться на длинную скамейку глухонемого, уже взрослого Макарова, на которую усаживалось человек семь; мы быстро скатывались по хорошо укатанной дороге и в конце горки обыкновенно с хохотом и визгом вываливались в снег.

Последствием нашего общения со сверстниками на деревне были добрые отношения с ними, которые не прекращались и в дальнейшей нашей жизни.

1873 год

В этом году тетенька Татьяна Александровна стала сильно дряхлеть. Из своей комнаты во втором этаже (рядом с залой, впоследствии гостиной) она перешла в небольшую комнату в нижнем этаже, в деревянную пристройку. Она говорила отцу: «Я туда перейду, чтобы своей смертью не испортить вам вашу хорошую верхнюю комнату».

Тетенька особенно нежно относилась ко мне, своему крестнику, и требовала, чтобы я приходил к ней в комнату по крайней мере раз в день, но мне было скучно у нее, и я нередко отлынивал от этого, несмотря на угощения сладостями.

Мне бывало совестно, когда день проходил, а я у теньки не был. Помню, как однажды вечером, лежа в кровати, я перед сном испытал щемящее чувство угрызения совести, которое смешалось у меня с чувством умиления, производимого музыкой; в это время отец наверху в зале играл на фортепиано что-то очень хорошее.

31 мая в Ясной Поляне повторилось прошлогоднее несчастье: другой бык забодал скотника. Это произошло так: бык стоял в стойле на цепи, а скотник, задавая ему корм, неосторожно стал перед ним. Бык почему-то рассердился и ударил его рогами в живот. Скотник выбежал из коровника, держа свои кишки обеими руками; у него сделалось воспаление брюшины, и он умер через три дня. Отец был очень взволнован этой смертью, и с тех пор его интерес к скотоводству упал. К суду его на этот раз, сколько мне помнится, не привлекли, а он сам щедро вознаграждал семью убитого скотника.

2 июня мы всей семьей, вместе с Федором Федоровичем Кауфманом, Степой Берсом, няней, слугою Сергеем Арбузовым, поехали в недавно купленное отцом имение в Бузулукском уезде, Самарской губернии. Это имение, размером в 1800 десятин, отец купил у Тучкова, по 8 рублей за десятину, на деньги, полученные за свои сочинения.

Мы поехали через Москву до Нижнего по железной дороге, а от Нижнего до Самары на пароходе. Водные дали, темные лесные склоны, желтые песчаные отмели, движущиеся фонтаны брызг от паровых колес, рыбы и рыбный запах, торг на пристанях, буксирные и другие пароходы, баржи, барки, плоты — все это были новые и сильные впечатления.

За Самарой железной дороги еще не было, и до имения надо было ехать 120 верст на лошадях. Незадолго до нашей поездки старый приятель моего отца, Сергей Семенович Урусов, чтобы облегчить моей матери эту поездку, подарил ей свою большую шестиместную карету-дормезу. Это был классический экипаж прежних времен, в котором езжали наши деды, когда еще не было железных дорог. Ее везли шесть лошадей — четверка в ряд и пара впереди; на одну из передних лошадей садился верхом мальчик, так называемый «фалстр», *Vorreiter*. На крыше кареты были приспособлены «важи» — род чемоданов; сзади прицеплялась двухместная колясочка; козлы были так широки, что на них можно было сидеть втроем. В карете поехал наш

женский персонал с младшими детьми, остальные ехали на плетушках — тележках с плетеными кузовами. На полдороге, в Богдановке, мы ночевали в просторной крестьянской избе, где нас сильно донимали клопы. Не помню, тогда же вместе с нами или позднее, на Самарский хутор приехала из Кутаиса от Кузминских Ханна Тардзей. Мои родители пригласили ее, чтобы полечить ее легкие кумысом.

Наш дом на хуторе, на Сухом Тананьке, был вроде крестьянской избы; все мы не могли в нем поместиться, и Ф. Ф. Кауфман, я и братья Илья и Лев прожили все лето в пустом амбаре, а отец и Степа Берс — в купленной отцом башкирской кибитке (род войлочной палатки).

В то время самарская степь еще была мало распахана. Могучий полуторааршинный чернозем был покрыт густой травой, разными злаками, ковылем, пыреем, овсюком и всевозможными полынями и душицами. По степи ходили и летали буро-белые дудаки (дрофы), величиною не меньше индюшки, и большие белоклювые орлы-беркуты, повсюду парили ястреба, с шумом вылетали стрепета, и воздух был полон стрекотанием кузнечиков. Несмотря на палящий зной, в степи дышалось легко и вольно; воздух был сух, и даже в самые жаркие дни веял ветерок.

Наше имение было разделено на двенадцать полей, из которых засевались только два: первое, по «крепкой земле», — яровой пшеницей-белотуркой, а второе — тоже пшеницей, но так называемым переродом, или русской пшеницей. Иногда на третий год сеяли рожь. Остальные девять или десять полей запускались под сенокос и пастбища. Первые два года после пахоты поля зарастали буйными грубыми травами, а в следующие годы давали прекрасное сено. Это сено складывалось тут же в стога, так что стога были рассеяны по всей степи. Лесу в той местности нет; топили «кизяками» — кирпичами из сушеного навоза. Пирамиды этих кирпичей стояли вокруг сел и изб.

Мать моя в то время кормила сына Петю и тяжело переносила неудобства жизни на хуторе. В доме из щелей дуло, крыша текла, кизяк вонял и плохо горел; невероятное количество мух не давало ни есть, ни спать; почта получалась редко — за ней посылали нарочного в Самару; соседей, кроме башкир и крестьян, не было, доктор жил далеко.

Отец, наоборот, с удовольствием жил первобытной жизнью. Для кумыса был приглашен один старый башкирец, знакомый отцу по прежним его поездкам на кумыс, Мухамедшах Рахматуллин (а по-русски Романыч). Он поставил недалеко от дома свою войлочную кибитку и привел с собой десять дойных кобыл. Кобылы паслись в степи, а их жеребята стояли на привязи вблизи кибитки. Сам Мухамедшах не работал; его жена и сноха делали всю домашнюю работу, доили кобыл, заковывали и взбалтывали кобылье молоко, превращавшееся в больших бурдюках в кумыс. Эти женщины жили за занавеской, которой была отделена приблизительно треть кибитки. Когда к Мухамедшаху приходили мужчины, женщины прятались за занавеску. Мухамедшах, красивый старик, похожий на ястреба, в тибетейке и шелковом бухарском халате, изпод которого видна была чистая белая рубаха, мягко ступая в своих ичигах, приветливо встречал гостей, слегка жал руку обеими руками, усаживая на ковер, подкладывая за спину гостя мягкую подушку и угощал кумысом из чаш, выдолбленных из березовых наплывов. В кибитке отсутствовали стулья и столы, были только ковры; было чисто и уютно.

Мухамедшах был умный и по-своему культурный человек; он знал арабский язык, читал коран, был благовоспитан, тактичен. Он говорил по-русски свободно, но игнорировал падежи и спряжения. Одна из любимых тем его разговоров была о том, как башкиры жили в старину и как теперь хуже стали жить. В прежнее время у всех были кочевки (кибитки), а теперь живут круглый год в зимовках (избах); прежде были большие табуны лошадей, а теперь есть башкиры совсем без лошадей; прежде десятки кочевок съезжались на свадьбы и праздники, съедали по нескольку лошадей и много овец; бывали скачки, кумыс пили вволю, пели, играли на курае (род дудки) и на горле¹, а теперь башкиры обеднели и ничего этого нет.

Моему отцу очень нравился своеобразно красивый отживающий быт этого кочевого народа. Он говорил, что

¹ В своих воспоминаниях брат Илья так пишет про игру на горле: «Человек ложится на спину, и в глубине его горла начинает наигрывать органчик, чистый, тонкий, с каким-то металлическим оттенком. Слушаешь и не понимаешь, откуда берутся эти мелодические звуки, нежные и неожиданные» (И. Л. Толстой, Мои воспоминания, изд. «Мир», М. 1933, стр. 70).

от него Геродотом пахнет¹, но он видел, что этот быт отходит и на его место становится быт русского мужика-земледедца.

Русские деревни, соседние с нами, были: Гавриловка, в семи верстах, Патровка, в девяти верстах, и Землянки-Алексеевка — в восемнадцати верстах. Я всегда удивлялся тому, как самарские крестьяне вели свое хозяйство. Все их усилия направлены были на то, чтобы посеять как можно больше пшеницы на своей или арендной земле. Они сеяли мало ржи и совсем не сеяли ни конопли, ни овса, ни огородных растений и не сажали картофеля. Поэтому, если пшеница плохо родилась (а это случалось очень часто, потому что урожай зависел от того, пройдет ли два-три дождя в мае), то они не только терпели большие убытки, но и голодали. Это было не правильное, а какое-то азартное земледелие.

Крестьяне, соседние с нашим хутором, были потомки крестьян, переселившихся из Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Тульской губерний в начале XIX столетия. По цвету и покрою их домотканых рубах и бабьих нарядов можно было отличить, из какой они губернии. Белые рубахи с шитым воротом были у выселенцев Тамбовской губернии, синие рубахи — у выходцев из Тульской губернии и т. д.

Все они были «государственные крестьяне», то есть никогда или уже давно не были крепостными помещиков. Это и сказывалось в их более свободном и доверчивом отношении к нам. Они относились к нам не как к господам, а как к богатым хуторянам; здороваясь, протягивали руки, приглашали в гости и не стеснялись. Еще в 1871 году отец писал о них: «особенно соблазняет простота и честность, наивность и ум здешнего народа»².

С некоторыми из них мы сблизились. В Гавриловке нашим знакомым был Василий Никитин, степенный, рассудительный, словоохотливый человек, лет шестидесяти, с рыжей бородой и многочисленными веснушками на лице и на руках. Он бывал у нас на хуторе, и мы у него в Гавриловке, причем происходило бесконечное чаепитие.

¹ См. письмо к С. А. Толстой от 23 июня 1871 г., Юбилейное изд., т. 83, стр. 182.

² Письмо к С. А. Толстой от 27 июня 1871 г., Юбилейное изд., т. 83, стр. 190.

Его любимое слово «двевствительно» впоследствии было вложено в уста первого мужика в «Плодах просвещения».

В Патровке нашими знакомыми были молокане. Не помню имени одного из них — небогатого, убежденного молоканина, знавшего хорошо писание и любившего спорить с местным священником. Другой — Иван Дмитриевич, сравнительно богатый человек, был ловкий практический делец.

В Землянках-Алексеевке мы покупали провизию. В базарные дни во время жнитва на площади стояла толпа рабочих, пришедших иногда издалека и предлагавших свой труд. Цена за сжатие одной десятины определялась тут же и сильно колебалась — от трех до двадцати пяти рублей, в зависимости от урожая.

1873 год был очень неурожаен, и цена стояла низкая. Как известно, последующей зимой в Самарской губернии был голод, и отец написал воззвание о помощи голодающим, привлекущее внимание общества и правительства и собравшее почти два миллиона рублей.

Летом отец, по примеру старинных башкирских скачек, устроил скачки на хуторе. Об этих скачках я не буду писать, потому что вторые скачки, организованные отцом в 1875 году, были грандиознее первых и затмили их.

Событиями этого лета, кроме скачек, было разрытие кургана, под которым были найдены какие-то остатки скифской могилы, и торжество Ф. Ф. Кауфмана, убившего дрофу, а это очень трудно, потому что дрофы чрезвычайно чутки и редко подпускают охотника на ружейный выстрел. В конце лета мы вернулись в Ясную Поляну.

Осенью в Ясную Поляну приезжал И. Н. Крамской, которому П. М. Третьяков заказал написать портрет Льва Толстого для своей галереи. Крамской поселился в пяти верстах от Ясной, на так называемой Ваныкинской даче, и каждый день ездил к нам. Моя мать заказала ему еще другой портрет, для яснополянского дома — этот портрет и сейчас там. Отец неохотно позировал, Крамской же по своей скромности не настаивал и, как рассказывала моя мать, не успел закончить портрет, заказанный Третьяковым. Она говорила, что он выписал только голову, а остальное он закончил, набив серую блузу отца паклей или еще чем-то.

9 ноября умер от крупа брат Петя. Моя мать глубоко переживала эту первую смерть своего ребенка. Она писала свосму брату Степану, крестному отцу Пети, 18 ноября: «Наш маленький Петюшка умер 9-го ноября. У него сделалась хрипота, и ровно через двое суток он умер — тихо перешел из сна в смерть, совсем незаметно и спокойно. И пропала с ним моя веселая радость, точно свет жизни потух, все стало тесно и темно».

1874 год

Зимой 1873/74 года наша семья продолжала жить в Ясной Поляне тихой деловой жизнью. Отец был занят «Липной Каретиной» и особенно «Азбукой».

Читая басни Эзопа в подлиннике, он сравнивал их с баснями Лафонтена, не в пользу последних. Он говорил, что у Лафонтена много искусственного и лишнего; Эзоп же образец лаконизма. Так, у Лафонтена ворона держит во рту кусочек сыру; сыр Лафонтену понадобился для рифмы fromage и plumage. А Крылов, не знавший по-гречески, также написал: «Вороне где-то бог послал кусочек сыру». Между тем ни вороне, ни лисице не свойственно питаться сыром. Насколько лучше сказано у Эзопа: «ворона держала в клюве кусок мяса!»

Мы, трое старших детей — я, Таня и Илья, учились по расписанию, составленному на неделю. Учили — моя мать, Кауфман и англичанка мисс Эмили. Лева и Маша у нас троих, старших, назывались «little ones» (маленькие) и не допускались в наши игры; Лева очень старался пристать к нам, но мы, в особенности я, отстраняли его, дразнили и прозвали «Сюсюкой под соусом», потому что он сюсюкал и как-то облил себя соусом. В то время Лева, или Леля, как мы его тогда звали, был хорошенький мальчик с каштановыми кудрями; у Ф. Ф. Кауфмана он был любимцем, чему я и Илья иногда завидовали. Маша была некрасивой, бледной и болезненной девочкой, мало заметной в нашей общей жизни; наша мать ее любила меньше других своих детей; она у нее была Сандрильоной (Золушкой).

Отец в то время довольно много занимался нами, учил арифметике, заставлял излагать прочитанное нами или самим описывать что-нибудь. Но он никогда не давал

отвлеченных тем для сочинений. Помню, он как-то сказал мне: «Опиши дядю Костю». Я не сумел этого сделать.

По вечерам он частью рассказывал, частью читал нам «Детей капитана Гранта», «Путешествие на луну» и другие книги Жюль Верна по иллюстрированным изданиям. Мы очень любили эти рассказы.

Весной мы узнали новость: Ханна Гардзей вышла замуж за грузинского князя Матчудаце и осталась жить на Кавказе.

22 апреля родился брат Николенька.

За последнее время тетенька Татьяна Александровна постепенно дряхла и угасала. К лету она не вставала с постели. Пока сознание ее не покидало, она была бодра и ласкова со всеми. Она умерла 20 июня, семидесяти девяти лет, — «тихо угасла», как писала моя мать. Незадолго до ее смерти умерла ее горничная Аксинья Максимовна.

После смерти тетеньки уехала и ее подруга Наталья Петровна Охотницкая¹. Вместе с этими старухами наш дом лишился той особенной дореформенной, ласковой, но несколько затхлой атмосферы, которую они вносили в нашу жизнь.

В июле отец опять поехал в самарское имение и взял меня с собою, от чего я, конечно, был в восторге. Из этой поездки я помню, как меня удивило, что отец разобрал молоканина Ивана Дмитриевича, арендовавшего часть нашего имения, за то, что он припахал к своей арендованной земле десятин тридцать.

Вообще хозяйственные дела в имении шли неважно. Отец назначил управляющим имения малограмотного крестьянина Ясной Поляны Тимофея Фоканыча, который оказался малодетельным. Дядя Сергей Николаевич по этому поводу говорил: «Левочка может себе позволить роскошь брать негодных управляющих: например, Тимофей Фоканыч, принесет ему убыток в 1 000 руб., а Левочка опишет его и получит за это описание 2 000 руб. — 1 000 руб. в ба-рышках. Вот я не могу позволить себе такую роскошь».

В самарском имении мы пробыли недолго и вернулись в августе.

¹ Н. П. Охотницкая впоследствии жила в имении И. С. Тургенева Спасском-Лутовинове, в богадельне, им учрежденной, где и умерла.

В конце октября сестра Таня, бегая по хорошо вычищенному паркету, поскользнулась, упала и сломала себе ключицу. Отец сейчас же повез Таню к докторам в Москву; ее скоро вылечили, и дурных последствий от падения не осталось.

Этой осенью моя мать, продолжая кормить Николюшку, плохо себя чувствовала.

1875 год

В этом году отец продолжал заниматься «Анной Карениной», «Азбукой» и музыкой. Одно время он играл на фортепиано часа по три в день; он играл сонаты Моцарта, Гайдна, Вебера, первую половину сонат Бетховена, немного Шуберта и Шопена, и с моей матерью в четыре руки симфонии, увертюры и квартеты Гайдна, Моцарта, Вебера, Бетховена и Мендельсона.

20 февраля, после двухнедельных страданий, мой меньшей десятимесячный брат Николюшка умер от менингита.

Зимой 1875 года в Ясную Поляну переехала из тульского монастыря, где она раньше жила, совершенно обедневшая тетка моего отца Пелагея Ильинична Юшкова и поселилась внизу, в комнате, где скончалась тетенька Татьяна Александровна. Ей было семьдесят шесть лет, она была капризна, требовала за собою ухода, слабела и болела.

В начале лета этого года мы вторично всей семьей, вместе с Степой Берсом, поехали в самарское имение — до Нижнего по железной дороге, от Нижнего до Самары — пароходом, от Самары до имения — на лошадях. Опять около хутора поселился в кибитке Мухамедшах Романых вместе со своими кобылами, жеребятами на привязи и своей старой женой, снохой и внуком Газисом. Событиями этого лета были — поездка в Бузулук, скачки и попытки киргизов увести наших лошадей.

29 июня в Бузулуке бывала большая ярмарка. Отец поехал туда отчасти для того, чтобы купить кобыл для закупаемого им конского завода, отчасти просто, чтобы повидать новые места. С ним поехали моя мать, Степа и мы, трое старших. От этой поездки у меня остались впечатления: плохая гостиница с клопами, коричневые овцы с смешными курдюками на задах, косяки (табуны) невыез-

женных лошадей, лихая выездка этих лошадей, страстный гортанный говор башкир и киргизов, всеобщее оживление и пыль, пыль, пыль. А за Бузулуком был тихий монастырь, где в скиту, в пещере, им самим вырытой, жил отшельник, простой мужик. Отец с ним много разговаривал и очень интересовался им.

В конце лета отец оповестил башкир, живших на Камалыке, Камелике и даже на Иргизе, а также жителей ближайших русских сел, что 6 августа в его имении будут устроены скачки на пятьдесят верст. Призами были: бычок, ружье, часы, башкирский халат и еще что-то. Народу собралось много. Степь оживилась. На ней, как большие грибы, выросли серые войлочные кибитки башкир, стояли рыдваны и плетушки с поднятыми кверху оглоблями, паслись лошади, горели костры и сновали конные и пешие башкирцы. Отец дал башкирцам на съедение жирного хромого жеребенка и несколько баранов; кумыс лился рекой, и башкирцы веселились, как дети, играли на курае и на горле, пели свои песни, плясали и болтали без умолку.

Перед скачками отец предложил желающим бороться и тянуться на палке. Начали состязание я и мой сверстник, сын соседнего арендатора, Тимрот. Он меня поборол, что меня жестоко огорчило. На палке тянутся так: борющиеся садятся друг против друга, смыкаются подошвами, берутся оба руками за палку и стараются поднять друг друга. Отец всех перетянул, кроме толстого землянского старшины; он не мог его поднять просто потому, что старшина весил не менее десяти пудов.

На ровном месте, в степи, глубокой вспашкой была намечена окружность в пять верст; эту окружность надо было обскákat десять раз. Скакали тридцать две лошади, между ними одна наша лошадь, четыре или пять лошадей русских крестьян, остальные башкирские лошади. Жокеями были мальчишки-подростки, различавшиеся по разноцветным платкам, которыми были обмотаны их головы.

Организация скачек была не совсем удачна. Когда лошади были уже пущены, отец перевел место финиша на довольно большое расстояние от старта (для того чтобы расстояние равнялось точно пятидесяти верстам), а это сбило расчет скачущих. Затем верховые башкиры, не участвовавшие в скачках, метались по кругу, поощряя своих скакунов и сбивая прочих. Только семь лошадей до скакали, остальные сошли с круга. Первый приз взяла

башкирская лошадь, проскакавшая пятьдесят верст в час тридцать девять минут, второй приз — наша лошадь, следующие призы взяли опять башкирские лошади, и только один какой-то приз достался лошади русского. Русские были недовольны и говорили, что башкирцы сбили их лошадей. Но в общем скачки доставили всем большое удовольствие¹.

В самарском имении, по замыслу моего отца, должен был быть большой конский завод. От слияния культурных кровей английских и русских рысистых со степными — башкирскими, киргизскими и калмыцкими — должны были произойти крепкие, выносливые лошади, особенно годные для кавалерии. Условия для такого завода в самарской степи были вполне благоприятны. Степное сено с почти девственной почвы было питательно, как овес, пастбищ было достаточно. Во исполнение этого замысла отец купил несколько прекрасных породистых жеребцов и большое число степных кобыл.

Однажды вечером, в конце лета, конюхи, пасшие лошадей, спешно прискакали домой на хутор с известием, что киргизы напали на пасшихся лошадей, отбили от табуна лошадей сорок и угнали их. Прием киргизов-конокрадов состоял в том, что они украденных лошадей гнали прямо за Урал — почти 200 верст, не заботясь о том, что некоторые лошади не выдержат и падут; а за Уралом найти украденных лошадей было уже невозможно.

На хуторе поднялась тревога. Снарядили погоню на оставшихся лошадях. Поскакали русские конюхи и башкирец Лутай, милейший первобытный человек и отчаянная башка, бывший во время угона лошадей не при табуне, а дома. Киргизов нагнали, Лутай бесстрашно, с диким гиканьем, налетел на них; произошла драка нагайками, причем Лутая больно побили, но киргизы лошадей бросили и ускакали.

Урожай пшеницы в этом году был довольно хорош. Во время уборки жнецы жили в степи по неделям. Степь ожилилась; на жнивьях — палатки, рыдваны, лошади, котелки над кострами.

Некоторые жнецы приезжали издалека. Один пожилой татарин пришел на жнитво пешком из Казанской губер-

¹ Об этих скачках см. также в воспоминаниях моего брата Ильи Толстого и Степана Берса.

нии, за тысячу верст, вместе со своей женой, криворотой девочкой лет восьми и младенцем, которого они с женой везли всю тысячу верст в маленькой тележке. Моя мать приняла участие в этой семье и давала им кое-какие харчи. Девочке она как-то дала сдобную лепешку, и это ей так понравилось, что, встречая мою мать, она каждый раз говорила: «Тотка, лепешка давай мне».

В то время сторожем при хуторе был другой, старый, оборванный, грязный и добродушный татарин Бабай. По вечерам он пел свои татарские песни и колотил палкой по старому ведру. Он иногда приходил к Мухамедшаху Романычу, скромно останавливался у двери его кибитки, молился, как полагается мусульманину, закрывши лицо руками, и почтительно здоровался. Мухамедшах говорил ему «утр» (садись) и угощал кумысом. Мой отец, заметив это, сказал: «Вот как закон гостеприимства строго соблюдается у мусульман! Мухамедшах, сравнительно аристократ, сажает и угощает нищего Бабая. Мы, христиане, так нищих не принимаем».

В августе мы вернулись в Ясную Поляну.

Моя мать тяжело переносила свою беременность и все болела. У нее было нечто вроде лихорадки, а осенью все мы, дети, заболели коклюшем в довольно сильной степени, и она вместе с нами.

От этого времени у меня остался в памяти следующий странный случай. Отец перед сном обыкновенно раздевался и умывался в комнате под залой, бывшей его кабинетом, после чего в халате шел наверх в спальню, общую с матерью. Я и брат Илья в то время спали в комнате, находящейся между буфетом и комнатой со сводами. Однажды осенью я проснулся около двенадцати часов ночи от отчаянного крика моего отца: «Соня, Соня!» Я выглянул из двери. В передней было совсем темно. Он повторил свой крик. Я вышел в переднюю и услышал, как моя мать быстро прибежала к лестнице со свечой в руке.

Сильно взволнованным голосом она спросила: «Что с тобой, Левочка?»

Он ответил: «Ничего, я заблудился».

Тогда у матери сделался сильный припадок коклюшного кашля, с задыханьем и завываньем, и она долго не могла прийти в себя. Оказалось, что у отца не было спичек, и он, переходя из своего кабинета наверх, заблудился в передней. Этот случай я не могу объяснить иначе, как

болезненным припадком. Повидимому, у него в эту ночь повторилось то ужасное настроение, которое он называл «арзамасской тоской».

Вскоре после этого моя мать совсем слегла. Добросовестный доктор Кнерцер, приехавший из Тулы, находил у нее лихорадку, так как у нее температура ежедневно повышалась, и пичкал ее хинином, от чего не было никакой пользы. Тогда отец написал письмо доктору Захарьину с просьбой или приехать, или прислать из Москвы хорошего врача. Захарьин прислал своего ассистента Чиркова. Диагноз Кнерцера оказался неверным: Чирков определил воспаление брюшины, прописал соответственное лечение, и состояние моей матери немедленно улучшилось. Но вследствие своей болезни она 1 ноября преждевременно родила девочку Варю, жившую всего один час.

22 декабря умерла, семидесяти семи лет, Пелагея Ильинична Юшкова, тетка отца, жившая внизу в пристройке¹. Причиной ее смерти был ушиб от падения, когда она перевешивала что-то в своей комнате. Она тяжело умирала и говорила моей матери: «Je suis si bien chez vous; je ne voudrais pas mourir»².

Больше всех ее смертью был огорчен мой отец. В марте 1876 года он писал А. А. Толстой: «Странно сказать, но эта смерть старухи 80-ти лет действовала на меня так, как никакая смерть не действовала. Мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери, жалко было ее страданий, но в этой смерти было другое, чего не могу вам описать и расскажу когда-нибудь. Но часу не проходит, чтобы я не думал о ней. Хорошо вам, верующим, а нам труднее».

Начиная с этой осени, в Ясную Поляну стал приезжать раз в неделю учитель музыки Александр Григорьевич Мичурин, дававший уроки игры на фортепиано мне, Тане и Илье. Мичурин был сын крепостного музыканта, почти самоучкой научившийся играть на фортепиано и на скрипке. Сам он играл топорно, слишком метрично, но он любил музыку и был добросовестным учителем. Человек он был желчный, и хотя я учился музыке охотно, его раздражи-

¹ Надпись на могиле П. И. Юшковой в кочаковском приходе: «Скончалась в 1876 году, 1-го ноября» — не верна.

² «Мне так хорошо у вас, я бы не хотела умереть» (из письма С. А. Толстой к сестре).

тельность иногда приводила меня в какое-то оупение. Когда я ошибался, он отдергивал мою руку от клавиш и говорил: «Начинайте сначала». Когда я опять ошибался, он говорил: «Что вы тусклыми глазами бродите по клавишам, играйте сначала». Я терялся и путался, а он прекращал урок и задавал работу на неделю, а в продолжение недели я играл без руководства и не только заданное, но и многое другое.

В продолжение учебного сезона 1875/76 года отец по вечерам читал нам путешествие Жюль Верна «80 дней вокруг света». Книга, по которой он читал, не была иллюстрирована, и он сам чертил к ней иллюстрации, приводившие нас в восторг. Рисовал он довольно плохо, но у него бывали характерные штрихи. Мы очень любили эти рисунки отца и с нетерпением ждали следующего вечера. Вопрос — выиграет ли мистер Фогг свое пари, или нет — сильно нас интриговал.

1876 год

Зимой 1875/76 года отец продолжал писать «Анну Каренину», довольно много играл на фортепиано и хлопотал об устройстве учительской семинарии; к сожалению, его своеобразный план учительской семинарии не осуществился. Он предполагал готовить сельских учителей из местных крестьян. Такие учителя, живя дома, в своем селе, и продолжая вести крестьянское хозяйство, удовлетворялись бы небольшим вознаграждением и не стремились бы при первой возможности переменить свое место учителя на более выгодное занятие.

Учился я довольно прилежно по-латыни, по-гречески и по-французски с М. Реу, по русскому языку, истории и географии — с матерью, по математике — с отцом. Отец захотел проверить мои познания и просил директора тульской гимназии Новоселова допустить меня до пробного письменного экзамена из третьего в четвертый класс по пяти предметам.

Экзамены в гимназии по русскому, математике, греческому и французскому я выдержал, но по-латыни получил двойку. Это были мои первые экзамены. С этого года я каждый год весной держал экзамены вместе с гимназистами тульской гимназии. Отец очень интересовался моими испытаниями. 12 мая он писал А. Фету: «У меня

событие, занимающее очень меня теперь, это экзамены Сережи, которые начнутся 27-го». Для меня они были крупным событием особенно потому, что здесь я в первый раз входил в товарищеские отношения со своими сверстниками. Я ценил эти отношения, но мне было неприятно, что мои товарищи относились ко мне несколько снисходительно, хотя и дружелюбно. Отец, боясь, что товарищи научат меня разврату, предупреждал меня, чтобы я ни с кем близко не сходил за исключением одного товарища, из семьи графа Дмитрия Татищева, с которым я и сблизился, но ненадолго. Этот милый мальчик года через два после нашего знакомства погиб на станции Скуратово, оступившись при выходе из вагона. Колесами отрезало ему обе ноги, после чего он вскоре умер. Позднее я сошелся с гимназистами Хитровым и Блекловым. Хитров играл на скрипке и страстно любил музыку. Впоследствии он был убежденным демократом, несмотря на то, что был сыном полицейского чиновника; он умер в молодых годах. Степан Блеклов был впоследствии радикалом и земским статистиком в Тверской губернии. Кроме этих товарищей, у меня в Туле был еще приятель, года на два старше меня, барон Антон Дельвиг, племянник поэта. С Дельвигами мы были знакомы семьями. Это была патриархальная, традиционно-православная, провинциальная, небогатая помещицья семья. У них было имение в Чернском уезде, в двух верстах от Покровского, имения моей тетки Марии Николаевны, через которую мы с ними и познакомились. Семья состояла из отца, Александра Антоновича — младшего брата поэта, добросовестного и уважаемого земского деятеля, его жены Хионии (или Фионии) Александровны, маленькой энергичной женщины, хорошей хозяйки и ревливой матери двух дочерей, Россы и Нади, моего приятеля Антона, прозванного в гимназии Туркой за его толщину, и трех его меньших братьев. Дельвиги бывали в Ясной Поляне, и мы у них в Туле; мы с ними ставили домашние спектакли, играли в лапту и другие игры, но настоящей близости между нами не было.

Начиная с лета 1876 года в Ясную Поляну стали опять каждое лето приезжать Кузминские и жить своим хозяйством во флигеле. Побывали летом Н. Н. Страхов и другие гости; приезжала недавно вышедшая замуж моя двоюродная сестра Варя вместе со своим мужем Николаем Михайловичем Нагорновым и его братом Ипполитом. Иппо-

лит Нагорнов был скрипач-виртуоз, малоизвестный в России, но имевший успех за границей, особенно в Италии. Его полнотонная, энергичная игра — одно из моих сильных музыкальных впечатлений. Мне тогда врезались в память мазурка и легенда Венявского, сонаты Моцарта, особенно прелестное адажио сонаты в *Es-dur* сонатины Шуберта, Вебера и «Крейцера соната». Фортепианную партию в более легких пьесах играл отец, в более трудных, насколько я помню, тетя Маша или Мичурин. Как человек Ипполит Нагорнов не нравился моему отцу. Помню, как отец был недоволен, когда Ипполит Нагорнов после выпивки, едучи в линейке с другими охотниками, застрелил среди деревни дворовую собаку, погнавшуюся за нашим сеттером. Хозяева собаки пришли жаловаться, когда Нагорнов уже уехал, и отцу пришлось за собаку заплатить. По характеру Ипполит Нагорнов подходил к типу Трухачевского в повести отца «Крейцера соната», и, вероятно, отец вспоминал о нем, когда писал свою повесть.

3 сентября отец, взяв с собою своего племянника Николаеньку Толстого, поехал в самарское имение, а оттуда в Оренбург для покупки лошадей. В Оренбурге он виделся с генерал-губернатором края, своим сослуживцем по Севастополю, Крыжановским и познакомился с очень богатым купцом Деевым, торговавшим с Туркестаном. Деев его почему-то возлюбил и подарил ему тигровую шкуру, которую по приезде в Ясную отец подарил сестре Тане. Отец рассказывал про Деевых, что их предок разбогател тем, что продавал русских девушек в гаремы Средней Азии.

Весной 1877 года я должен был держать все шестнадцать письменных и устных экзаменов, которые держат гимназисты при переходе из четвертого в пятый класс, и меня усиленно готовили к этим экзаменам. С сентября ученье шло по недельному расписанию, составленному для нас троих, старших.

Мы учились от шести до восьми часов в день. Правда, нам делали поблажки: иногда осенью я и брат Илья уезжали на целый день на охоту, иногда прогулка после завтрака продолжалась дольше положенного времени. Но в общем расписание соблюдалось. По вечерам отец иногда читал нам по-французски «Три мушкетера» Александра Дюма, пропуская неподходящие для детей места. Мы с жадностью слушали его.

Осенью настроение моих родителей было довольно уныло. 15 сентября моя мать писала своей сестре: «У нас сегодня снег покрыл всю землю и так мрачно, гадко стало жить. Я всеми силами рвусь вон, но вырвусь ли, не знаю. Меня Левочка постоянно разочаровывает, ко всему охлаждает. Поэтому-то я, верно, стала искать радостей не в тех серьезных интересах, в которых жила прежде, а в разных минутных пустых радостях, лишь бы сейчас, эти пять минут, мне было весело. Левочка постоянно говорит, что все кончено для него, скоро умирать, ничто не радует, нечего больше ждать от жизни. Какие же могут быть радости помимо сего?»

Как только пруды замерзли, я, Таня, Илья и Лева и наши педагоги — два учителя и две гувернантки — стали кататься на коньках. Иногда к нам присоединялись и наши родители, а также ребята с деревни. Мы перегоняли, ловили друг друга, прыгали через палки и скатывались с ледяной горки, построенной на пруду. Хохот и крик слышались с пруда. В начале ноября брат Лев чуть не утонул, провалившись в прорубь, затянутую тонким льдом. Его вытащили бабы, полоскавшие белье в соседней проруби.

В декабре отец ездил в Москву, где познакомился с Чайковским¹.

На святках, по обыкновению, была елка, приезжали гости, и мы наряжались.

1877 год

Вторая половина зимы 1876/77 года была проведена так же, как и первая. Коньки были причиной случая, чуть не стоившего мне жизни. На пруду отчасти нами самими, отчасти поденными было расчищено несколько переплетающихся между собою дорожек. 23 января я, Таня и Илья, катаясь по этим дорожкам, ловили друг друга; на одном перекрестке я, вместо того чтобы увильнуть от Тани, ловящей меня, на быстром бегу столкнулся с ней, и мы оба упали. Она не ушиблась, а я так сильно ударился головой об лед, что потерял сознание и стал судорожно дрыгать ногами. Меня в бессознательном состоянии снесли

¹ Об этом см. далее: «Музыка в жизни Льва Толстого» и мою статью «Л. Н. Толстой и П. И. Чайковский» — «История русской музыки», изд. ГИМН, 1924.

домой, прикладывали к голове лед и поставили за ухо пиявку. А когда, проспавши почти сутки, я проснулся, у меня совершенно пропала память: она восстановилась только через несколько минут.

Здоровье отца в начале года было не совсем хорошо. Моя мать писала своей сестре: «У него все голова болит и приливы крови очень сильные... Он поехал к Захарьину. Захарьин поставил ему пиявки, но лучше не стало. Хотя на вид он и здоров, т. е. красен, все ест, но руки холодные, голова постоянно болит, пойдет ходить — устанет. Спит и вздрагивает ужасно, и я боюсь удара. Судя по словам Захарьина, он не считает это невозможным».

Этой зимой отец занимался со мною чтением по-гречески «Анабазиса» Ксенофонта. Он недостаточно знал греческую грамматику, и при чтении нам приходилось иногда в нее заглядывать. Но он знал много греческих слов и по какой-то интуиции легко схватывал смысл читанного.

«Анна Каренина» приближалась к концу.

Как известно, поворот мирозозерцания Левина — это описание душевного перелома моего отца. Он в то время старался быть православным и исполнять церковные обряды. Главным толчком к увлечению отца православием, мне кажется, было его желание сблизиться по своей вере с крестьянами, от духовной разобщенности с которыми он всегда страдал. Догматы, таинства, чудеса, вообще все то, с чем его разум не мог согласиться, он решил принять на веру, со смирением (по Хомякову), так как разум отдельных людей должен подчиниться разуму соборному — церкви. Я помню, как он читал Хомякова и высказывал эти мысли. Как известно, вскоре его разум восторжествовал над этой подневольной философией, но в 1877 году он был ревностным православным. Никого из своей семьи он не принуждал и даже не уговаривал веровать так же, как и он; правда, никто и не противился ему, но никто особенно и не сочувствовал. Моя мать считала себя православной, но вообще холодно относилась к религии, а мы, дети, еще не могли сознательно отнестись к этим вопросам. По примеру отца, я старался быть православным, но где-то внутри себя я чувствовал протест против этого. Я не мог не чувствовать нелепости таких чудес, как остановка солнца Иисусом Навином во время сражения, взятие Ильи на небо, пребывание Ионы в чреве китовом, воскрешение Лазаря, воскресение и вознесение Христа

и особенно претворение вина и хлеба в плоть и кровь Христову. Мы молились. Мать с детства научила нас перед сном повторять «Отче наш», «Дева радуйся» и молитву за родных и всех православных христиан. Но это делалось почти машинально.

Весной, к моему большому удовольствию и к удовольствию моих педагогов, я выдержал все экзамены для перехода из четвертого в пятый класс, о чем получил формальное свидетельство.

Турецкая война была в полном разгаре, и отец горячо ею интересовался. Вначале он несколько пессимистично относился к ее исходу. Помню, как сильно огорчило его известие о неудаче Плевненского боя.

Летом опять во флигеле жили Кузминские и приезжал Н. Н. Страхов.

Перед учебным сезоном отец стал подыскивать нам русского учителя на место уволившегося Рождественского. В то же время он искал управляющего самарским имением. Через Марию Ивановну Абрамович, акушерку, жившую в Туле, он нашел и того и другого. Это были — учитель Василий Иванович Алексеев и управляющий Алексей Алексеевич Бибиков. Отец тогда полушутя говорил: «Мария Ивановна мне рекомендует двух нигилистов». О Бибикове речь впереди. Скажу несколько слов об Алексееве, по тем его рассказам, которые я когда-то записал.

Его отец был псковский помещик, бывший николаевский офицер, державшийся чуть ли не домостроевских правил. Его мать, родом крестьянка, была забитая мужем, добрейшая женщина, мать восьми детей. Василий Иванович из псковской гимназии поступил на математический факультет Петербургского университета, который окончил одним из первых. В Петербурге он примкнул к кружку народников, вел пропаганду среди рабочих и студентов. По окончании курса он поступил директором одного технического училища, на 2 000 рублей в год. Ученики его любили, и он имел больше, чем ему было нужно. Но, как человек с чуткой совестью, он считал, что незаслуженно пользуется своим благополучием. В то же время он сблизился с А. К. Маликовым, бывшим революционером-народником, побывавшим в тюрьме и ссылке, а затем ставшим проповедником учения «богочеловечества». Это религиозное, несколько мистическое учение основывалось на христианстве и приносило христианскую этику в социаль-

ные и международные отношения людей. Для этого его поборники должны были прежде всего сами стать морально выше окружающей их среды и на примере показать возможность осуществления своих идеалов. Вокруг Маликова образовался кружок сочувствующих его учению, в том числе В. И. Алексеев. Решено было образовать земледельческую коммуну, в которой имущество было бы общее, все были бы равны и вели бы строго нравственную жизнь. А так как в России правительство не потерпело бы такой коммуны, то решено было устроить ее в Америке. На деньги одной курсистки была куплена ферма в Канзасе, и на ней поселилось несколько русских интеллигентов, в том числе: А. К. Маликов, В. И. Алексеев, его брат и другие, всего с семьями человек пятнадцать. Позднее к ним присоединился В. Фрей, позитивист и вегетарианец.

Коммуна просуществовала около двух лет. Первое время колонисты жили хорошо и дружно, но на второй год пошли раздоры, урожай был плох, коммуна обеднела и распалась.

Вернувшись из Канзаса, Василий Иванович сильно бедствовал, пробиваясь кое-чем; несмотря на это, он сперва отказался поступить к нам учителем, не желая жить в графском доме, где, как он говорил, обед подавали лакеи в белых перчатках. Однако мой отец уговорил его, и с осени он стал преподавать нам математику, русский язык, историю и географию. Сначала он вместе со своей гражданской женой Елизаветой Александровной Маликовой, ее дочерью Лизой и своим сыном Колей, еще грудным младенцем, поселился не в доме, а на деревне, и лишь в следующем году перешел во флигель яснополянской усадьбы. Он был немного выше среднего роста, худ и узок в плечах, белокур и не отличался мускульной силой. Под подбородком у него моталась редкая русая борода, на щеках волосы не росли, его честные голубые глаза смотрели ласково, говорил он плавно и спокойно и почти никогда не сердился.

Его убеждения, основанные отчасти на христианской этике, отчасти на социальных идеях европейских мыслителей, не были выработаны им вполне самостоятельно. Свое же у него было — его чистое сердце и стремление к добру и истине. Жить своим трудом, преимущественно ручным, стараться отдавать народу больше, чем мы от него получаем, следовать христианскому правилу: не

делать другому, чего себе не желаешь, выработать с помощью науки правильные взгляды на социальные вопросы, раскрывать людям глаза на несправедливость современного социального строя — вот в общих чертах в чем состояло его мировоззрение. Он находил, что формы жизни могут улучшиться, только если люди сами станут нравственнее. К церковному учению он относился отрицательно, но не враждебно.

До Василия Ивановича отношения наших педагогов к нам, их ученикам и воспитанникам, были более или менее служебные (за исключением Ханны Тардзей). Они занимались с нами по обязанности и тяготились нами. Василий Иванович был первый наш учитель, который искренно хотел не только передать нам известные знания, но и дать нам некоторое нравственное воспитание. Я к нему привязался всей душой, почти влюбился в него и подпал под его влияние. И до сего времени я глубоко признателен ему за те добрые семена, которые он посеял в моей душе. Не его вина, если они плохо вззошли.

Вначале Василий Иванович, несомненно, имел некоторое влияние на мировоззрение моего отца, в то время еще только вырабатывавшееся, но затем, наоборот, Василий Иванович подпал под влияние моего отца, так что его можно бы назвать первым толстовцем.

Кроме Василия Ивановича, учившего нас математике, русскому, истории и географии, отец пригласил еще для прохождения со мною и Ильею гимназического курса по древним языкам двух тульских гимназистов старших классов, Е. Курдюмова и Бурцева. Они приезжали из Тулы в субботу, вечером этого дня давали нам уроки — один мне, другой Илье, утром в воскресенье опять давали уроки, заставляли нас работать на неделю и вечером в воскресенье уезжали. Впоследствии я встречался с Курдюмовым в Москве, где он был известным и уважаемым врачом. А Бурцев, мне говорили, стал пить запоем и рано умер.

1878 год

В январе произошла крупная перемена в жизни моей и моих братьев. М. Реу был уволен. Отец поехал в Москву искать нам другого гувернера, и вот 25 января к нам приехал француз М. Nief. Пока он у нас жил, я не знал,

что он совсем не Nief, а Jules Montels, из старой французской фамилии, чуть ли не виконт. Он был коммунаром и скрывался в России под псевдонимом. Может быть, он сказал об этом моему отцу при поступлении, но я узнал об этом только тогда, когда он от нас уехал. Впоследствии я вспомнил один разговор с ним о франко-прусской войне. Как-то я его поддразнил: «Хороши французы! Устроили у себя междоусобную войну, в то время когда под Парижем стояли немцы!»

Он рассердился и сказал: «Je vous défends de me parler de ce moment de l'histoire française»¹. И я замолчал. Он не внушал нам никаких революционных или коммунистических идей, но любил порицать иезуитов и рекомендовал мне читать книгу Прудона «De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise»². Эту книгу отец привез еще в 1860 году из своего заграничного путешествия. И. С. Тургенев, познакомившийся с ним, говорил, что он принадлежал к типу рядовых коммунаров. Nief был порядочный, веселый, добродушный, хотя, и вспыльчивый человек.

Наше учение шло по расписанию, и мы занимались часов семь или восемь в день. В то время у нас было большое число педагогов — больше семи нянек.

В эту зиму отец продолжал заниматься со мною по греческому языку. Занятия состояли в чтении «Одиссеи». Он не требовал никаких грамматических разборов, а заставлял лишь переводить устно с греческого на русский, подчеркивая или выписывая незнакомые мне слова. Мы с ним прочли несколько отрывков из «Одиссеи». Помню, какое художественное наслаждение доставило мне описание бури и пребывания Улисса у феаков.

Кроме уроков, я довольно много читал, отчасти то, что рекомендовал мне отец, отчасти и другие книги.

Зимой 1877/78 года отец стал уже отходить от православия и изучать евангелие. В то же время он задумывал роман из жизни декабристов, из царствования Николая I и из быта переселенцев.

В начале марта он ездил в Москву и в Петербург. В Петербурге он совершил купчую крепость на имение

¹ «Я запрещаю вам говорить об этом моменте французской истории».

² «О справедливости в революции и церкви».

Бистрома, смежное с ранее купленным самарским имением. У Бистрома он купил 4 500 десятин по 12 рублей за десятину, так что вместе с прежними 1 800 десятинами образовалось очень большое имение. Кроме этого дела, он в Петербурге собирал материал для своих будущих писаний: расспрашивал фрейлину гр. А. А. Толстую про интимную жизнь Николая I, осматривал казематы Петропавловской крепости, где были заключены декабристы, знакомился с декабристами и людьми, их знавшими, и т. д. Он говорил про свое намерение писать роман о декабристах, что так же, как он писал «Войну и мир» спустя пятьдесят лет после двенадцатого года, так теперь он будет писать о декабристах спустя приблизительно пятьдесят лет после 1825 года. Этот срок он считал достаточным, для того чтобы относиться к тому времени, как к истории, и не слишком отдаленным сроком, чтобы утратилась свежесть воспоминаний о нем. В Москве он виделся с декабристами Беляевым и Свистуновым. Он передавал следующий рассказ последнего.

Когда Свистунов, закованный в кандалы, ехал в Сибирь на фельдъегерской тройке вместе с Завалишиным, тоже закованным, Завалишин ему сказал, показав на кандалы: «Я должен был быть флигель-адъютантом, а вместо этого — вот!» Тогда я понял, что он не наш, — мы этим (то есть кандалами) гордились». Отец был особенно высокого мнения о непреклонном характере декабриста Лунина и рассказывал, как Лунин на каторге, прикованный к тачке, любил смешить смотрящего — толстого майора из немцев.

Не помню, в Москве или в Петербурге, отец случайно очень близко столкнулся с Александром II. Встреча произошла на лестнице, когда отец выходил из фотографии Левицкого или Дьяговченко. Он посторонился, чтобы пропустить императора, и встретился с ним глазами. Его поразили испуганные, стальные глаза Александра.

— Как у зверя, которого травят, — потом рассказывал он. — Не подумал ли Александр, что я, этот незнакомый ему человек, хочу убить его?

4 марта моя мать писала сестре: «Здоровье Левочки не очень дурно, но он весь очень ослабел — и желудок, и силы и расположение духа, и простуде стал подвержен. А главное, не может писать и работать. Это ему отравляет жизнь».

В этом году отец предполагал опять поехать всей семьей в самарское имение с целью попить кумыса и распорядиться вновь купленной землей. Моей матери этого очень не хотелось. Ей трудно и хлопотно было всей семьей, с грудным Андрюшей, совершить это утомительное путешествие и жить на хуторе полуробинзоновской жизнью. Кроме того, она должна была лишиться общества своей сестры и ее семьи, предполагавших на лето приехать в Ясную Поляну. «Я должна сознаться, что это для меня хуже тюрьмы», — писала она своей сестре про поездку в Самару. Тем не менее она сочла своим долгом на два месяца переселиться в самарскую степь.

В эту весну я держал (и выдержал) письменные экзамены из пятого в шестой класс, и моя мать решила ехать после последнего моего экзамена — 10 июля. Отец вместе с М. Nief, Ильей и Левою уехал раньше; между прочим, в эту поездку он потерял свой бумажник с деньгами. Позднее приехал пожить с нами на хуторе Н. Н. Страхов.

На этот раз мы поселились не на Сухом Тананыке, а на хуторе во вновь купленном имении, на истоках реки Мочи. Здесь Моча еще не речка; летом ее русло сухо, и только в трех или четырех местах вода стоит в небольших озерах. Хутор стоял на берегу грязного пруда, обсаженного ветлами. Дом был поместительнее, чем тананыкский, но характер местности и отдаленность от жилых мест были те же. Опять был приглашен Мухамедшах Романыч, с тех пор женившийся на второй жене, и отец стал пить кумыс, всегда приносивший ему большую пользу.

Теперь управляющим имением был Алексей Алексеевич Бибииков, приятель В. И. Алексеева и А. К. Маликова и так же, как и они, «нигилист».

По происхождению Бибииков был сын довольно богатого помещика, «хорошей фамилии», как говорилось в то время, окончил курс естественного факультета в Харьковском университете и был либеральным мировым посредником первого призыва в Жиздринском уезде, Калужской губернии. После покушения Каракозова в 1866 году он был арестован, посажен в крепость, где провел шесть месяцев, и, несмотря на то, что был оправдан по суду, административно сослан в Вологодскую губернию. После восьмилетнего пребывания в ссылке ему разрешено было жить безвыездно в своем небольшом имении Чернского уезда, Тульской губернии, «Малый Конь». Там он отдал

почти всю свою землю крестьянам, женился на крестьянке, но вскоре разошелся с ней и женился гражданским браком на другой, тоже крестьянке, от которой имел нескольких детей. Когда я его знал, он имел право жить, где хотел, но был еще под надзором полиции.

Бибиков был среднего роста, коренаст, физически силен и красив. Его добрые голубые глаза были немножко выпучены, походка несколько тороплива, добрая улыбка немножко иронична. В поддевке и русской рубашке, в высоких мягких сапогах, с русой окладистой бородой, он по внешности старался не отличаться от крестьянина, но едва ли ему это удавалось. Говорят, «попа и в рогоже узнаешь», и в нем легко было узнать «не простого» человека. Он был сдержан и мягок в обращении, никогда громко не говорил и принципиально всем говорил «вы», чем иногда приводил в недоумение крестьян. Когда я с ним познакомился, он не был революционером и отрицал возможность прогресса путем изменения форм жизни помимо общего подъема нравственности людей. Он говорил: «Будьте сами лучше, тогда общественные формы естественно улучшатся». В этом он сходиллся с Василием Ивановичем и моим отцом и расходился с революционно настроенной молодежью. Он ставил себе целью нравственно жить в этой жизни, не ожидая награды в будущей. В здоровом организме, говорил он, все потребности должны быть нормально, гармонично удовлетворены. Жить хорошо, значит жить нормально, гармонично. Он сочувствовал идее земледельческой общины интеллигентных людей, но считал, что при настоящем уровне их нравственности едва ли она может удалась, так как самим надо быть лучше.

Земля на другом берегу речки Мочи, против нашего хутора, принадлежала казне и числилась не в Бузулукском, а в Николаевском (позднее Пугачевском) уезде. Бибиков взял в аренду часть этой земли и выстроил на ней для себя и своей семьи хуторок, так что, хотя он и управлял нашим имением, он был независим. Дела имения он вел щепетильно-добросовестно, нередко в ущерб своим интересам.

В этом году в имении было много лошадей: более ста пятидесяти. Во исполнение своего плана конского завода отец купил несколько прекрасных породистых жеребцов: английского скакового, растопчинского верхового, громад-

ного седластого битюга, бухарского аргамака, текинца и несколько рысистых. Был и один мохнатый башкирский жеребец. Число степных кобыл он также пополнил. Каждому жеребцу давалось несколько кобыл; весной и в первой половине лета отдельные табунки, состоявшие из одного жеребца и данных этому жеребцу кобыл, вольно паслись в степи. Башкиры прекрасно пасли своих кобыл; понемногу привыкли к новому образу жизни также и жеребцы культурных пород. Белый бухарский аргамак, конь вершков трех¹, красавец, с прелестной арабской головой, прямой спиной, богатыми почками и точеными ногами, особенно ревниво охранял свой гарем. Весной, если кто-нибудь верхом близко подъезжал к его табунку, он кидался на него со всех ног, зубами стаскивал верхового, а лошадь, если она была мужского пола, начинал жестоко грызть и бить копытами, а если это была кобыла, загонял в свой табун; пешего же человека он подпускал к себе и повиновался ему. А в другое время года это был доброезжий, смирный конь; я любил ездить на нем за его спорую и мягкую рысь.

К осени жеребцов ставили на стойла, а кобыл соединяли в большие табуны. Некоторые лошади были почти не обьежены. Вот, например, как при мне обучили одну невыезженную лошадь. Табун загнали в огороженное место, накинули на одну из диких лошадей укрюк (длинную палку с петлей) и затянули петлю. Когда эта лошадь остановилась, чуть не задохнувшись, ей стали кричать губу, то есть обмотали ее губу ремешком и закрутили ремешок палочкой. Пока ее внимание было сосредоточено на невыносимой боли в губе, она стояла неподвижно. Ее взнуздали, оседлали и на длинном ремне привязали к другой, уже обьеженной и оседланной лошади. Затем на ту и другую лошадь село по башкирцу, и губу дикой лошади отпустили. Она не сразу пришла в себя и секунду-другую постояла в недоумении, после чего вдруг стала неистово прыгать и бить задом и передом. Главная опасность для выезжающего дикую лошадь — это как бы она не упала и не начала валяться. Для предотвращения этой опасности сидящий на ней башкирец стал лупить ее изо всех сил нагайкой, а башкирец, сидевший на обьеженной лошади, стал тянуть ее к себе. После нескольких критических

¹ То есть 2 аршина 3 вершка ростом.

минут дикая лошадь понесла, и оба башкирца ускакали в степь и скрылись из виду. Через полчаса они спокойно вернулись. Лошади шли мелкой рысью и были все в мыле, а башкирцы улыбались, скаля свои белые зубы: дикая лошадь покорила человека.

Одно из больших моих удовольствий состояло в том, чтобы ездить верхом по степи на полуобъезженной лошади. Случалось, лошадь меня носила, но это не было опасно: в степи не на что наткнуться, нет ни заборов, ни канав, ни дерев. Бывало, скачешь себе, держась за гривку, только блуза на ветру надувается.

К 29 июня мы большой компанией поехали на ярмарку в Бузулук на линейке и в плетеной тележке. Поехали мои родители, мы — трое старших, Н. Н. Страхов и М. Nief. До Бузулука, 80 верст, мы ехали целый день. Когда уже стемнело и мы приближались к Бузулуку, ось линейки, не подмазанная ямщиком, загорелась, и мы остановились среди поля. Что делать? Ямщики пробовали охладить ось естественной поливкой, употребляя тот способ, которым Гуливер тушил пожар у лилипутов, как заметил М. Nief. Но этого хватило ненадолго, и пришлось заметить колесо рычагом, который немилосердно скреб по земле, и мы поехали черепашьим шагом. Неожиданно невозмутимый ученый муж Н. Н. Страхов ужасно рассердился:

— Чертовы куклы! — говорил он. — Едете в дальний путь и не подмазываете оси! Чертовы куклы!

И выхоленная лопатообразная борода Николая Николаевича тряслась от гнева, а мы не могли удержаться от смеха.

В начале августа мы всей семьей вернулись в Ясную Поляну, где уже жили Кузминские.

8 августа, в первый раз после своей сеоры с моим отцом, приехал в Ясную Поляну И. С. Тургенев. 2 сентября он приезжал вторично¹.

В сентябре в Ясной Поляне прожил две недели сказитель былин, крестьянин Архангельской губернии Щеголёнков; мы звали его по отчеству — Петровичем. Это был небольшого роста добродушный старик с кривыми ногами, сапожник по ремеслу. Он обедал в «людской» вместе с прислугой, а по вечерам пил чай с нами. Отец записывал его рассказы, особенно легенды: «Чем люди

¹ См. об этом далее: «Тургенев в Ясной Поляне».

живы?», «Свечка», «Три старца» и другие народные рассказы заимствованы у Петровича.

В то время я был довольно тяжело болен плевритом. Когда я выздоравливал, Петрович подолгу сиживал у моей постели и рассказывал мне сказки и легенды.

Отец в эту осень много ездил на охоту; по болезни я мало принимал в ней участия. Осень была такая теплая, что 4 октября (ст. ст.), в день рождения сестры Тани, мы устроили пикник в лесу, жарили шашлык и делали яичницу.

Наши сношения с тульскими знакомыми — Дельвигами, Кислинскими и Ушаковыми — участились. Кажется, тогда же мы познакомились с Н. В. Давыдовым, бывшим в то время либеральным тульским прокурором, и с тульским вице-губернатором Леонидом Дмитриевичем Урусовым, которые впоследствии были близкими друзьями нашей семьи. Урусова можно назвать одним из первых толстовцев, хотя он был мало похож на последующих, опростившихся толстовцев. Он сходилась с отцом преимущественно в вопросах веры и философии. Он был всегда безукоризненно одет, щепетильно учтив и прекрасно говорил по-французски. Он жил скромно, был добр со всеми и старался в пределах возможного смягчать свои административные функции, но лично я был к нему равнодушен: он казался мне каким-то искусственным человеком. Его безморщинное, но немолодое лицо было мало выразительно, а его философские рассуждения туманны и не самобытны. В светском обществе он не считался умным человеком, а мой отец, хотя восставал против этого мнения, но, как мне казалось, в разговорах с ним приноравливался к его пониманию.

Урусов не был счастлив в семейной жизни и, несмотря на то, что у него было несколько детей, жил врозь с женой. Жена его — дочь богача С. И. Мальцова — жила постоянно в Париже.

1879 год

Как мы проводили святки, видно по следующей выписке из письма моей матери к сестре:

«Мы очень весело провели праздники. Первый день прошел тихо, с пудингом, репетициями и приготовлениями к спектаклю. На второй день мы к обеду уехали к

Дельвигам в Тулу. После обеда опять делали репетицию и танцевали. Вдруг кто-то упомянул о цирке... Поехали в цирк... Из цирка поехали ужинать и пить чай к Дельвигам. Потом приехал к нам гостить Николенька¹ с женой и Страхов из Петербурга. На четвертый день праздника все Дельвиги приехали к нам. Утром репетиция, потом обедали, двадцать два человека, а вечером поехали кататься в четырех санях, по трое в каждых, без кучера.

...В Новый год была чудесная елка, особенно удавшаяся в нынешнем году. Новый год встречали с шампанским... Спектакль был 3 января. Приехали: Оболенская с мужем (Миташа)², Урусов, Николенька с женой, Страхов, Ф. А. Дельвиг. Пришла Елизавета Александровна (жена В. И. Алкссева), Дуяша³, Алексей⁴ и вся дворня. И первая пьеса, «Бедовая бабушка», очень удалась. Таня сыграла роль Глаши очень мило. Антоша и Росса⁵ играли отлично, а Сережа хорошо изобразил роль *jeune premier*. Но во второй пьесе («Вицмундир»), увы, произошли разные беспорядки. Илья пропускал все в своей роли, чем путал и конфузил Сережу, у которого была главная роль Разгильдяева. После спектакля наряжались, танцевали кадрили, вальс, опять позволили детям остаться ужинать и сидеть до часа».

Я помню, как тогда я осрамился в роли Разгильдяева, но не по вине брата Ильи, а просто по застенчивости и потому, что у меня отсутствует драматический талант. Зато сестра Таня всегда отличалась на сцене, играя на разных любительских спектаклях.

В конце января моя мать поехала дней на десять в Москву и взяла с собой меня и сестру Таню. Мы не были в Москве с раннего детства. «То-то мои дикари на все удивлялись», — писала про нас наша мать. Впервые тогда мы осматривали Кремль, дворец, Оружейную палату, соборы, картинные галереи, магазины; впервые были в опере. Мы видели «Бал-маскарад», пели итальянцы с Марини и Вольпини. Я был воспитан на классиче-

¹ Николай Валерьянович Толстой, сын моей тетки М. Н. Толстой.

² Миташа — кн. Дмитрий Дмитриевич Оболенский.

³ Дуяша — бывшая горничная моей матери.

⁴ Алексей Орехов — бывший слуга моего отца, в то время приказчик — управляющий имением Ясной Поляны.

⁵ Антоша и Росса — Дельвиги.

ской музыке, и мне не особенно понравились итальянцы, хотя я запомнил несколько мелодий из «Бал-маскарада». В театре Таня рассмешила нас и соседей по ложе, спрашивая: «Правда ли, что Марини в натуре муж Вольпини?» — то есть не на сцене, а в действительности.

Вернувшись в Ясную Поляну, мы опять повели правильную жизнь, и я стал усиленно готовиться к экзаменам.

Однажды вечером отец прочел в газетах о покушении А. К. Соловьева на жизнь Александра II и телеграмму об этом стал переводить на французский язык для М. Nief'a. В фразе: «Но господь сохранил своего помазанника» он запнулся, забыв, как перевести слово «помазанник». — *Mais Dieu conservé son... son...* — говорил он, ища слово.

— *Son sangfroid*¹, — неожиданно сострил М. Nief, и все мы невольно рассмеялись.

Весной я выдержал трудные экзамены из шестого в седьмой класс. Отец очень интересовался этими экзаменами. 25 мая он писал Фету, что не поехал к нему, потому что его задерживали «...всё мелочи: нынче гувернеры уехали, завтра надо ехать в Тулу переговорить в гимназии об экзаменах, потом маленький нездоров... и т. д. Главная причина все-таки экзамены мальчиков. Хоть и ничего не делаешь, а хочется следить. Идут они не совсем хорошо: Сережа по рассеянности и неумелости делает в письменных экзаменах ошибки. А поправить после уже нельзя. Но теперь экзамены уже перевалили за вторую половину».

Лето прошло обычным порядком: во флигеле жили Кузминские, приезжал Н. Н. Страхов и другие гости. Приезжал вторично и прожил некоторое время сказитель былин В. П. Щеголёнков.

В конце июля отец поехал вместе со мною к своей теще, а моей бабушке, Любови Александровне Берс, в недавно купленное ею маленькое имение Новгородской губернии; там мы пробыли недели две. Это было глухое место, в десяти верстах от станции Боровенка; домик бабушки был построен на берегу озера Льяного, а за озером на много верст тянулся старый сосновый бор. Туда можно было проехать только на двуколке, сено там возили летом на дровнях, скотина паслась повсюду, и поля

¹ — Но господь сохранил свое... свое... хладнокровие.

от нее огораживались. Вода в озере и ручьях была темно-красная от железистых солей.

Бабушка жила со своим младшим сыном, а моим дядей, Вячеславом и своей преданной служанкой Настасьей. Вячеслав Берс был только на два года старше меня, и я с ним был в товарищеских отношениях. Мне от-радно вспомнить об этом милом дядюшке, любящем сыне, добром товарище и щепетильно-честном человеке.

Мы с ним купались, плавали на челноке и ходили на охоту за тетеревами и рябчиками. Отец, так же как и повсюду, где он бывал, интересовался местными крестьянами и разговаривал с ними. Он нашел, что новгородские крестьяне грамотнее и вообще развитее наших тульских, но испорчены Петербургом, куда они постоянно ездили на заработки. У них уже не было ни старинных песен, ни народной одежды.

Отец уехал раньше меня, и мне пришлось ехать домой одному. В вагоне третьего класса я познакомился с хорошенькой девушкой, одетой в простое черное платье, ехавшей из Цюриха. Наш разговор начался с русской литературы, а затем перешел на политические и социальные темы. Сначала сдержанно, а потом откровенно, она сказала, что только революционные действия могут заставить русское правительство произвести реформы — дать свободу, уравнивать сословия и освободить крестьян от податей. Меня радовало, что мой тогдашний несколько неопределенный радикализм, воспринятый отчасти от Василия Ивановича, отчасти от моих товарищей-гимназистов, подтверждался этой девушкой. Мы расстались под Москвой, не сказав друг другу своих имен, и я до сих пор не знаю, кто она была. По всем вероятностям, она впоследствии побывала и в тюрьме и в ссылке.

Осенью опять учење и в свободное время — охота. По субботам и воскресеньям стали приезжать из Тулы и давать нам уроки другие два гимназиста — Д. В. Ульяновский, впоследствии известный библиофил, и Н. Е. Богоявленский. Богоявленский был в то время революционно настроен и имел на меня некоторое влияние. Впоследствии он был самоотверженным земским врачом в Данковском уезде.

С наступлением зимы отец стал особенно усердно заниматься изучением евангелия и критикой богословия. Работу над «Декабристами» он оставил.

Моя мать писала сестре: «Левочка все работает, как он выражается, но, увьи! Он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы доказать, как церковь несообразна с учением евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего; я одного только желаю, чтобы он уже поскорее это кончил и чтобы прошло это, как болезнь. Им владеть или предписывать ему умственную работу, такую или иную, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен».

Отец мало рассказывал нам, детям, про свою работу, но много говорил с В. И. Алексеевым и Л. Д. Урусовым. Я, по молодости лет, мало ею интересовался, но был доволен, что отец отступился от православия, в которое я уже сознательно не верил.

2 октября М. Nief, получив какое-то таинственное письмо, вдруг покинул нас и уехал в Москву. Коммунары были амнистированы, и он уехал во Францию. Впоследствии он был редактором газеты в Тунисе, откуда прислал моему отцу письмо и свой портрет с любезной надписью: «De la part d'un français reconnaissant»¹. К стыду своему, я ему не писал, и отношения наши с его отъездом прекратились.

20 декабря родился у матери здоровый мальчик — брат Миша.

1880 год

На святках — крестины Миши. Великолепная елка. Приезжали Н. Н. Страхов, дядя Сергей Николаевич и тульские гости. После праздников — опять учење, коньки и правильная жизнь.

В конце января отец ездил в Москву и Петербург. Его более чем прежде поразила роскошь петербургской жизни.

В феврале М. Т. Лорис-Меликов был назначен начальником Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия с небывалыми полномочиями. Отец удивлялся этому назначению:

— Почему государь передает другому лицу свою

¹ От благодарного француза.

власть? — говорил он, — и кому же — военному генералу, несведущему в гражданских делах, даже нерусскому. Неужели нет русских достойных людей?

Моя мать все больше тяготилась жизнью в деревне. 30 января она писала сестре:

«Как мне иногда тяжела моя затворническая жизнь! Ты подумай, Таня, что я с сентября из дома не выходила. Та же тюрьма, хотя и довольно светлая и морально и материально. Но все-таки иногда такое чувство, что точно меня кто-то запирает, держит, и мне хочется растолкать, разломать все кругом и вырваться куда бы то ни было — поскорей, поскорей!..»

В другом письме (21 марта) она пишет уже в другом настроении:

«А ты хотя, Таничка, и сердилась на меня, что я слишком соблюдаю Левочкино спокойствие, но я считаю, что мужчины постоянно напрягают ум и поэтому голову и нервы их надо беречь прежде всего, и за эту тишину, за это соблюдение их нервов они после работы приносят в семью хорошее расположение духа, а если мы их раздражаем, то сами страдаем от этого».

А несколько месяцев спустя моя мать писала отцу 28 августа 1880 года: «Ты, верно, думаешь обо мне, что я упорна и упряма; а я чувствую, что многое твое хорошее потихоньку в меня переходит, и мне от этого легче жить на свете»¹.

В начале марта в Ясную Поляну два раза приезжал Всеволод Гаршин, уже не совсем нормальный. Во второй раз, в самую распутицу, он приехал из Тулы верхом, без седла, на лошади, которую он самовольно выпряг у какого-то извозчика, и объявил, что едет прямо в Харьков. Уезжая, он, сидя на лошади, странно махал руками. Его после этого чуть не обвинили в конокрадстве и, только когда было удостоверено, что он душевнобольной, отправили в больницу².

¹ С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, 1862—1910, изд. «Academia», М.—Л. 1936, стр. 158.

² О посещении Гаршина см. Илья Толстой, Мои воспоминания, изд. «Мир», М. 1933, стр. 134.

Весной в Ясную Поляну приехал Владимир Соловьев, тогда еще черноволосый, красивый молодой человек. Я присутствовал при продолжительном философском споре его с моим отцом. Отец говорил очень спокойно, и ни он, ни Соловьев не перебивали друг друга. Я мало что понимал, но мне казалось, что в то время Соловьев был во многом согласен с моим отцом, но старался отстаивать свою самостоятельность. Когда Соловьев уехал, отец оценил его блестящую память, эрудицию и способности, но как-то неопределенно говорил: «Что еще из него выйдет? Таким молодым еще рано философствовать». Соловьев тогда же привез или прислал отцу свои книги: «Кризис западной философии» и «Критику отвлеченных начал», с любезными надписями. Он в то время еще не относился так враждебно к взглядам Льва Толстого, как потом, в «Трех разговорах».

В мае я выдержал письменные экзамены из седьмого в восьмой класс. В начале мая приехал И. С. Тургенев¹. Летом приезжали Кузминские, Н. Н. Страхов и другие гости. В этом году, так же как и в предыдущие и последующие годы, мы по вечерам нередко «делали музыку», как мы выражались. Этот галлицизм произошел от буквального перевода французского выражения «faire de la musique». Первым лицом в этом деле была тетя Таня Кузминская. У нее было довольно большое, немного вибрирующее сопрано с красивым тембром. Она была музыкальна и пела с увлечением, которое передавалось слушателям. Даже Афанасий Афанасьевич Фет написал стихотворенье «Сияла ночь» под впечатлением ее пения. Отец также очень ценил ее пение; а мы — младшее поколение — находили, что лучше нее никто не поет. Она пела романсы Варламова, Пасхалова, Донуарова, Даргомыжского, Глинки, кое-что из Шумана и несколько французских и итальянских романсов (например, «Si vous n'avez rien à me dire», вальс *H-baccio*). Аккомпанировали отец, я или она сама. Затем мы все пели хором цыганские песни: «В час роковой», «Месяц плывет», «Береза», «Милая», «Как на горке на крутой» и др. Пели также «Ключ», старинный романс, упоминаемый в «Воине и мире», и общеизвестные русские песни («Сени», «Как под яблонькой одной», «Вдоль да по речке» и т. п.). Иногда

¹ См. далее: «Тургенев в Ясной Поляне».

мои сестры Таня и Маша плясали «русскую». Таня умела хорошо подражать деревенским бабам, Маша отличалась грациозностью.

1879—1880 годы я считаю счастливой порой моей жизни. Я был здоров, силен, удовлетворительно учился, и учение мне давалось без особого труда, занимался всяким спортом и охотой, верховой ездой, рыбной ловлей, плаванием и т. п., увлекался музыкой и мечтал о Москве, об уроках музыки у хорошего учителя, о концертах, об университете, товарищах и сходках, о такой деятельности, которая была полезна всему человечеству, и пр. Конечно, я был влюблен, робко влюблен в девушку, которая была лет на пять старше меня. Она не раз вместе с своей матерью и сестрой приезжала в Ясную Поляну, где участвовала в наших спектаклях. Но я был так застенчив, что не посмел ей намекнуть о своих чувствах, и она осталась лишь светлым воспоминанием моей юности.

Так как в следующем году я должен был держать выпускной экзамен для поступления в университет, так называемый экзамен зрелости, то для занятий со мною по древним языкам и для обучения моих младших братьев отец пригласил только что окончившего курс университета филолога Ивана Михайловича Ивакина. И вот с 13 сентября в той комнате, в которой жил М. Nief, поселился белокурый, тщедушный, бедно одетый, застенчивый юноша, с тонким голосом и тонкими пальцами. Он впоследствии написал свои воспоминания о пребывании в Ясной Поляне, которые еще не напечатаны. В этих записках он верно характеризует самого себя. Его товарищ Карелин сообщил ему, что Л. Н. Толстому нужен учитель и что Карелин рекомендовал его.

— Что же вы ему сказали? — спросил Ивакин.

— Я сказал, — ответил Карелин, — что у меня есть на примете человек хороший и для него годный, но в нем один недостаток — равнодушие.

«Равнодушие! — восклицает Ивакин, в своих записках. — Лучшей рекомендации для меня не могло и быть».

Ивакин был начитан, но в жизни был зрителем, а не действующим лицом. Он был чужд революционного обряда мыслей молодежи того времени, но и не искал материального благополучия. Он был равнодушен и к тому и к другому. Впоследствии он был учителем 3-й гимназии в Москве, написал ученую монографию о Владимире Мо-

номахе, уверовал в православную церковь и лет сорока умер. Происходя из старой московской мелкокупеческой среды, он с пристрастием любил Москву, ее церкви, Кремль, старину, дух Замоскворечья, не бывал и не хотел бывать за границей. Он любил и знал древние языки и был хорошим учителем. Мои отношения с ним были скорее товарищеские, чем отношения ученика к учителю. Отец к нему относился дружелюбно и часто с ним советовался по интерпретации евангельского текста.

Во время осени, зимы и весны 1880/81 года отец более чем когда-либо работал, особенно над евангелием. Помню, как он выходил из своего кабинета после занятий — усталый, но радостный, найдя новое толкование того или другого места евангелия.

28 октября в Туле давал концерт Николай Рубинштейн. Поехали мои родители, я, Таня, Илья, Ивакин и дядя Сергей Николаевич. На концерте отец сидел в первом ряду, закрыв глаза; он так внимательно слушал, что одна дама, не знаящая его, спросила: «Кто этот господин, который так хорошо слушает музыку?» А моя мать писала сестре о концерте: «Я видела, как его лицо дергалось и глаза моргали, совсем нервы расстроились».

На меня игра Н. Рубинштейна произвела очень большое впечатление. Мне кажется, что ни до, ни после этого концерта я не слышал такой четкости, законченной и ясной фразировки и такого логически определенного ритма. Он играл: *D*-мольную сонату Бетховена и, насколько мне помнится, *As*-дурный полонез, прелюдии, вальс *A*-дур и *F*-мольный ноктюрн Шопена, симфонические этюды Шумана и вальс из Фауста в переложении Листа.

28 ноября моя мать писала своей сестре: «На душе у меня разлад ужасный, сколько передумала и перечувствовала я эту осень, и результат очень грустный. Писать ничего не могу: как рассказать самое душевное в письмах? Все у нас по-старому, все на вид совсем благополучно, но с Левочкой холодно и далеко. В доме или ничего меня не интересует, или вызывает тоску и страдание, жалость, крайнюю нежность к детям и желание смерти... Сам Левочка вдаль в свою работу, в посещение острогов, судов мировых, судов волостных, рекрутских наборов, в крайнее sobolezнование всему народу и всем угнетенным. Это все несомненно хорошо, велико и так высоко, что только больше чувствуешь свое ничтожество и гадость. Но, увы,

жизнь свои права заявляет, тянет в другую сторону, и разлад только болезненнее и сильнее».

8 декабря: «Милая Таня, последнее письмо мое к тебе тебя, верно, смутило и огорчило. Что моя Соня с ума сошла? Но я не умею притворяться и все болтаю под впечатлением минуты. Так и тогда, но это был как бы кризис наших отношений с Левочкой. С тех пор лед как будто растаял. Он стал со мною гораздо ласковее и натуральнее, и, к счастью моему, я сильно заболела... Л. испугался и возвратил мне свою любовь...»

1881 год

В начале января я в первый раз участвовал в концерте. Мой учитель Мичурин устроил в тульском дворянском собрании концерт своих учеников. Танцы из «Жизни за царя» (ныне «Ивана Сусанина») были аранжированы в восемь рук, для двух фортепьян и струнного квартета; я играл второе секундо. В одном месте краковяка я спутался и остановился. Кислинский, игравший со мной, шепнул: «Ничего, продолжай!», и я вступил опять, пропустив несколько тактов, так что, повидимому, моя ошибка прошла незаметно.

2 февраля моя мать писала сестре: «Левочка совсем заработался, голова все болит, а оторваться не может. Его и всех нас поразила смерть Достоевского. Левочку это навело на мысль о его собственной смерти, и он стал сосредоточеннее и молчаливее».

В феврале в Ясную Поляну приезжал дядя Александр Андреевич Берс со своей красавицей женой Патти Дмитриевной, рожденной кн. Эристовой. 3 марта моя мать писала сестре: «Саша меня напугал, говорит, что находит в Левочке перемену к худшему, т. е. боится за его раскудок. Ты знаешь, что когда Левочка чем-нибудь занят, он весь отдается своей мысли. Так и теперь. Но религиозное и философское настроение самое опасное. Теперь он здоров и весел, пополнил, и я ничего не вижу в нем опасного, и голова стала меньше болеть».

Из этого письма видно, как в то время таким рядовым людям, как А. Берс, было необычно и дико то, что Лев Николаевич занимается религиозными вопросами, критикует священное писание, отошел от церкви, отрицает рос-

кошь и т. д., а не пишет романы, которые ему приносят деньги и славу. Это казалось странным не одному только Берсу: в то время в Туле распространился слух, что Лев Толстой сошел с ума. Слух этот, как говорили, распространял А. К. Кислинский, председатель тульской земской управы и отец моего товарища Коли Кислинского.

В этом же письме моя мать пишет:

«Были у нас проф. Соловьев, Страхов, Истомина, Урусов (Л. Д.), новый директор гимназии Куликов, две кузины (Берс), дядя Сережа. Ты, верно, слышала о Сабурове...¹. Одно утешение, что у Сережи характер серьезный, и музыка его всего поглощает, авось не собьет с толку... Я решила во всяком случае ехать в Москву, хотя и рожать там в ноябре. Поеду летом, все устрою, все куплю, а в сентябре перееду да и только. Сережу одного в Москву не пущу, и оставаться в деревне ни для кого не считаю хорошим, кроме разве четырех последних детей».

Решение моей матери пересхать на зиму в Москву, когда я поступлю в университет, а сестра Таня подрастет и ее надо будет «вывозить в свет», не было ново. Уже давно отец с матерью это решили, и моя мать, сестра Таня и я, как чеховские три сестры, жили этой надеждой: «В Москву, в Москву!»

Вспоминая в настоящее время прошедшие годы до нашего переезда в Москву, я лучше, чем тогда, понимаю значение моей матери в жизни нашей семьи и больше ценю ее заботы о нас и об отце. В то время мне казалось, что весь строй нашей жизни идет сам собой, заботы моей матери мы принимали как должное, как само собой разумеющееся. Я не замечал, что, начиная с пищи и одежды и кончая нашим учением и перепиской для отца, всем заведовала она. Отец только давал иногда, так сказать, директивы, которые моя мать часто игнорировала. В то же время она нередко болела и постоянно или ожидала ребенка, или кормила.

У нас, у старших, не было к матери того уважительного и несомненно робкого отношения, какое у нас было к отцу, несмотря на то, что мы отцу говорили «ты», а к

¹ В то время один студент публично дал пощечину либеральному министру народного просвещения Сабурову, из-за чего Сабуров вышел в отставку.

матери обращались на «вы». Не знаю, почему это так случилось. Моя мать не требовала этого обращения на «вы», и впоследствии самые младшие мои братья говорили ей «ты». Мы иногда позволяли себе делать замечания насчет пашей матери. Например, мы при ней говорили: «мама ест, как птица клюет», или: «мама шуток не понимает», или: «пока мама в Туле у Сушкиных покупает три аршина ситца, она успевает рассказать приказчику всю свою биографию».

По характеру моя мать была не менее энергична, чем отец. Движения и походка ее были быстры, она всегда была занята, не могла ничего не делать, редко была праздной. Если у нее не было очередного дела — кормления детей, учения, переписки, хозяйственных забот и т. п., она находила себе дела: шила, рисовала, возилась в цветнике, варила варенье, мариновала грибы и т. д. Она редко просто гуляла, редко от души веселилась. Всегда на душе у нее была какая-нибудь забота.

В 1881 году моя мать была еще молода, ей было 37 лет, и она была очень моложава. Прожив безвыездно 18 лет в деревне в постоянных заботах и труде, она, естественно, стремилась пожить в обществе, в городе, ей хотелось людей повидать и себя показать, а главное, она находила, что жить в Москве нужно для старших ее детей. «Сережа поступит в университет; ему нельзя жить в Москве без семьи, Тане надо выезжать, Илью надо отдать в гимназию, он плохо учится дома и избалуется».

Совсем иначе относился к жизни в Москве отец. В 1881 году перелом в его мирозерцании уже совершился.

Несмотря на перемену во взглядах, образ жизни отца в Ясной Поляне до переезда в Москву мало изменился. Он продолжал вести хозяйство в имениях, курить, есть мясо и даже охотиться. Только он стал гораздо меньше и как бы поневоле заниматься хозяйством и стал больше работать над своими писаниями, не давая себе отдыха летом. В 1881 году из большого предположенного им труда, состоявшего из четырех частей: 1) Введения («Исповедь»), 2) «Критики догматического богословия», 3) «Исследования евангелия» и 4) «Изложения веры» — первые две части уже были написаны, и он трудился над третьей.

Из того, куда была направлена его мысль, и как он был настроен, было ясно, что жизнь в Москве ему не могла

улыбаться. Однако, понимая, что план жизни в Москве, когда старшие дети подрастут, был выработан давно с его одобрения, он не противился и смотрел на переезд в Москву как на печальную необходимость.

1 марта был убит Александр II, о чем мы узнали на другой день от нищего мальчика-итальянца, забредшего в Ясную Поляну. Он говорил на ломаном французском языке: «Дела плохие, никто не подает, император убит».

— Как, когда, кем убит? — допрашивали мы. Он больше ничего не сумел рассказать, и только вечером мы из газет узнали правду.

12 марта моя мать писала сестре: «...У нас в доме разлад, который я выношу трудно. На днях была еще неприятность с Василием Ивановичем, и я грубо намекала на неуместность его вмешательства. Левочка на меня дуется, а я прошу бога, чтобы скорее кончилась эта жизнь слишком тесного кружка...»

Моя мать очень боялась, что под влиянием В. И. Алексеева отец напишет царю резкое письмо, за что он может быть арестован или сослан. Этим объясняется ее неприязненная вспышка по отношению к Василию Ивановичу. Вообще же она к нему хорошо относилась, но ей казалось, что религиозные искания моего отца возникли отчасти под влиянием Алексеева, а она к этим взглядам относилась с опасением, не понимая их. Тем не менее она на другой день извинилась перед ним в своей резкости.

Как известно, отец исполнил свое намерение и написал Александру III письмо с просьбой и советом не казнить цареубийц. Он письменно просил Победоносцева передать это письмо царю, но Победоносцев отказался. Письмо дошло до царя другим путём. Результат известен.

В феврале, после сильной метели, был найден на шоссе замерзший человек. Отец перевез его в избу Алексея Орехова; он, Л. Д. Урусов, Василий Иванович, я и другие долго оттирали его, но оживить не удалось.

9 апреля моя мать писала сестре: «У нас теперь довольно мирно, повидимому. Что дальше будет?» 22 апреля она писала ей же: «У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году. Я даже хотела уехать из дома. Верно, это потому, что по-христиански жить стали. А по-моему, прежде, без христианства, много лучше было. В пятницу едем в Тулу на концерт Кочетовой и Хохлова».

Я тоже был на этом концерте. Меня поразил голос Кочетовой, небольшой, но необыкновенно высокий и с феноменально развитой колоратурой. Ни у кого, даже у знаменитых итальянских певиц, я не слышал такой чистоты и легкости и высоты колоратурных пассажей. Казалось, то был не голос, а какой-то необыкновенный инструмент.

Накопец, в мае и начале июня я выдержал экзамен зрелости, происходивший уже при новом директоре тульской гимназии Куликове. Прежний директор, Новоселов, классик и педагог, был переведен в Москву, в первую гимназию. Новоселов грубо обращался с учениками. Так, например, он собственноручно подстригал ученикам крахмальные воротнички, если они были слишком высоки. Или, например, был такой случай: один ученик подсматривал из коридора в дверное окошко, что было запрещено, и не заметил, как Новоселов проходил по коридору. Новоселов ударил этого ученика так сильно по затылку, что он носом разбил стекло, и из носа у него потекла кровь.

Новый директор, Куликов, был в другом роде, он был либерал и не профессиональный педагог, а литературный человек: он написал несколько водевилей. Про него рассказывали, что, увидав дерущихся гимназистов, он сказал им: «Деритесь, деритесь, это хорошая гимнастика».

При нем экзамены прошли довольно легко, и почти все ученики восьмого класса получили аттестаты.

Я плохо знал закон божий, так как в церкви бывал редко, а наш приходский священник, учивший меня, был слишком снисходителен. Я выдержал экзамен по этому предмету лишь благодаря товарищам. Только что я взял билет и сел поодаль, чтобы готовиться к ответу, как вдруг в гимназию приехал архиерей — преосвященный Никандр, и все вскочили его встречать. Я очень плохо знал то, что мне досталось отвечать, а приходилось отвечать первому перед архиереем. Я упал духом, но кто-то из моих товарищей подсунил мне катехизис и учебник богослужения, открытые на тех местах, которые относились к моему билету, я успел эти места прочесть и отвечал удовлетворительно.

Хуже всего я написал сочинение по русскому языку; русское сочинение должно было быть написано в классе. Дана была необъятная мне хорошо известная тема: «Главные типы Пушкина и Гоголя». Я хотел блеснуть моим знанием русской литературы и написал несколько листов, но

не успел их переписать и должен был подать черновик, а в нем оказались орфографические ошибки. До какого отупения можно дойти на экзаменах, видно из того, что, перечитывая свой черновик, я в нем нашел странное слово «ча-жолый», это я написал вместо «тяжелый». Эту ошибку я, конечно, исправил, но другие ошибки остались, и поэтому по русскому языку я получил 3. По остальным предметам мне было поставлено по 4.

По окончании экзаменов радость моя была велика: теперь решено — я еду в Москву. Там университет, товарищи, сходки, новые знакомые, театры, концерты, уроки музыки и пр., и пр.

Весной В. И. Алексеев нас покинул. С окончанием моего гимназического курса и с предполагаемым поступлением брата Ильи в московскую гимназию его дело было окончено. Теперь он решил опять заняться земледельческим трудом и для этого арендовал участок земли из нашего самарского имения.

В июне отец ходил пешком в Оптину Пустынь, взяв с собою Сергея Арбузова и учителя яснополянской школы Дмитрия Федоровича Виноградова. От общения с монахами отец еще более разочаровался в православии.

По окончании экзаменов я должен был заявить, на какой факультет я поступаю. Для меня это был трудный вопрос, вследствие отрицательного отношения к университетской науке моего отца. Он мне никакого совета не давал; думаю, что он скорее всего посоветовал бы мне математический факультет, как дающий несомненные знания. Но мне математика казалась сухой материей, хотя и давалась довольно легко. С другой стороны, под влиянием В. И. Алексеева и взглядов моего отца, я хотел выбрать такую деятельность, которая была бы несомненно полезна, и поэтому я остановился на медицинском факультете, о чем и заявил директору тульской гимназии. Но когда я представил себе работу над трупами, операции, я почувствовал, что не могу стать медиком. Куда же поступать? На математический факультет? — сухая материя, на юридический? — это не наука, и на этот факультет поступают все светские снобы и франты, на историко-филологический? — интересна история, но древние языки успели набить оскомину. Остается естественный факультет, средний между медицинским и математическим. Еще Василий Иванович заинтересовал меня в физике и химии, а летом,

собираясь поступать на медицинский факультет и почи- тывая книги по естественным наукам, я еще больше заин- тересовался ими; не отрицаю и того, что на меня повлияла также тогдашняя мода на естественные науки среди либе- ральной молодежи. Итак, немножко по способу исключе- ния известных величин, я поступил на физико-математи- ческий факультет, на отделение естественных наук. Впо- следствии я не жалел о своем выборе и лыщу себя мыслью, что методы естественных наук воспитали во мне трезвость мышления.

С этого времени начались мои несчастные споры с от- цом. Он записал в своем дневнике 28 июня: «С Сережей разговор, продолжение вчерашнего, о боге. Он и они ду- мают, что сказать: нельзя этого доказать, это мне не нуж- но, что это признак ума и образования. Тогда как это-то признак невежества... Учим их старательно обрядам и закону божию, зная вперед, что это не выдержит зре- лости, и учим множеству знаний, ничем не связанных. И остаются все без единства, с разрозненными знаниями, и думают, что это приобретение. Сережа признал, что он любит плотскую жизнь и верит в нее. Я рад ясной поста- новке вопроса».

А как было мне не любить плотскую жизнь! Как раз в этот день, 28 июня, мне минуло 18 лет.

В начале июля отец ездил на короткое время к Тур- геневу в его имение Спасское, а моя мать поехала в Москву искать квартиру. В конце июля отец поехал на три недели в самарское имение и взял меня с собою. На этот раз мы ехали по Сызрано-Вяземской и Оренбургской железным дорогам до станции Богатово. В Ряжске мы «имели сча- стье» видеть знаменитого М. Д. Скобелева и великого князя Николая Николаевича младшего, величественно вос- седавших за отдельным обеденным столом в зале первого класса. Толпа любопытных с почтительного расстояния гладела на них.

На хуторе жил временно В. И. Алексеев, а в полувер- сте от хутора А. А. Бибикив. Весной этого года Василий Иванович взял в аренду у отца около 400 десятин. Предпо- лагалось, что небольшую часть этой земли он обработает своим трудом, а остальную землю будет сдавать по мелочи крестьянам под посев или покос. Разницу между деньгами, им платимыми и получаемыми с крестьян, он полагал упо- треблять сперва на свое обзаведение, а затем на помощь

неимущим крестьянам. Комбинация эта оказалась очень неудачной, о чем речь впереди. В этом (1881) году он жил на нашем хуторе скудно и скучно, вместе со своей семьей. Время его поглощалось мелкими хозяйственными заботами, а собственноручно работать в поле он еще только собирался. С отцом и со мной он и его семья были очень предупредительны и заботливы. Отец подробно писал матери о нашей жизни на хуторе¹.

Приехав в Ясную Поляну, мы застали много гостей и приготовления к домашнему спектаклю, который через несколько дней и состоялся.

¹ См. «Письма графа Л. Н. Толстого к жене, 1862—1910», изд. второе, М. 1915, стр. 135—147.

**МОЙ ОТЕЦ В СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДАХ, —
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЕГО О ЛИТЕРАТУРЕ
И ПИСАТЕЛЯХ**

I

В детстве у нас, троих старших, то есть у меня, сестры Тани и брата Ильи, было совсем особенное отношение к отцу, иное, мне кажется, чем в других семьях. Для нас его суждения были беспрекословны, его советы — обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает. Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, — а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, — я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось.

Мы не только любили его; он занимал очень большое место в нашей жизни; и мы чувствовали, что он подавляет наши личности, так что иной раз хотелось вырваться из-под этого давления. В детстве это было бессознательное чувство, позднее оно стало сознательным, и тогда у меня и у моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу.

В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т. д. Он не был ласков с нами обычными проявлениями нежности: поце-

люями, подарками, ласковыми словами, редко дарил игрушки; но мы всегда чувствовали его любовь к нам и доволен ли он нашим поведением. Если он назовет меня «Сергулевич» вместо обычного «Сережа», это была уже ласка. А то он, бывало, тихонько подойдет сзади и молча закроет мне глаза обеими руками. Угадать, кто это сделал, было нетрудно. Или он возьмет меня за обе руки и скажет: «Лезь на меня». Я карабкаюсь по его телу до самых плеч, он меня подтягивает за руки, и я сажусь или становлюсь на его плечо. Тогда он, поддерживая меня, пройдет по комнате, потом как-то сразу перекувыркнет вниз головой, и я опять становлюсь на ноги. Мы очень любили эти телодвижения, и если отец проделает их с одним из нас, например со мной; то сейчас же сестра Таня или брат Илья закричат: «И меня, и меня!»

Мы находили особую прелесть даже в запахе отца, в запахе его фланелевой блузы, здорового пота и табака; в то время он курил.

Одно из наших любимых занятий с отцом была гимнастика. Начиналось это так: мы становились в ряд, отец перед нами, и мы должны были в точности подражать его движениям: ритмически поворачивать голову направо, налево, вверх и вниз, сгибать и разгибать руки, подымать и опускать поочередно правую и левую ногу, приседать, кланяться, не сгибая колен и доставая землю руками; и т. д. Был также козел, через который мы прыгали.

Вообще отец придавал большое значение физическому развитию тела. Он поощрял гимнастику, плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке он скажет: бежим наперегонки. И все мы бежим за ним.

Известно, как мы изображали «нумидийскую конницу»: отец вдруг вскакивал из-за стола и, помахивая поднятой рукой, бежал вокруг стола, и все мы, также подняв руку, бежали за ним. Почему это называлось нумидийской конницей, никому, в том числе и моему отцу, было совершенно неизвестно. Нумидийская конница действовала освежающе на настроение, особенно после скучных гостей. Ее привез из Училища правоведения дядя Степа Берс; не знаю, какое было ее символическое значение в этом училище.

Отец очень редко наказывал нас, не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т. п., но, по разным признакам, мы чувство-

вали, как он к нам относится. Наказание его было — немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое. В нашем детстве или даже позднее в зависимости от нашего поведения, а иногда и без видимой причины, у него были временные любимцы, то один из нас, то другой. Постоянных любимцев у него не было. Только позднее, когда уже мы были взрослыми, он больше всего ценил сочувствие его взглядам. Повидимому, у него не было особой системы воспитания. Он делал замечания, намекал на наши недостатки, иронизировал, шуточкой давал понять, что мы ведем себя не так, как следует, или рассказывал какой-нибудь анекдот или случай, в котором легко было усмотреть намек.

Иногда он раздражался и возвышал голос, особенно во время уроков, но я не помню, чтобы он при этом употреблял грубые слова; случалось только, что он прогонял с урока.

Больше всего он был недоволен нами за ложь и грубость с кем бы то ни было — с матерью, воспитателями или прислугой. Но иногда он делал замечания по менее серьезным поводам. Например, он замечал, когда мы ели с ножа или резали рыбу ножом; в обществе это считалось дурными манерами; в прежнее время этому приписывалось значение. Так, в «Анне Карениной» Анна говорит про кого-то: «Он не то что нигилист, а ест с ножа».

Когда я сутуловато держался, он скажет: «Сядь прямо» или подтолкнет меня в спину. Или, заметив, что я стремился участвовать во всяких играх и увеселениях, слушать разговоры, которые меня не касались, вообще совать свой нос куда не следует, говаривал: «Ты все боишься *пропустить*», то есть пропустить случай получить удовольствие или узнать что-нибудь интересное. Он действительно подметил черту моего характера, которая впоследствии приводила меня к тому, что я нередко интересовался и занимался не тем, чем следовало.

Когда кто-нибудь из нас рассказывал что-нибудь такое, что должно было казаться смешным или остроумным, и сам при этом смеялся, отец говорил: есть три сорта рассказчиков смешного: низший сорт — это те, которые во время своего рассказа сами смеются, а слушатели не смеются; средний сорт — это те, которые сами смеются и слушатели тоже смеются, а высший сорт — это те, которые сами не смеются, а смеются только слушатели. Вообще он

советовал, когда рассказываешь что-нибудь смешное, самому не смеяться, а то вдруг у слушателей сделаются скучные лица, и станет неловко.

Когда я тщился острить и каламбурить, он говорил: твои остроты вроде лотереи. Редко выпадает выигрыш, а все больше пустой билетик с надписью «аллегри». И на какую-нибудь мою глупость, претендующую на остроумие, он, бывало, скажет: «аллегри!» или: «не вышло!»

Когда я делал что-нибудь нечаянно — разобью посуду, разорву или запачкаю свое или чужое платье, забуду данное мне поручение — и оправдываюсь тем, что я это сделал нечаянно, то он, бывало, скажет:

— Вот за то я тебя и упекаю, что ты это сделал нечаянно. Надо стараться ничего нечаянно не делать.

Еще он говорил:

— Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай.

В 60-х и 70-х годах, до «кризиса», отец был во многом не тем, каким он был впоследствии. Тогда он был жизнерадостен и властен.

В моем детстве во взглядах отца даже чувствовался аристократизм, хотя прямо он его и не высказывал. Более определенно аристократизм высказывался матерью. Отец приписывал некоторое значение наследственности, но под аристократизмом он подразумевал прежде всего благовоспитанность в лучшем смысле этого слова, чувство собственного достоинства, образованность, сдержанность, великодушие и т. п. Вместе с аристократизмом в этом смысле в нем всегда совмещалось особое уважение и любовь к крестьянству — к нашим кормильцам, как он всегда выражался, и это уважение он внушал и нам. Впоследствии он решительно отрекся от аристократизма.

Отец не любил фамильярности в отношениях между друзьями и даже между родными. Он говорил: «Есть приятели, которые хлопают друг друга по ляжке и приговаривают: «Подлец ты, мой любезный!» или: «Ах ты, милая моя каналья!» Это — «амикошонство» (свиная дружба).

Примером к тому, что настоящая благовоспитанность состоит в том, чтобы облегчать, а не усложнять отношения с людьми, служил известный анекдот, как Людовик XIV, испытывая одного gentilhomme'a, прославленного за свою

учтивость, предложил ему войти в карету раньше него — короля. Тот немедленно повиновался и сел в карету. «Вот истинно благовоспитанный человек», — сказал король. А когда Чичиков и Манилов толкуются в дверях, уступая друг другу дорогу, говорил отец, это нельзя назвать благовоспитанностью.

II

Привычки отца в 60-х и 70-х годах были иные, чем впоследствии. Он курил насыпные папиросы, набитые для него мой матерью, перед обедом иногда пил домашний травник из маленькой серебряной чарочки и небольшую рюмку белого воронцовского вина, ел мясо и охотился. Несмотря на почти полное отсутствие зубов, он скоро ел и мало жевал; сознавая, что это вредно, он говаривал: «*Pour se bien porter il faut bien marcher et bien mâcher*»¹.

На моей памяти он не брился и носил бороду. Волосы на голове и бороду ему подстригали — он сам или моя мать — раз в месяц, в новолуние. Этому, он говорил, он научился у магометан.

Дома он не носил крахмальную рубашку и одевался в свою традиционную блузу, зимой — в серую фланелевую, летом — в парусинную; эти блузы кроила и шила ему одна старая дворовая, Варвара, дочь его дядьки Николая, жившая на деревне, или моя мать. Но когда он ездил в Москву, он надевал крахмальную рубашку и хорошо сшитый сюртук, заказанный у московского портного.

Распределение дня в продолжение нашей жизни в Ясной Поляне до 1881 года было довольно правильно и мало изменялось с сентября по май; то есть в те месяцы, когда отец писал и когда мы, его дети, учились. Летом время распределялось иначе — более разнообразно.

В учебные месяцы мы — дети и педагоги — вставали между восемью и девятью часами и шли пить кофе наверх в залу. После девяти отец в халате, еще не одетый и неумытый, с скомканной бородой, приходил из спальни вниз, в комнату под залой. Внизу он умывался и одевался. Если мы встречали его по пути, он нехотя и торопливо здоровался; мы говорили: «Папа не в духе, пока не умоется». Затем он приходил в залу пить кофе. При этом

¹ «Чтобы быть здоровым, надо хорошо ходить и хорошо жевать».

он обыкновенно съедал два яйца всмятку, выпустив их в стакан.

После этого он до обеда, то есть до пяти часов, ничего не ел. Позднее, начиная с конца 80-х годов, он стал вторично завтракать в два или три часа.

Утром за кофе отец был мало разговорчив и скоро ушел в свой кабинет, взяв с собой стакан чаю. С этого момента мы его почти не видели до обеда.

Моя мать вставала позднее, приходила в залу пить кофе часов в одиннадцать. Между двенадцатью и половиной первого подавался для нас — детей и педагогов — второй завтрак. Родители в этом втором завтраке обыкновенно не участвовали. Таким образом, самовар, кофе и завтрак не сходили со стола от девяти до половины первого.

Когда отец писал, то ни он, ни его семейные не говорили, что он *работает*, а всегда *занимается*. До так называемого кризиса он летом мало *занимался*, давая себе отдых на три летних месяца. В остальное время года, кроме некоторых осенних дней, когда он иногда целый день охотился, он работал почти ежедневно. Когда он занимался, к нему никто не смел входить, даже моя мать: ему нужна была полная тишина и уверенность, что никто не прервет его занятий. Когда его кабинет находился в комнате с большим итальянским окном, обе двери — из залы и из гостиной — запирались. Даже в соседнюю комнату можно было входить только тихо и осторожно. В зале тогда играть на фортепиано нельзя было, так как отец говорил, что он не *может не слушать музыку, хотя бы еле слышную*.

Не помню, в какие годы кабинет был переведен вниз — в комнату под залой, и позднее — в комнату под сводами. В 1878 году отец поставил себе избушку в Чепыже, куда летом уходил заниматься.

После занятий отец куда-нибудь уходил или уезжал верхом. Эти прогулки или поездки он делал или с известной целью — по хозяйству, на охоту, посетить кого-нибудь, на станцию и т. п., или же без определенной цели, большей частью в Засаку или на шоссе.

Эти прогулки без определенной цели были, может быть, самыми производительными, потому что на них он сосредоточивался и собирал материал для своих писаний.

Засака и шоссе были его любимыми прогулками.

Огромный казенный лес Засака¹, с его просеками, ма-
доезжими дорогами, чащами и оврагами, привлекал его
своей дикостью, безлюдием, первобытностью и роскошью
растительности. Туда Л. Толстой удалялся от повседневно-
й суеты, там он созерцал природу, почти нетронутую
человеком, там он мыслил. Он особенно любил выбирать
малозаметные тропинки, не зная, куда они приведут,
и бывать в таких частях Засаки, где он раньше не бывал.
В лесу, так же как и в области мысли, он любил отыски-
вать новые пути. В этом он находил особую прелесть.
Тропинки иногда прямо выводили его на торные пути,
а иногда вели в чащу и глубокие овраги.

¹ Тульские Засаки, в существующих границах (около 35 000 деся-
тин), представляют часть тех лесов, которые служили Московскому
государству защитой от набегов крымских и ногайских татар. В XVI
столетии, когда крымские татары неожиданно вторгались, грабили,
жгли и уводили в рабство жителей, московское царское правительство
предприняло ряд мер для ограждения южных границ государства.
Для этого оно посылало туда ратных людей, поселяло там служилых
людей (помещиков) вместе с крестьянами и, пользуясь естественными
условиями местности, возводило там укрепления. Пограничные леса-
засаки не рубились; только в середине лесной полосы прокапывался
ров, по сторонам которого лес *засакался*, то есть деревья подрезались
так, чтобы образовать непроходимое заграждение для татарской кон-
ницы. Лишь в некоторых местах для проезда оставлялись укреплен-
ные ворота, ограждаемые вооруженными людьми.

Когда надобность в защите от татар миновала, Засаки были об-
ращены в казенные леса. Они были впервые распланированы при ге-
неральном межевании земель в 1779 году, и их стали эксплуатировать
для нужд Тульского оружейного завода; впоследствии они были пере-
даны в Министерство государственных имуществ. Весь лес разделен
прямыми просеками на кварталы.

Оборот рубки для этого старого леса был назначен многолетний,
и до последнего времени можно было найти такие кварталы в Засаке,
которые никогда еще не рубились; в детстве же и юности Льва Нико-
лаевича большую часть Засаки можно было назвать девственным ле-
сом. Дубы в Засаке не особенно толсты, но очень высоки. Выросши в
непрореженной лесной чаще, они поборолли другие породы — осину,
липу, березу и проч. — и вытянулись кверху.

После вырубки старых дубов на их месте вырастает необыкновен-
но густая поросль, состоящая уже не из дубов, а из смеси деревьев; на
сечке начинают расти осины, липы, клены, ясени, березы и только в ма-
лом количестве дубы. Поросль переплетается густой и высокой, выше
роста человеческого, травой и кустами паклена, орешника, малины,
бересклета и проч., и лес принимает еще более непроходимый дикий
вид. Лишь за последние годы Засаку стали прореживать и прочищать.

В Засаке водились, и теперь водятся, но в гораздо меньшем коли-
честве, чем прежде, такие животные, каких нельзя найти в других ме-
стах той же полосы России: дикие козы, куницы, барсуки, иногда лоси
и др., не говоря уже о волках, зайцах и лисицах.

Другая любимая прогулка отца была по Киевскому шоссе.

Ясная Поляна стоит на большом пути, ведущем с севера России на Украину, в Крым, к берегам Черного моря. Отец помнил время, когда шоссе еще не было, а была только «большая дорога» или «большак»¹.

В его детстве в полуверсте от «старой дороги» было проведено так называемое Киевское шоссе, сократившее и улучшившее путь. Позднее, уже во время моего детства, в полуверсте от шоссе — еще дальше от Ясной Поляны — была построена Московско-Курская железная дорога.

Отец полушутя называл свою прогулку по шоссе выездом в «grand monde»² или прогулкой по Невскому проспекту.

В 60-х и 70-х годах по шоссе шло особенно много богомольцев и богомолков — в Киев, Соловки, Троицкую лавру, к Тихону Задонскому, в Оптину Пустынь, в Старый Иерусалим и т. д. и обратно. Отец говорил, что немногими из этих странников руководило благочестие. Люди ходили на богомолье по разным причинам: кому плохо жилось дома, кому хотелось повидать божий мир, кто шел потому, что паломничество уважалось, и т. д. Богомольцы и богомолки шли ровным и медленным шагом верст по 30 в день, с котомками и узлами за спиной, в мягких чунях и обмотках; они шли обыкновенно по несколько человек вместе, питались большей частью подаянием, ночевали где придется, редко мылись и редко меняли белье.

Проходя большие расстояния и встречаясь с многими людьми, богомольцы распространяли народную поэзию, пословицы, сказки, легенды, влияли на народное воззрение и разносили разные слухи.

Отец говорил, что рассказы странников заменяют

¹ Это была одна из больших скотопрогонных дорог, тридцатисаженной ширины, которые были проведены при Екатерине между многими городами Центральной России; эти дороги были когда-то обсажены ветлами и березами, в настоящее время не сохранившимися. «Старая дорога» проходила мимо яснополянского парка и через деревню Ясную Поляну. До постройки шоссе это был очень оживленный путь: здесь проезжали в дормезах и колясках, в бричках и тарантасах, в санях и возках, и телегах и дровнях, на почтовых и на долгих; проезжали Пушкин, декабристы и многие другие. М. Н. Толстая, мать моего отца, из беседки парка видела, как по этой дороге провозили тело Александра I из Таганрога.

² «великосветское общество».

народу литературу и даже газету. Он любил разговаривать с прохожими, идя по пути с ними или присев на краю дороги. Некоторые их легенды и рассказы превратились под его пером в художественные произведения. Знание быта рабочего народа, народного языка, местных наречий, северного, поволжского, украинского, многих поговорок и пословиц — все это отец приобретал на шоссе.

Тут же проезжали местные крестьяне, знакомые и незнакомые, трезвые и подгулявшие, с возами и порожняком. Отец иногда просил их подвезти его, что обыкновенно охотно делалось. На шоссе же крестьяне били камень; он и с ними заводил разговор, а иногда и сам пробовал бить камень. Он говорил, что это очень тяжелая работа; после нее руки болят.

В 5 часов дня мы обедали. К этому времени отец приходил домой, нередко опаздывая. За обедом он бывал оживлен и рассказывал свои дневные впечатления.

Вечером, после обеда, он большею частью читал или, если были гости, разговаривал с ними; а иногда он занимался с нами, читал нам вслух или давал уроки. В это время дня доступ к нему был свободен; он даже не всегда закрывал двери в свой кабинет.

Около 10 часов вечера опять все жители Ясной Поляны были в сборе, приходили пить чай в залу. В это время, как и за обедом, отец, когда был в хорошем настроении и здоров, оживленно рассказывал, особенно когда бывали гости. Перед сном он обыкновенно опять читал; одно время он вечером каждый день играл на фортепиано.

Спать он ложился около часа ночи.

III

Отец умел читать, что далеко не всякий умеет. Он хорошо помнил прочитанное и различал книги, которые надо читать, не пропуская ничего, и книги, из которых надо выбрать только существенное или нужное. Таким образом он экономил свое время.

В те годы, когда мы оседло жили в Ясной Поляне, он много читал. Он научился греческому языку, собирал материал для своей «Азбуки» и «Книг для чтения», для задуманных им романов из времен Петра и из жизни декабристов, читал четьи-минеи, изучал русские былины

и половицы, а в конце 70-х годов — евангелие и критику священного писания.

Кроме того, он постоянно читал иностранную беллетристику, особенно английские и французские романы. Из английской литературы он читал Диккенса, Теккерея и семейные романы: Троллопа, Гумфри Уорда, Джорджа Эллиота, Брайтона, Браддона и др.

Известно, что он ставил Диккенса выше всех других английских романистов. Теккерея он находил несколько холодным, а из остальных романов хвалил «Адама Беда» и «Векфильдского священника».

Из французской литературы он читал Виктора Гюго, Флобера, Дроза, Фелье, Золя, Мопассана, Доде, Гонкуров и других.

Он особенно ценил «Les misérables» и «Le dernier jour d'un condamné» Виктора Гюго, а из реалистов — Мопассана. Он был холоден к Флоберу, Бальзаку и Доде; Золя он читал с интересом, но считал его реализм преднамеренным, а его описания слишком подробными и мелочными.

— У Золя едят гуся на двадцати страницах, это слишком долго, — говорил он про одно место в «La terre».

Он мало читал немецкую беллетристику. Не помню, чтобы он читал что-нибудь, кроме Шиллера, Гете и Ауэрбаха. Нам он рекомендовал читать «Разбойников» Шиллера, «Вертера» и «Германа и Доротею» Гете.

Нельзя сказать, чтобы в 70-х годах он много читал текущую русскую литературу. Публицистику он почти не читал, а художественную литературу только проглядывал, когда она попадалась ему под руку. Он больше всего интересовался появлявшимися произведениями Тургенева, а из произведений Достоевского некоторые, например «Подросток», насколько я помню, остались ему неизвестными. «В лесах» и «На горах» Андрея Печерского (Мельникова) он не любил, говорил, что у Печерского «фальшивый тон», что он шеголяет местными народными словечками, а крестьянскую жизнь знает плохо. Он говорил про Мельникова-Печерского: «Фальшивая литература. Например, Печерский где-то пишет: «Русский человек не жалеет дерева. Он ронит вековой дуб, чтобы вырезать из него оглоблю». Слово «ронит» Печерский употребил, думая, что знает народный язык. Он не знает, что мужик никогда не станет вырезать оглоблю из векового дуба, а срежет для этого молодую березку». В исторических

романах, вроде «Юрия Милославского» и «Князя Серебряного», — подражаниях Вальтеру Скотту, которого отец не любил, — он указывал на неверное понимание быта эпохи; к историческим романам Данилевского, Мордочева, Салиаса, Вс. Соловьева и других относился пренебрежительно.

Нам, своим детям, отец советовал не спешить читать шедевры литературы, для того чтобы позднее, когда мы будем старше и будем лучше понимать их, не утратился интерес новизны. Поэтому Пушкина, Лермонтова и Гоголя мы прочли довольно поздно. С другой стороны, он не любил специально детскую литературу. Он рекомендовал нам читать такие произведения всемирной литературы, которые интересны как для детей, так и для взрослых, — «Робинзона Крузо», «Дон Кихота», «Путешествие Гулливера», «Les misérables» Виктора Гюго, Александра Дюма (отца), Диккенса («Оливера Твиста», «Давида Копперфильда») и др. Из русской литературы он особенно рекомендовал прозу Пушкина и Гоголя, «Записки охотника» Тургенева и «Записки из мертвого дома» Достоевского. Свои произведения, кроме рассказов из «Азбуки» и «Книг для чтения», он не рекомендовал нам читать. Зато моя мать поощряла в нас чтение произведений Льва Толстого. «Детство», «Отрочество» и «Юность» были одними из моих любимых книг, особенно потому, что я сравнивал себя с Николенькой Иртеньевым.

О преподавании русской литературы Лев Николаевич говорил: «Обыкновенно сообщают очень немного о былинах и летописях и о допетровских русских писателях — о переписке Ивана Грозного с Курбским, о жизнеописании протопопа Аввакума, о Котошихине, Посошкове и др. Между тем это серьезная, содержательная литература, не то, что бессодержательные сочинения писателей, писавших в XVIII столетии под влиянием Западной Европы — Кантемира, Тредиаковского, Сумарокова и даже Фонвизина и Державина».

Из произведений Пушкина в моем отрочестве он советовал мне прежде всего прочесть «Повести Белкина». Вообще он высоко ценил язык, слог и форму прозы Пушкина. В этом отношении он считал «Пиковую даму» образцовым произведением.

К стихотворной речи отец вообще относился отрицательно. Он говорил, что поэты связаны размером и риф-

мой и нередко подгоняют под них свои образы и выражения; они не свободны в выражении своих мыслей. Он ценил только очень немногих поэтов — Тютчева, Лермонтова, Фета и, разумеется, Пушкина. Когда я раз ему сказал, что Пушкин мыслил стихами, чего нет у современных поэтов, он с этим согласился.

Впрочем, он соглашался с тем, что у поэтов, особенно у Пушкина, иногда искание рифмы приводит к удачным выражениям.

Помню некоторые отзывы отца о стихотворениях Пушкина. Он хвалил стихотворения: «Буря мглою небо кроет», «Вновь я посетил тот уголок земли», «Осень», «Тазит», «Братья-разбойники», «Туча», «Анчар» и др. Он называл прекрасным стихотворением «Тучу», в котором одно лишь слово неудачно. Он рассказывал, что Тургенев предлагал ему и Фету угадать это слово. Оба отгадали. Это было слово «обвивала» в стихе «И молния грозно тебя обвивала». Молния не обвивает тучу. Отец, по примеру Тургенева, предлагал этот вопрос разным лицам и по ответам судил об их художественном чутье.

Про стихотворение «Анчар» он говорил: «По этому прекрасному стихотворению видно, как поэты связаны рифмой. Слово «лыки» понадобилось для рифмы к «владыки»; а какие лыки могут быть в пустыне?»

В своих «Воспоминаниях» и в «Круге чтения» он поместил стихотворение Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день». В своих воспоминаниях он сознается, что с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в этом стихотворении. Только в последнем стихе — «Но строк печальных не смываю» — он заменил бы слово «печальных» словом «постыдных».

Отец мало ценил поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Анджело», «Полтаву», но восхищался «Цыганами». Ведь в «Цыганах» культурный человек осуществляет его собственную мечту — уйти из культурной жизни. В «Домике в Коломне» он ценил стихотворную технику Пушкина, но разумеется — не содержание этой шуточной поэмы. По форме и языку он очень ценил и «Графа Нулина», но говорил, что в этой веселой пьесе напрасно Пушкин упоминает о соседке Наталье Павловны, который особенно много смеялся, услышав о ее приключении с графом Нулиным.

Отец в 90-х годах, когда писал свою статью об искус-

стве, критически относился к Пушкину. Он говорил, что рабочий народ требует серьезного и понятного содержания от писателя, а Пушкин воспевает женские ножки и перси и упоминает об отживших языческих божествах — Киприде, Вакхе, Зевсе и др.

Помню, как он тогда подробно разбирал известный отрывок из «Евгения Онегина»: «Зима. Крестьянин, торжествуя», и т. д. Он говорил: «Почему крестьянин торжествует? В том нет никакого торжества, что выпал снег. Выражение «как-нибудь» в стихе «Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь» — неправильно: «как-нибудь» взято для рифмы к слову «путь». Это слово поставлено вместо «кое-как».

Позднее отец перечитывал «Евгения Онегина» и очень сочувственно относился к этому роману. Некоторыми местами «Евгения Онегина», например началом главы VII, «Гонимы вешними лучами», он всегда особенно восхищался. «Здесь каждый стих — верная картина природы,— говорил он,— и какое прекрасное сравнение:

Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют».

Он говорил, что иногда действующие лица у писателя поступают неожиданно для него самого. Как пример, он приводил слова Пушкина, сообщенные одним из современников Пушкина: «Какова моя Татьяна, какую штуку выкинула! Отказала Онегину!»

Как к человеку отец относился к Пушкину сочувственно. Он считал его человеком искренним, не закрывающим глаза на свои слабости и если и шедшим на компромиссы, то на компромиссы лишь в поступках, а не в убеждениях. Не помню, от кого он слышал слова Пушкина, сказанные им при встрече с приятелем на Невском проспекте:

«— Каким подлецом я себя чувствую!

— Почему? — спросил приятель.

— Сейчас встретил Николая Павловича и говорил с ним».

В Ясной Поляне, насколько мне помнится, постоянно выписывался только один толстый журнал — «Revue des Deux Mondes». «Русский вестник», «Заря», позднее «Беседа» (под ред. Навроцкого) и «Русская мысль» (под ред. Юрьева) присылались издателями; одно время получались «Русская старина» и «Русский архив».

«Вестник Европы» не выписывался, но бывал в Ясной Поляне; кажется, его выписывали Кузминские. Одно время получался почему-то «Огонек», где печатался роман Писемского «Масоны»; отцу понравилось начало этого романа, и он даже начал его читать нам вслух, но скоро бросил.

В конце семидесятых годов появились в Ясной Поляне, не помню откуда, «Отечественные записки». Отец читал их с интересом, особенно Щедрина и «Письма из деревни» Энгельгардта. Отрывки из «За рубежом» Щедрина он читал нам вслух; «Разговор мальчика в штанах и мальчика без штанов» смешил его до слез.

Помню также, что он читал нам вслух рассказ Щедрина о том, как татарин из трактира возил «ямудского принца» в Петербург (из «Помпадуры и помпадурши»). Его смешило впечатление, произведенное на принца Петербургом: «Помпадур есть, народ нет, чисто!» И после своей поездки в Петербург он иронически говорил: «Хорошо в Петербурге — помпадур есть, народ нет, чисто!»

Газет в те времена отец почти не читал. Кажется, тогда в Ясной Поляне получались только «Московские ведомости», присылавшиеся Катковым.

IV

Я считаю себя счастливым тем, что много слышал живую художественную и разнообразную речь моего отца. При его удивительной памяти и исключительной впечатлительности, как он хорошо передавал все им виденное, слышанное, продуманное, прочитанное! И как много я слышал от него нового и неожиданного, того, чего другие не замечают или о чем другие не говорят! С другой стороны, в его речи не было тех предметов разговора, которые мы слышим ежедневно: сплетен, неинтересных рассказов о самом себе, ненужных подробностей, пошлых анекдотов и т. п. Чувствовалось, что его рассказ или мысль, им высказываемая, ему нужны для его работы или для его мировоззрения; жившие с ним слышали многое из того, что потом вошло в его произведения. Он не любил говорить (или поступать) зря без цели. Самое слово «зря» он не любил, и, кажется, нигде в его писаниях нет этого слова.

Отец, как очень немногие, любил и чувствовал красоту лесов, полей, лугов, неба. Он, бывало, говорил: «Как у бога добра много! Природа бесконечно разнообразна; каждый день отличается от предыдущего, каждый год бывает неожиданная погода».

У него было зрение пейзажиста, хотя он считал, что пейзаж — низший род искусства. Например, он как-то сказал: «Как красива желтая рожь на фоне темного дубового леса; вот мотив для пейзажиста!»

Иногда он говорил про цвет неба и облаков: «Какое освещение! Если бы художник написал такую картину, ему не поверили бы, сказали бы, что он эту окраску выдумал».

Придя с прогулки, он иногда приносил какой-нибудь редкий для наших мест цветок, какой-нибудь особенно большой колос, весной — красненький цветок орешника, осенью — необыкновенно окрашенный лист, причудливые серьги бересклета; он сам любит и показывает нам.

В ясную ночь он нам рассказывал про звездное небо. Одно время его интересовала астрономия — не математическая, а наглядная астрономия, и он называл нам звезды и объяснял разницу между звездами, планетами и кометами.

Нередко он рассказывал нам что-нибудь из жизни крестьян, особенно крестьян Ясной Поляны; он всех их знал. Он, бывало, запросто заходил в их избы, просто разговаривал с ними, иногда давал советы, говорил по какому-нибудь делу или отвечал на их просьбы. Они доверчиво к нему относились, и он знал их семейные дела и даже тайны. Так раз он по секрету сообщил нам, что на деревне у Курносенковых скрывается беглый каторжник Рыбин.

Однажды он нам рассказал, как в яме около шоссе, где крестьяне брали песок, одного из них завалило песком. Он вместе с крестьянами ходил откапывать тело засыпанного и говорил, что они это делали самоотверженно, с опасностью быть засыпанными сами.

Бывало, каждый день под вязом около дома дожидались выхода Льва Николаевича крестьяне Ясной Поляны или окрестных, иногда дальних деревень — кто за советом по судебным, семейным или хозяйственным делам, кто с просьбой дать хворосту, лесу, покос, денег и пр. Он был известен в округе как человек, который может дать хороший совет и повлиять на власть имущих. Впоследствии,

после семидесятих годов, состав посетителей понемногу изменился: просящих совета и заступничества стало меньше, нищих стало больше, и прибавились люди с религиозными вопросами и просто любопытные.

Он знал крестьянское хозяйство во всех подробностях и экзаменовал нас: «Ну-ка, расскажите, как называются части крестьянской упряжи, как надо запрячь лошадь?» или: «Как называются части сохи?» Так как мы не могли обстоятельно ответить, то он сам подробно отвечал на свои вопросы.

А то, бывало, он выскажет те мысли, которые в данное время его занимают. В конце семидесятих годов это были мысли, высказанные им в «Исповеди» и «В чем моя вера?», и философские мысли, преимущественно навеянные Кантом и Шопенгауэром, а также разговорами и перепиской с П. П. Страховым и Фетом. К сожалению, я тогда не записывал его слов и не могу точно их передать. Приведу лишь в качестве примера его соображение о мериле времени. Он говорил, что есть два мериле времени: одно — объективное, другое — субъективное. Объективно мы измеряем время годами, днями, часами и т. д., субъективно — прожитой нами жизнью. По количеству и силе впечатлений, переживаемых в продолжение года трехлетним ребенком, год, им прожитый, равняется трети его жизни, тогда как для тридцатилетнего человека год составляет лишь $\frac{1}{30}$ его жизни. Для ребенка все ново и значительно, для него год кажется большим промежутком времени. Этим объясняется, почему, чем мы старше, тем время проходит быстрее.

Однажды он высказал такую мысль (передаю ее так, как запомнил, может быть, не теми словами, которыми он ее выразил): «О степени культурности страны следует судить не по распространению грамотности и образованности среди массы, а по степени образованности высшего слоя населения. В России высший слой образован столько же, если не больше, чем в других европейских странах. Поэтому нельзя сказать, что Россия менее цивилизована, чем они».

Про женщин он говорил: есть три рода женщин: «La femme du foyer — женщина домашнего очага (семейная), la femme du temple — женщина храма (идейная) и la femme de la rue — уличная женщина (развратная)».

При случае он любил приводить французские пого-

ворки и изречения. Некоторые ему служили правилами. Вспоминаю следующие:

Dans le doute abstiens toi (в сомнении воздержись).

Le mieux est l'ennemi du bien (лучшее враг хорошего), что соответствует русской поговорке: от добра добра не ищут.

Dis moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es (скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты).

Tout comprendre c'est tout pardonner (все понимать — значит все прощать).

Tout vien à temps à celui qui sait attendre (все приходит во-время тому, кто умест ждать).

L'exacititude c'est la politesse des rois (точность — учтивость королей).

Fais ce que dois, advienne que pougga (делай то, что должно делать, что бы ни случилось).

Последнее изречение можно назвать девизом отца. Он всегда считал, что долг выше всего и что в своих поступках не следует руководствоваться предполагаемыми последствиями их.

По поводу той или иной известной книги он приводил латинское изречение: *Habend sua fata libelli pro capite lectoris* (книги имеют свои судьбы в зависимости от головы читателя). Он говорил, что обыкновенно приводится только первая половина этого изречения: книги имеют свои судьбы, — что лишает его настоящего смысла, а именно, что успех книги зависит от понимания и уровня развития читателей.

Во время составления «Азбуки» и «Книг для чтения» и позднее он не переставал изучать русский язык и собирать слова, поговорки и пословицы. В то же время он читал словарь Даля, былины, сборники сказок и пословиц.

Помню следующие его соображения: «приставка «су» значит «похожий, вроде»; таковы слова: сунесь, суглинок, сукровица, сумрак, сурепица. Приставка «па» означает нечто не настоящее, ложное: пасынок, падчерица, паводок¹, пакленок, паскуда. Окончание «ище» означает известную площадь, особенно бывшую чем-то; таковы слова: кладбище, пожарище, торжище, городище, селище

¹ Слово «паводок» нередко употребляется неправильно. «Паводок» — это не весеннее половодье, а ложное половодье, наводнение, происходящее от сильных дождей не весной, а в другое время года.

и т. п. Он был доволен, когда услышал от одного богомольца северного края слово «стрельбище» в смысле того расстояния, на какое хватает выстрел.

Он спрашивал: какая разница между словами: начинать, зачинать, починать, начин, зачин, почин? И отвечал: начинать — общее понятие, относится больше к действиям; зачинать — самое первое начало какого-нибудь нового, еще не бывалого действия; починать относится к чему-нибудь материальному: почать стог сена, горшок с кашей.

К некоторым словам у него была антипатия, не знаю почему. Он не любил и никогда не употреблял, кроме слова «зря», слов: словно, молвил, сниматься (вместо фотографироваться). Помню, как он возмутился, когда редактор в присланной ему корректуре «Анны Карениной» заменил слово «сказал» словом «молвил».

Он справедливо возмущался, когда говорили «одеть» пальто или пиджак вместо «надеть». Он говорил: *одевают* кого-нибудь, а *надевают* что-нибудь (платье). К сожалению, эта неправильность языка так вошла в обыкновение, что в настоящее время все говорят: «одеть» пальто или брюки, а не надеть.

Он признавал употребление иностранных слов только тогда, когда нет соответствующих русских слов, и даже соглашался на такие искажения иностранных слов, как «ярмонка» или «польта».

В разговоре он нередко приводил русские пословицы, как общеизвестные, так и малоизвестные, записанные им от крестьян и богомольцев. Он говорил, что народная мудрость, выраженная в пословицах, поговорках, легендах, сказках и т. п., рассеяна по всей России; частицы ее можно услышать то от одного человека, то от другого; а в целом они, дополняя друг друга, выясняют мировоззрение русского народа.

Мне приходят на память следующие пословицы, которые он высказывал по тому или другому поводу: «много баить не подобает»; «на всякий роток не накинешь платок»; «как аукнется, так и откликнется»; «бог-то бог, да сам не будь плох»; «где родился, там и годился»; «не так живи, как хочется, а как бог велит»; «день мой — век мой», и много других. Последние две пословицы выражают его основные убеждения.

Он указывал на неполноту некоторых общеизвестных пословиц и записал дополнения к ним, слышанные им из

уст народа. В следующих примерах эти дополнения напечатаны разрядкой:

«Ну чужой каравай рта не разевай, а раньше вставай да свой затевай».

«Без стыда лица не износишь, как платья без пятна».

«От корма кони не рыщут, от добра добра не ищут».

«Не так живи, как хочется, а как бог велит».

Он указывал на искажение некоторых поговорок. Так, например, он говорил, что бессмысленная поговорка «Сухо дерево, завтра пятница» произошла от поговорки: «Сухо дерево назад не пятится», то есть согнутое сухое дерево не возвращается в первоначальное состояние. Или что в поговорке: «На тебе, боже, что мне не гоже» вместо слова «боже» надо говорить «убоже» (звательный падеж от слова «убогий»).

Вообще в семидесятых годах он больше, чем когда-либо, изучал русский язык и русскую народную литературу, чем и воспользовался позднее в своих народных рассказах и других произведениях.

Он почти никогда не рассказывал планы своих литературных работ, говоря, что излагать свое произведение, пока оно не окончено, значит погубить его. Но по мере того, как он собирал материал, он рассказывал отдельные эпизоды из действительной жизни, которые служили ему материалом и потом, преобразованные, входили в его произведения. Рассказы в «Книгах для чтения», «Кавказский пленник», «Охота пуше неволи», разные эпизоды из «Анны Карениной», отдельные штрихи из времени Петра I и декабристов я слышал от него в то время, когда он задумывал эти произведения.

V

В нашем детстве мы, то есть я и мои братья и сестры, особенно любили прибаутки, поговорки и рассказы отца.

Когда мы почему-нибудь плакали, он, бывало, расскажет что-нибудь смешное, и мы смеемся сквозь слезы. Например, он говорил:

Ты не плачь, не плачь, детинка,
В нос попала кофейнка,
Авось проглочу.

Несмотря на бессмысленность этого изречения, оно действовало безошибочно. Кофеинка неизменно вызывала смех или улыбку¹.

Когда кто-нибудь из нас ушибется или упадет, он, бывало, скажет:

Танцевальщик танцевал,
А в углу сундук стоял.
Танцевальщик не видал,
Спотыкнулся и упал.

Иногда он рассказывал анекдоты. Например, был анекдот о том, что один немец никак не мог сесть на лошадь, несмотря на то, что призывал на помощь то того, то другого святого. Наконец, он призвал всех святых, сделал усилие и так высоко прыгнул, что перескочил через лошадь. Тогда он сказал: «Nicht alle auf einmal» (не все сразу).

Хорош был анекдот про немца-преступника, приговоренного к смертной казни, просившего у короля, как милости, позволить ему самому выбрать род смерти. Когда же король ему это разрешил, он сказал: «Ich will aus Altersschwäche sterben», то есть: я хочу умереть от старческой дряхлости. Король его помиловал.

Рассказывал он также известный анекдот о том, как цыган приучал свою лошадь ничего не есть и совсем было приучил, да на тот грех она пала.

Одно время отец рассказывал нам ряд случаев из жизни сумасшедших. Например, один сумасшедший вообразил, что он стеклянный, и всячески боялся удариться обо что-нибудь и разбиться. Но кто-то подшутил над ним и толкнул его. Сумасшедший ударился об стену, сказал: «дзинь!» и умер.

Другой сумасшедший вообразил себя грибом, молча сел в угол, раскрыл над собой зонтик, отказался от всякой еды и движения и перестал отвечать на вопросы. Тогда доктор тоже взял зонтик, раскрыл его над собой и сел рядом с сумасшедшим. Долго оба сидели молча. Наконец, сумасшедший не вытерпел и спросил доктора:

— Что вы тут делаете?

— Я гриб,— ответил доктор.

Сумасшедший выразил на лице удивление, но опять замолчал.

¹ Эту прибаутку слышал в Сибири Ф. И. Толстой-Американец от одного ссыльного; об этом пишет его двоюродная племянница М. Ф. Каменская.

Через несколько времени доктору принесли заказанный им обед, и он стал есть.

— Разве грибы едят? — спросил сумасшедший.

— Как же, — ответил доктор, — видите: я — гриб и обедаю.

Тогда сумасшедший тоже попросил себе обед и с аппетитом стал есть.

Посидев несколько времени, доктор вдруг встал, продолжая держать над собой зонтик.

— Разве грибы могут стоять? — спросил сумасшедший.

— Как же, — ответил доктор, — видите: я — гриб и стою.

Сумасшедший тоже встал. Потом доктор стал ходить, и сумасшедший стал ходить, потом доктор сложил зонтик, и сумасшедший сложил зонтик и т. д. Понемногу круг действий, дозволенный грибам, настолько расширился, что сумасшедший стал жить, как все, и, наконец, забыл, что он гриб.

Еще отец рассказывал о жестоком случае, как один сумасшедший убил истопника Семена, жившего в доме сумасшедших. Семен нюхал табак и иногда угощал им душевнобольных. Как-то он заснул в коридоре, оставив около себя топор. Один сумасшедший подкрался к нему, взял топор и со всего размаху отрубил ему голову. Затем он спрятал голову Семена у себя под кроватью и пошел с хитрым видом рассказывать другим сумасшедшим, как он ловко подшутил: «Когда Семен проснется и захочет понюхать табачку, он не найдет своего носа. Его нос у меня под кроватью».

Был еще рассказ о том, как сумасшедшие взбунтовались, заперли врачей и служителей дома душевнобольных и сами стали хозяйничать; но я не помню подробностей этого рассказа.

Рассказывая про сумасшедших случаи вымышленные и никогда, вероятно, не случавшиеся, отец, несомненно, имел в виду не душевнобольных, а тех людей, которых принято считать душевноздоровыми. Его душевнобольные — в своем роде типы. Стекланный человек — это человек, вообразивший, что все окружающие хотят его толкнуть, то есть обидеть; вследствие своего ложного представления о самом себе и людях, он боится жизни и людей. Такие люди гибнут, когда приходят в серьезное столкновение с настоящей жизнью. И когда стекланный человека

толкнули, он разбился. Сумасшедший, отрубивший голову Семену для того, чтобы тот не нашел своего носа,— это человек, легкомысленно убивающий себе подобных для забавы или из-за фантастической идеи. Сумасшедший, вообразивший себя грибом,— это человек, приросший к тесному обиходу своей жизни и ограниченному кругу своего мирка, искусственно им созданного, и не желающий выйти на простор, на свежий воздух. Указан и способ лечения такого человека — расширение круга его действий и умственного кругозора.

Во всех рассказах о сумасшедших основой их болезни служит их неразумная мысль. У душевнобольных иначе и не бывает. Но большинство человечества также неразумно мыслит; поэтому отец считал большинство людей, которых принято считать здоровыми, душевнобольными. Это видно из многих его последующих писаний. Так, в дневнике 1884 года 10 апреля (н. ст.) он пишет: «Я боялся говорить и думать, что $\frac{99}{100}$ — сумасшедшие. Но не только бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать этого». Поэтому я думаю, что его рассказы о сумасшедших, слышанные мною в семидесятых годах, были зародышами тех мыслей, которые позднее легли в основу его мирозерцания. Он считал, что ложное мышление — основная причина зла в мире; люди дурно живут не потому, что они злы по природе, а потому, что они неразумно мыслят; и они неизменяемы, как душевнобольные.

Одна сказка отца, слышанная мною в моем детстве, повидимому, навеяна рассказом Гоголя «Нос». Приблизительно содержание ее таково.

РАССКАЗ О НОСЕ

Где-то в толпе, кажется на бале, господин NN нечаянно толкнул одного турка, сильно ударив его по носу. Смертельно обидевшись, турок поклялся отомстить этому господину и отрезать ему нос. Он вызвал его на дуэль и настаивал на том, чтобы дуэль произошла на саблях (эспадронах).

Г-н NN хорошо фехтовал, но на дуэли турок так стремительно на него накинулся, что он не успел отразить удар, и турок сразу отрезал ему нос. Бывший при этом доктор бросился останавливать ему кровь и делать перевязку, секунданты потребовали прекращения дуэли, а

когда г-н NN спохватился, где же его нос, оказалось, что нос съела собака.

Оставшись без носа, г-н NN решил сделать себе новый нос, для чего обратился к лучшим докторам. Один доктор посоветовал ему найти человека, который согласился бы вырезать ему нос из своего тела.

— Но,— прибавил доктор,— вам придется быть пришитым к такому человеку шесть недель.

Г-н NN решил на это. Он нашел одного деревенского парня, который за хорошие деньги согласился на то, чтобы из его руки был вырезан нос, доктор пришил его лицо к руке этого парня, и в этом положении он прожил шесть недель. Затем, когда его лицо вполне срослось с рукой парня, доктор произвел операцию и вырезал ему новый нос.

Парень получил хорошее вознаграждение и уехал к себе в деревню, а г-н NN получил новый красивый, правильный римский нос; этот нос оказался гораздо лучше его прежнего носа.

Но недолго он радовался. В иные дни, особенно почему-то по праздникам, нос стал краснеть и пухнуть. Он опять обратился к доктору.

— Узнайте, что делает ваш парень,— посоветовал доктор.

Г-н NN отыскал парня, и вот что оказалось: в те дни, когда у него пух нос, парень напивался пьяным. Нельзя было сомневаться: пьянство парня неизменно отражалось на носе NN. Тогда он, будучи богатым человеком, взял парня в свой дом в качестве дворника, назначил ему хорошее содержание и стал следить за тем, чтобы тот не пил; однако это ему не всегда удавалось, и парень все-таки нередко напивался. В такие дни нос краснел и пух, а г-н NN сидел дома и никуда не показывался.

Однако парень недолго прожил у него; он не выдержал постоянного надзора за собою и сбежал неизвестно куда. А тем временем нос стал все чаще и чаще краснеть и пухнуть, сделался дряблым и губчатым и окончательно потерял свою красивую римскую форму. Повидимому, парень совсем спился.

А в один прекрасный день нос отделился от лица и отвалился.

Тогда г-н NN решил во что бы то ни стало доискаться, что же случилось с парнем. И что же оказалось? В тот самый день, когда нос отвалился, парень умер.

И г-н NN остался на всю свою жизнь с гладким местом вместо носа.

Рассказы отца о сумасшедших и носе — это, повидимому, один из многих сюжетов, которые бродили у него в голове и остались неиспользованными.

«Т У Т У»

Следующую сказку отца, «Туту», я также слышал в своем детстве. Передам ее приблизительно, своими словами.

В дремучих тропических лесах водятся большие обезьяны, похожие на людей. Однажды трехлетний сын одного колониста забрел в лес и пропал. Отец мальчика вместе с другими колонистами пошел искать своего сына и после долгих и трудных поисков нашел его. Мальчик сидел под деревом в диком дремучем лесу и ел кокосовый орех. Не успел колонист подойти к нему, как откуда ни возьмись к мальчику подбежала громадная обезьяна, подхватила его на свои длинные мохнатые руки и вместе с ним быстро и легко взлезла на дерево. Ни отец мальчика, ни его товарищи не решились стрелять в нее; боялись попасть в мальчика. Обезьяна стала прыгать с дерева на дерево, за ней погнались, но она скоро скрылась вместе с мальчиком. Долго после этого отец мальчика не мог его найти. Наконец, он опять набрел на него. Опять мальчик сидел в дремучем лесу под деревом и ел кокосовый орех. Недалеко от него на суку сидела обезьяна. Колонист стал осторожно подкрадываться к своему сыну, но обезьяна увидела его и тоже подбежала к мальчику. Но не успела она до него добежать, как колонист выстрелил в нее и ранил в руку. Мальчик кинулся к обезьяне, крича: «Туту, Туту!» Обезьяна схватила его в охапку и полезла на дерево. Но от раны она ослабела, кровь текла из нее ручьем, и она выпустила мальчика из рук. Мальчик горько заплакал и потянулся за ней, но колонист взял его на руки и не пустил. Товарищи колониста погнались за обезьяной, но она успела скрыться.

Колонист принес сына домой. Мальчик долго после этого поминал свою обезьяну и плача говорил: «Туту, Туту! Няня Туту! Дай мне Туту!»

Из его лепета можно было понять, что обезьяна нянчила и кормила его кокосовыми орехами и бананами, и он сильно привязался к ней.

Отец всегда с особой нежностью вспоминал о своем старшем брате Николае, умершем в 1860 году от чахотки. Не буду повторять то, что он о нем писал. Между прочим, он говорил: брат Николай умел «ничего не делать», а это умеют не многие. И в самом деле, Николай Николаевич умел говорить, думать, рассказывать, читать и быть приятным людям, не делая какого-нибудь определенного дела. Нельзя сказать, что он не хотел «делать». Он пробовал быть военным, писателем, сельским хозяином, охотником, но не в этих делах проявилось его влияние на людей. Всюду, где он был, он вносил умственные и нравственные интересы, а в душе своего младшего брата он посеял семена, которые принесли обильный плод.

Я не знал своего дядю Николая Николаевича, но слышал от людей, его знавших, например от Д. А. Дьякова и А. А. Фета, а также от бывшей его прислуги самые теплые отзывы о нем.

Тургенев писал про него: «Золотой был человек: и умен, и прост, и мил». Фет писал, что он был «замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали». «Смирение, которое Лев Толстой развивает теоретически,— писал Евгений Гаршин,— брат его применил непосредственно к своему существованию».

Отец рассказывал один забавный случай, показывающий шепетильность Николая Николаевича. Однажды он приехал к нему в его имение Никольское-Вяземское и не застал дома; брат был в яблоневом саду. Отец пошел в сад и видит: Николенька тихо сидит под яблоней и делает брату знаки, чтобы он молчал.

— Тсс, потише!

— Что ты здесь делаешь? — шепотом спросил отец.

— Тише, я смотрю, как поп Аким таскает яблоки из моего сада.

Оказалось, что отец Аким, молодой священник, только что выпущенный из бурсы, перелез через забор барского сада и, оглядываясь и не видя сторожа, набивал себе карманы яблоками. А хозяин сада смотрел и боялся одного: как бы поп Аким не заметил, что он его видит.

О детстве моего отца так много написано им самим и другими, что я затрудняюсь привести какой-нибудь его

рассказ, еще неизвестный. Приведу только его рассказ о том, как он, будучи мальчиком, захотел удивить людей своим молодечеством. Однажды на прогулке, в большой компании, он хотел показать, что хорошо плавает, и бросился в речку одетый и в высоких сапогах. Это была неширокая речка, но в этом месте было глубоко. Он переплыл ее, но никак не мог выплыть на берег: сапоги, наполнившись водой, тянули его ко дну. Тогда бабы, сгребавшие сено на том берегу, со смехом вытащили его.

Отец особенно дорожил своими воспоминаниями о Кавказе. Я не раз слышал от него рассказ о том, как он еле-еле ускакал от преследовавших его чеченцев, и другой рассказ о том, как ядро ударилось о пушку, около которой он стоял.

Не менее, чем на Кавказе, он подвергался опасностям в Севастополе: 4-й бастион, где он стоял, был одним из самых опасных мест.

В самое горячее время ко рву 4-го бастиона верхом подъехал штабной офицер граф Алексей Васильевич Олсуфьев. Увидев по ту сторону рва Л. Н. Толстого, он стал ему кричать:

— Граф, получите пакет от главнокомандующего.

Л. Н. крикнул ему в ответ:

— Подъезжайте и передайте мне пакет.

Очевидно, Олсуфьев должен был переправиться через ров, но упал с лошади. А в это время пальба усилилась, пули свистели, шрапнели рвались, и он не выдержал. Через ров не переправился, пакета не передал, сел опять на лошадь, повернул обратно и ускакал.

Этот рассказ я слышал как от моего отца, так и от самого Олсуфьева.

Находясь в 4-м бастионе, отец и его товарищи офицеры посылали своих слуг и денщиков с 4-го бастиона в Севастополь с поручениями — за покупками и т. п. Слуга моего отца Алексей Орехов был смел и не выказывал страха, когда ему приходилось проходить по месту, подверженному обстрелу. Наоборот, денщик другого офицера сильно трусил. И вот отец с горечью рассказывал:

— Как мы были легкомысленны и жестоки! Мы, бывало, нарочно посылали в город не Алексея, а трусливого денщика и смеялись над тем, как он пригибался от летающих снарядов и пуль.

Когда Малахов курган был взят и русское войско отступило на северную сторону Севастопольской бухты, решено было взорвать батарею на так называемом Павловском мыске, с которого союзники могли бы обстрелять весь город. Сообразили это поздно и не успели вывести оттуда тяжело раненных. Тем не менее батарею вместе с ранеными взорвали. Отец говорил, что он видел офицера Ильина¹, только что исполнившего это поручение и спавшего крепким сном. Это был добродушный, здоровый, молодой человек.

Во время Крымской кампании отец сблизился с несколькими офицерами, с которыми впоследствии поддерживал приятельские отношения. Такими приятелями его были К. Н. Боборыкин, впоследствии либеральный губернатор в Орле, Аркадий Дмитриевич Столыпин, впоследствии управляющий московской дворцовой конторой, адмирал Ильинский, кн. Сергей Семенович Урусов и др.

Отец два раза ездил за границу — в 1857 и зимой 1860/61 года.

Во время первой своей поездки он некоторое время жил в Париже. Там он видел, как гильотинировали человека, и это впечатление оставило в нем на всю жизнь отвращение к смертной казни и даже разочарование в европейской цивилизации.

В Париже он слышал много хорошей музыки. «Для французского искусства, — говорил он, — характерна законченность, отделка, «le fini». Бывал он также в парижских театрах. Французских трагиков и пьесы Корнеля и Расина он совсем не ценил; напускной пафос и ходульность были ему чужды.

В Швейцарии он поселился в Кларане, на берегу озера Лемана, в скромном пансионе, где его по ошибке записали под фамилией M. Folstoy (Фольстои). Так как в этом пансионе не знали его титула, к нему относились просто, не как к богатому русскому графу, и у него установились простые приятельские отношения с хозяйкой и другими постояльцами. Вообще он считал свое пребывание в Швейцарии одним из лучших своих воспоминаний пребывания за рубежом.

На пути домой он остановился в Баден-Бадене. Между прочим, он рассказывал, как его тщеславие было поль-

¹ Может быть, это был не Ильин, а моряк Ильинский.

щено тем, что в Баден-Баденском парке он гулял вместе с важным придворным, другом императрицы Марии Александровны, графом Василием Дмитриевичем Олсуфьевым (отцом того Олсуфьева, который в Севастополе ускакал от пуля). Многие встречные почтительно кланялись Олсуфьеву. Но вот сам Олсуфьев кому-то низко и крайне почтительно поклонился. Это проходил прусский наследный принц Вильгельм (впоследствии император Вильгельм). Когда отец увидел, что тот человек, знакомством с которым он так гордился, сам низко кланяется, он понял целенность своего тщеславия.

Вторая заграничная поездка отца была вызвана болезнью его брата Николая и омрачена его смертью.

Это, однако, не помешало ему плодотворно использовать свое пребывание за границей. Там он изучал педагогическое дело и познакомился со многими выдающимися людьми: с писателем Бертольдом Ауэрбахом, с известными педагогами Фребелем и Дистервегом, с Герценом, Прудоном и другими.

Отец был в Италии короткое время, вскоре после смерти брата. Может быть, поэтому Италия и не произвела на него сильного впечатления. Однако южная природа, особенно Неаполь, и некоторые произведения искусства его поразили. Про свое пребывание в Неаполе он говорил, что восхищался красотой Неаполитанского залива, но что для нас, северян, южная природа вредна, — слишком нас возбуждает. Он остался довольно холоден к картинам с мадоннами и вообще к итальянской живописи, но непосредственно воспринял красоту античной скульптуры. Он мне это говорил, когда я после своей поездки в Италию передавал ему свое восхищение античной скульптурой. Памятники Римской империи, папства и эпохи Возрождения, повидимому, не оставили глубокого следа в его памяти; помню только, что он с интересом рассказывал нам про раскопки в Помпее, где его заинтересовал быт того времени. Повидимому, итальянское и античное искусства не были нужны для выработки его мировоззрения, и в своем дневнике он лишь вскользь упоминает о своей поездке в Италию.

В Лондоне он был в парламенте, где слушал трехчасовую речь Пальмерстона; он приводил эту речь как блестящий образец техники красноречия, но она оставила его холодным. В Лондоне же он присутствовал на публичном

чении Диккенса. Он говорил, что Диккенс читал превосходно и тронул его до слез.

В начале 50-х годов отец был предубежден против Герцена, но со времени своей второй заграничной поездки изменил свое мнение.

В 1861 году в Лондоне, познакомившись с Герценом, он в продолжение полутора месяцев часто виделся с ним и вел продолжительные разговоры. От этого знакомства осталась фотографическая карточка Герцена и Огарева, с автографом Герцена, подаренная им отцу в день отъезда. В этот же день получено было известие о манифесте 19 февраля 1861 года.

Герцен был симпатичен отцу не только как писатель, но и как человек. Он говорил, что Герцен был подвижной, энергический и увлекающийся сангвиник, красноречивый собеседник, блещущий остроумными сравнениями и сопоставлениями, из которых приходил к неожиданным заключениям.

Про наружность Герцена он говорил, что почему-то ему казалось характерным сложение его тела — малый рост при сравнительно широком тазе.

Отец разделял с Герценом его ненависть к Николаю I и крепостному праву. Он нередко повторял следующее мнение Герцена о Николае I, применяя его вообще к деспотическому правительству: «Чингис-хан был, конечно, очень страшен, и бороться с ним было трудно. Но еще страшнее Чингис-хан, когда к его услугам находят пушки, железные дороги, телеграфы и вообще все приобретения современной техники. С таким Чингис-ханом почти невозможно бороться».

Между прочим, он передавал следующий рассказ Герцена.

Однажды Герцен, идучи по лондонской улице, наткнулся на ковер, разостланный по тротуару перед подъездом одного богатого дома. Два лакея стояли по бокам этого ковра и не позволяли наступить на него, и прохожим приходилось обходить это место. Повидимому, ждали приезда какой-то важной особы. Герцен, однако, не сошел с тротуара, а, сильно толкнув лакея, прошел по ковра. Тогда этот лакей, которого он столкнул, крикнул другому: «Let him pass. He is a gentleman»¹.

¹ Пропусти его; он — джентльмен.

— Англичане — народ «аристократический», — говорил по этому поводу отец. — Они чтут в своих джентльменах не только их наследственные черты, привилегированное положение и богатство, но и силу, как умственную, так и физическую. Англичане говорят про своих аристократов: «Our betters» — наши лучшие люди. Русские своих аристократов так не называют.

О семейной драме Герцена отец говорил, что она произошла отчасти потому, что люди того времени, в том числе Герцен, легко смотрели на измену жене с горничной или проституткой, женщины же к этому легко отнестись не могут.

Впоследствии отец еще больше ценил Герцена. Он говорил, что запрещение в России произведений Герцена сделало то, что значительное течение русской литературы осталось неизвестным русскому обществу, и это было причиной одностороннего, а в некоторых случаях и уродливого направления русской мысли.

Он также находил верным мнение Герцена о славянофилах. Славянофилы, говорил Герцен, хотят напомнить народу то, что народ хочет забыть: православие и самодержавие. Однако Герцен придавал большое значение сельской общине и артели для будущего России. Отец был такого же мнения.

В своем детстве и ранней юности, воспитанный в помещичьей среде, отец относился к крепостному праву как к чему-то по необходимости существующему. Даже его воспитательница, добрейшая женщина, тетенька Т. А. Ергольская, думала, что иначе не может быть.

Отрицательное отношение к крепостному праву возникло у Льва Николаевича по выходе его из университета, когда он стал, еще совсем юношей, хозяйничать в Ясной Поляне. Замечательно, что тогда он на опыте убедился в том, что хозяйство не может правильно идти при крепостном труде. Эту мысль он ясно выразил в «Утре помещика», задуманном им очень рано — почти одновременно с «Детством». Но это было еще не совсем сознательное отношение к крепостному праву.

В продолжение нескольких лет, проведенных на Кавказе и на войне, среди солдат и вольных казаков, ему мало приходилось задумываться над вопросом о крепостном праве. Но с 1855 года, по возвращении в Центральную Россию, у него уже сложилось определенное отрица-

тельное отношение к нему. Оно особенно ярко выразилось в рассказе «Поликушка».

В конце 50-х годов он перевел своих крестьян на оброк. Он решил, что доходов с имения будет брать себе только 2 000 рублей, с таким расчетом он вычислил размер оброка и с небольшими отступлениями держался этого расчета несколько лет.

При разверстании с крестьянами в 1861 году он поступил так, как поступали либеральные помещики того времени, но не более того. Он отказался от всяких отрезков и от платы за усадьбы крестьян; затем он немедленно перевел крестьян на выкуп. Крестьяне получили полный надел, определенный им по закону, к одной меже и без чересполосицы с помещичьей землей. Но впоследствии он каялся в том, что не сделал большего.

Однажды я спросил его, приходилось ли ему покупать и продавать людей. Он ответил, что ему приходилось это делать по необходимости — только в тех случаях, когда девушки его деревни выходили замуж за крестьян других помещиков или когда девушки из других деревень выходили замуж за крестьян его деревень.

Вспоминаю рассказ одного крестьянина, слышанный мною от моего отца. В конце 50-х годов этот крестьянин предсказывал, что воля, наверное, объявится, и вот почему:

— Иду я как-то полем, — говорил он, — в сумерки, один-одинешенек; на небо нашла темная, темная туча, а над тучей светло. И вижу: из тучи вылезли длинные, длинные мужицкие ноги, в лаптях, и стали тянуться к земле. Тянулись, тянулись и дотянулись. А как вступили эти ноги на землю — пошли ходом, как были, в лаптях, прямо по полю, от меня прочь. Это значит: наверное, воля будет.

В молодости отца случалось, что он, рассердившись, прибегал даже к насилию. Вспоминаю следующий его рассказ. В 1865 году он вместе с Софьей Андреевной и с ее еще незамужней сестрой Татьяной Андреевной проводил лето в своем втором имении, Никольском-Вяземском. С. А. вместе с сестрой пошли купаться в речке Черни. В том году прилегающий к речке Лядовский лес был продан на сруб купцу Черемушкину; лесная контора находилась недалеко от того места, где сестры купались. В то время как они были в воде, мимо проходил лесной приказчик. Он остановился и стал говорить какие-то пошлости и,

несмотря на просьбы сестер, оставшихся в воде, долго не уходил. Придя домой, они рассказали об этом Льву Николаевичу. Он страшно рассердился и, как впоследствии рассказывал, побсжал в лесную контору и «обломал свою палку» о спину приказчика.

VII

До 80-х годов отец довольно много занимался хозяйством в Ясной Поляне и отчасти в Никольском-Вяземском, а позднее также и в своем самарском имении.

В хозяйничании Льва Николаевича сказался его характер. Он увлекался то той, то другой отраслью хозяйства и искал в хозяйстве новых приемов и новых отраслей. Некоторые его предприятия были хорошо задуманы, но хозяйство не было главным делом его жизни; он уделял ему недостаточно времени, и у него не хватало выдержки. К тому же в хозяйстве люди и природа его интересовали гораздо больше, чем выгода.

Помню, что в моем раннем детстве в Ясной Поляне была пасека, потом было много свиней, потом много овец, потом были прекрасные коровы. Но пасека просуществовала недолго; про свиней моя мать рассказывала, что на них напала какая-то странная болезнь, происшедшая, по определению ветеринара, от голода. Разводить овец в лесной местности оказалось невыгодным; они объедали молодые побеги деревьев и давали плохой навоз. Коровы давали мало молока, потому что их рационально не кормили и их недодаивали.

Сравнительно выгодными предприятиями отца были отдача земли под пастьбу гуртов, посадки деревьев на запольных землях и расширение яблоневого сада,— может быть потому, что эти отрасли хозяйства не требовали постоянного участия хозяина.

В 60-х и 70-х годах волы переправлялись из Украины в Москву и Петербург не по железной дороге, а гоном; по пути они паслись на специально для этого арендуемых землях. Под такие пастбища на выгодных условиях отдавалось около полутора десятин яснополянской земли. Бывало, летом, чуть ли не ежедневно, между шоссе и старой дорогой пасся один, а то и два или три гурта дымчатых флегматичных красавцев — украинских волов с

большими рогами; их гнали на убой в Москву и Петербург. Гуртовщики жили в палатках, ночью разводили костры, видные издалека. Когда впоследствии гонять волвов было запрещено из-за эпизоотий, их стали возить по железной дороге; тогда отец отдал землю из-под пастбища волвов яснополянским крестьянам исполу под хлеба; первые года на этой земле, удобренной многолетним пастбищем, получались хорошие урожаи, поправившие благосостояние крестьян.

Выгодной статьей в хозяйстве был лес. Чтобы увеличить свое состояние, отец мало рубил свои леса. Он считал, что лес — это капитал, который путем естественного прироста сам по себе накапливается. «Леса — это приданое дочерям», — говорила моя мать.

Несмотря на то, что леса охранялись объездчиком и лесными сторожами, порубки, конечно, были; но отец никогда не обращался в суд. Около деревни была роща, из которой крестьяне довольно свободно брали лес для своих надобностей, на что отец смотрел сквозь пальцы.

Некоторые березовые посадки, посаженные отцом, через 35 и 40 лет были вырублены и дали хороший доход, а от корней берез опять вырос лес.

Посадки яблонь очень расширили яблоневиный сад, дававший в некоторые годы громадный урожай яблок. Не часть посадок была сделана на северном склоне, и яблони росли очень туго. Ухода за садом почти не было — его не обрезали и не опрыскивали, и со временем он пришел в запущение.

Хозяйством в Ясной Поляне лет 20, до своей смерти в 1881 году, заведовал приказчик Алексей Степанович Орехов. Это был добрый, степенный, но вялый человек и большой консерватор в хозяйстве. Вообще Ясная Поляна давала мало дохода, особенно потому, что усадьба поглощала большое количество получаемых с имения продуктов: молоко, муку, сено, овес для лошадей и пр., и много денег и продуктов расходовалось на поденных, служащих и их семьи.

Другое имение отца — Никольское-Вяземское — перешло к Толстым как приданое моей прабабки П. Н. Горчаковой. После смерти ее мужа, Ильи Андреевича Толстого, оно было взято в опекунский совет за долги, но затем выкуплено его сыном Николаем Ильичом. В 1847 году, по разделу между братьями Толстыми, оно

досталось старшему брату, Николаю Николаевичу, а после его смерти в 1860 году — моему отцу. Это имение находилось в Чернском уезде, на реке Черни, в 100 верстах к югу от Ясной Поляны, в 15 верстах от имения И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново и в 12 верстах от имения Фета Новоселки.

В конце 50-х годов в Никольском жил дядя Николай Николаевич, и у него нередко бывали мой отец и соседи — Дьяков, Фет, Тургенев, Борисов и другие.

Отец жил в Никольском в то время, когда произошла ссора между ним и Тургеневым. Богословский погост, близ которого он предлагал Тургеневу стреляться, находился как раз на полдороге между Никольским и Спасским.

Никольское-Вяземское — довольно большое село. Жители его в прежнее время были бедны и серы и жили по-старинному; избы их топились по-черному, одежда была домотканная, бабы одевались в понёвы и сарафаны, в праздничные дни вдевали в уши пушки и пели старинные песни. Описание в «Воскресении» дальней деревни, где Нехлюдов предлагал крестьянам свой земельный проект, напоминает Никольское-Вяземское.

Земли в имении было около 1 200 десятин. Приблизительно треть имения была под листовым лесом, в котором постоянно водился выводок волков.

Усадьба находилась на красивом высоком месте. Старый дом, в котором когда-то жил князь Горчаков и его зять, дед моего отца, И. А. Толстой, уже не существовал — он развалился; вместо дома был небольшой флигель, крытый соломой. Остальные постройки были также довольно первобытны.

Вблизи дома стояла церковь, выстроенная моим дедом Н. И. Толстым, во исполнение обета, данного им на войне.

При Н. Н. Толстом имением управлял строгий бурмистр дореформенного типа, Петр Евстратов Воробьев, а потом, кажется с 1862 года, управляющим поступил Иван Иванович Орлов, из духовных, бывший учителем в одной из учрежденных моим отцом школ в Крапивенском уезде. Он управлял имением 28 лет — до 1890 года и, хотя раньше хозяйством не занимался, первое время хорошо вел дело и давал порядочный доход; потом он стал пить и запустил дело. С крестьянами он был строг, но справедлив, и никогда не судился, за что они его уважали. Я слышал про него, что, рассердившись, он хватал

человека двумя пальцами за нос и, крепко сжимая пальцы, водил его из стороны в сторону. У него была привычка чуть ли не к каждому слову прибавлять букву «с» (сокращенное «сударь»). Рассказывали, что даже лошади, на которой он спускался с горы, он говорил: «Здесь круто-с; потише-с! Тпру-с, тпру-с».

Один крестьянин села Никольского, Тихон Малахов, был известным конокрадом, которого все боялись. Иван Иванович, предполагая, что конокрад не будет у своего хозяина красть лошадей, нанял Тихона в лесные объездчики. И действительно, с поступлением Тихона лошадей в имении не крали, но порубки участились, и пришлось Тихона уволить. После этого как-то Иван Иванович встретился с Тихоном один на один в лесу, и, как мне рассказывал Иван Иванович, между ними произошел такой разговор:

— Напрасно вы меня уволили,— сказал Тихон,— как бы вам хуже не было.

— Какое худо-с? — спросил Иван Иванович.

— Мало ли какое; может, у вас скотина пропадет... или красный петушок...

— Красный петушок-с! красный петушок-с! — заволновался Иван Иванович.— Так знайте-с, если у меня что-нибудь загорится, то вся ваша слобода сгорит-с, начиная с вашего дома-с. Так-то-с.

Я уверен в том, что Иван Иванович не исполнил бы своей угрозы, но она, повидимому, подействовала, и ни пожара, ни увода лошадей у Ивана Ивановича не произошло.

В хозяйстве у Ивана Ивановича были оригинальные приемы. Так, например, он ничего не страховал, находя это убыточным, но хозяйственные постройки построил далеко друг от друга, для того чтобы в случае пожара огонь с одной постройки не перекинулся на другую. Последствием этого было воровство из дальних построек и большой расход на сторожей. Или, например, он разбрасывал солому в поле и запахивал ее, как навоз, говоря, что не стоит держать скотину из-за навоза. Крестьяне этим пользовались и ночью увозили солому к себе. Несмотря на эти странности, Иван Иванович выгодно хозяйничал, сажал много картофеля и продавал его на винокуренный завод или поставлял свеклу на соседний сахарный завод Нагорнова.

Заговорив об Иване Ивановиче, я вспоминаю, как однажды отец, когда мы с ним верхами возвращались с охоты, задал мне вопрос, который иногда любил задавать:

— О чем ты сейчас думаешь?

Не помню, что я ответил, но, осмелившись, я в свою очередь спросил его, о чем он сейчас думал.

Он усмехнулся и сказал:

— Я думал о том, честен ли Иван Иванович и как неприятно подозревать кого-нибудь в нечестности.

— А ты считаешь Ивана Ивановича честным? — спросил я.

— Да, я думаю, что он честен.

Отец изредка ездил в Никольское-Вяземское, проверял Ивана Ивановича и был с ним в переписке, а иногда Иван Иванович приезжал с отчетом в Ясную Поляну.

VIII

В былое время многие помещики на охоту смотрели скорее как на дело, чем как на забаву. Например, я знал одного небогатого помещика, который так серьезно относился к охоте, что, предполагая охотиться на матерого волка, утром брился и надевал чистую рубашку, подобно римлянам перед битвой. Мой дед Николай Ильич и его сыновья все были охотниками. Николай Николаевич много охотился на Кавказе. Сергей Николаевич, бывало, уезжал на несколько недель «в отъездное поле», а как Лев Николаевич любил охоту, можно видеть из его произведений.

Охота для моего отца не была предлогом, для того чтобы побыть в веселой компании, приятно позавтракать на лоне природы или потщеславиться своим выездом и собаками. На охоте он любил одиночество, природу и то особое охотничье настроение, когда охотник, созерцая природу или страстно гонясь за добычей, забывает всякие житейские дрязги; на охоте же он задумывал свои произведения. Он говорил, что только охотник и земледелец чувствуют красоту природы.

Он охотился разными способами: с легавой, с гончими и с борзыми.

Я с детства помню любимца нашей семьи — желтого ирландского сеттера, умную ласковую Дору; отец назвал ее Дорой по имени героини романа Диккенса «Давид Копперфильд». Позднее, другая собака — Бюффин — была так же названа именем одного из героев Диккенса. С Дорой

отец ездил на болота за дупелями, бекасами, утками, тетеревами и вальдшнепами. Он стрелял хорошо и был неутомим, так что Дора уставала раньше него: бывало, начнет часто дышать, высуня язык, и смотрит ему в глаза с мольбой не посылать ее больше в болото; когда же все-таки он ее посылал, она хитрила, вела в гле и притворялась, что делает стойку на перепелов.

Отец в то время не только не был вегетарианцем, но без жалости убивал животных на охоте. Так, например, подстрелив птицу, он так добивал ее: выдернет перо из ее крыла и вонзит перо ей же в голову. Нас он учил поступать таким же образом.

Другая охота с ружьем — была охота с гончими. Не охотник не поймет прелести гона гончих, когда какой-нибудь Будило вдруг залетит по свежему следу зайца или лисицы, к нему присоединятся голоса других собак, дружный хор всей стаи быстро к вам приближается... и вдруг через поляну, где вы стоите, пробегает заяц или лисица. Прелести этой охоты много способствовала красота осеннего леса, особенно Засеки, этого огромного, дикого, безлюдного леса.

У нас не было много собак. Гончих бывало два-три смычка, борзых — две-три своры (по две собаки на смычок и свору). Собаки назывались отцом согласно с охотничьими традициями. Гончие назывались: Шумило, Будило, Звонило, Змейка и т. п.; борзые — Жиран, Туман, Поражай, Лебедь, Ерза, Крылатка, Милка и т. п. Отец был недоволен, когда заведовавшая собаками Агафья Михайловна назвала гончую Купцом за ее толщину, а борзую за вороватость — Жуликом.

Для кормления их и ухода за ними назначался обыкновенно кто-нибудь из служащих — дворник, объездчик или конюх, но в сущности заведовала собаками Агафья Михайловна. Она любила всяких животных и особенно пристрастилась к собакам. Живя на пенсии, она бескорыстно занималась ими и нередко тратила на них свои деньги¹.

Больше всего отец охотился с борзыми. Борзые у него были не лохматые — псовые, а полукровные английские или «хорты», с гладкой шерстью, породы Тучковых.

¹ Об Агафье Михайловне см. Т. Л. Сухотина-Толстая, Гости Ясной Поляны, 1923.

Охотились мы внаездку. С нами обыкновенно ездили конюх или дворник, приставленный к собакам, иногда гости или кто-нибудь из прислуги — любители охоты. Например, одним из таких охотников по призванию был крестьянин Ясныи Поляны Михаил Зорин.

С утра мы выезжали верхами с собаками на сворах и равнялись по полям, то есть ехали на некотором расстоянии друг от друга, с тем чтобы «наехать» на зайца или на лисицу. В овражках с кустиками, в густой траве, в картофельных полях мы хлопали арапниками, чтобы поднять зайца, а когда он выскакивал, мы кричали: «Ату его!» и скакали за ним. А когда удавалось «подозреть» зайца, то есть увидеть его на лежке, то надо было немного отъехать от него, чтобы не испугать, и, подняв арапник, протяжно кричать: «А-ту е-го...» И только когда остальные охотники съезжались, зайца выпугивали, и начиналась травля.

Отец научил меня всем охотничьим приемам, и одно время я очень любил эту охоту. Бывало, едешь себе шагом на доброй лошадке, с двумя собаками на своре, движениями рук, больше чем словами, разговариваешь с лошадей и собаками, осматриваешь межки и хлопаешь арапником по дубовым кустикам или по высокой траве. Голые поля наводят тихую грусть, и в то же время страстно хочется наехать на зайца или лисицу.

Вдруг из-под межки выскакивает наполовину выцветший русак, выбрасывая задними ногами и подняв вверх свой пушок (хвостик). Куда девалась тихая грусть! Я спускаю со своры собак, кричу отчаянным голосом: «А-ту е-го! а-ту е-го!» и скачу за зайцем. Остальные охотники также как с цепи срываются и скачут за собаками. Обыкновенно, прежде чем поймать зайца, собаки делают ему угонки: какая-нибудь собака догонит зайца, хочет его схватить, а он увильнет в сторону, и она пронесется мимо; зайца догоняет другая собака, он опять увилькает и т. д., пока его не схватит какая-нибудь собака или пока он не уйдет, то есть добежит до леса, где и скроется. Охотники ценили особенно ту собаку, которая делает первую угонку. Вот Милка сделала первую угонку, Ерза — вторую, а старый Жиран, пользуясь этим и скакнув зайцу наперерез, схватывает его и кубарем катится по земле вместе с ним. Тотчас же остальные собаки прискакивают и хватают зайца; вокруг него образуется кружок собак; он кричит, как ребенок. Я прискакиваю, прыгиваю с лошади,

отгоняю собак, закалываю зайца, отрезаю лапки (пазанки), бросаю их собакам, а зайца вторачиваю за седло.

Охота на лисиц происходит тем же порядком; только, увидев лисицу, кричат не «ату его», а «у-лю-лю». Лисица бежит тише зайца, и в чистом поле собакам легко ее поймать, несмотря на ее увертки; трудность состояла в том, чтобы издали увидеть ее и показать собакам.

Иногда охота внаездку приводила к неприятным столкновениям. Случалось, что какая-нибудь борзая, спущенная со своры, хватала овец в крестьянском стаде. Таковую собаку отец нещадно бил или приказывал бить арапником, причём собаку крепко держали за ее заднюю ногу, для того чтобы она не могла укусить. Если же в следующие охоты эта собака продолжала хватать овец, ее убивали. За овец, конечно, отец платил втридорога. Однажды он затравил желтую собаку, издали приняв ее за лисицу. Случалось также, что крестьяне протестовали против езды по их зеленым, в чем они были правы; в сырое время года проезд охоты по зеленым оставлял на них следы. Однако неприятности с крестьянами случались редко и обыкновенно мирно улаживались, так что никогда до суда не доходило.

Самая приятная и добычливая охота была по пороше, когда мы находили зайцев по следам и когда зайцы благодаря их коротким передним ногам не могли быстро бежать по глубокому снегу. В порошу удавалось затравить до десяти зайцев в несколько часов.

После переезда в Москву отец постепенно оставил охоту. Не помню точно, когда он в последний раз охотился. Собаки понемногу перевелись, Агафья Михайловна постарела и затем умерла, осенью нам надо было жить в Москве, и только мои младшие братья продолжали охотиться, но большею частью уже не с борзыми, а с легавыми или гончими собаками.

Я с удовольствием вспоминаю, как я охотился вместе с отцом. В то время он непосредственно, не рассуждая, отдавался своему спортивному чувству, и это чувство испытал и я.

С ОСЕНИ 1881 ДО ОСЕНИ 1898 ГОДА

ПЕРВАЯ ЗИМА В МОСКВЕ (1881—1882)

В августе 1881 года моя мать, несмотря на свою беременность, поехала в Москву, много ездила по городу, ища подходящую квартиру, и, наконец, наняла квартиру в доме кн. Волконского в Денежном (позднее Малом Левшинском) переулке.

Отец переезжал в город, потому что уже давно обещал матери зимой жить в Москве, но, как он писал А. А. Бибикову, не мог без ужаса подумать об этом. Мать страстно стремилась переехать; я смотрел на переезд и поступление в университет, как на давно желанное и естественное следствие окончания мною гимназического курса, а сестра Таня мечтала о «выездах в свет» и предполагала учиться живописи, к которой у нее уже тогда обнаружились большие способности. Наоборот, Илья боялся гимназии, и ему жаль было лишиться в осеннее время охоты, к которой он пристрастился. Остальные — Лева, Маша, Андрей и Миша — были слишком юны, чтобы определенно чего-либо желать.

В 1881 году финансовые дела нашей семьи были в блестящем состоянии. Я говорю — финансовые дела *нашей* семьи, а не отца, потому что отец всегда считал, что его состояние принадлежит не только ему, но и всей его семье, и для него не было вопроса о том, чтобы дать матери столько денег, сколько ей понадобится. В то время у него скопилось много денег. Он продал мельницу в Никольском-Вяземском за 9 500 рублей, продал часть леса

(Заказа) в Ясной Поляне, не помню за сколько, и получил за полное собрание своих сочинений 25 000 рублей от бр. Салаевых.

В 80-х годах я держался несколько в стороне от семьи. Под влиянием отца и В. И. Алексеева я понял, или, лучше сказать, почувствовал несправедливость тогдашнего строя жизни и контраста между жизнью людей нашего круга, в том числе нашей семьи, с жизнью крестьян, — я говорю «крестьян», потому что их бедность я знал, а городскую нищету я знал мало. Но хотя я был под сильным влиянием отца, я мало вникал в его толкование евангелия и христианского учения, хотя бы очищенного от догматов и чудес. У меня в то время сложились какие-то неопределенные радикальные взгляды. Повлияло чтение оппозиционной литературы — Писарева, «Отечественных записок», «Что делать?» Чернышевского, Помяловского и др. Повлияли также Богоявленский, ставший медиком первого курса, и мои товарищи по тульской гимназии — Блеклов и Хитров. Я был настроен враждебно по отношению к правительству, чиновникам, богатым людям и православной церкви и сочувствовал революционному движению. Меня привлекали студенчество, сходки, прокламации и т. п. Только понемногу эти мои взгляды изменились и заменились тем, что называется либеральным буржуазным мировоззрением. Одно, что не изменилось, было отношение к науке. Я верил, что только наука, особенно математика и естественные науки, есть истинное знание, и никогда не мог согласиться с отцом в его нападках на науку. Признаюсь, что, несмотря на мой радикализм, светское общество, в котором вращались моя мать и сестра Таня, и светские удовольствия меня тоже привлекали. Но я отрицательно относился к визитам, балам, танцевальным вечерам и т. п. К тому же плохо танцевал, и у меня не хватало денег на то, чтобы так же элегантно одеваться, как мои светские сверстники. В продолжение всей своей студенческой жизни я метался из стороны в сторону: от светского общества к обществу радикальной интеллигенции, от христианских воззрений отца к атеистическим научным взглядам, от упрощения жизни к удовольствиям — вечерам у знакомых, ресторанам, поездкам к цыганам и т. п.

Особый интерес для меня представляла музыка, которую я в то время знал только как игру на фортепиано.

Я так увлекался пианизмом, что одно время думал поступить в консерваторию; но совместить консерваторию с естественными науками было невозможно, и университет перетянул консерваторию.

В конце августа я поехал в Москву, для того чтобы оформить мое поступление в университет. Там я прожил один до 15 сентября. С этого времени я стал жить более или менее самостоятельно. Родители назначили мне 40 рублей в месяц на расходы — одежду, конку, извозчиков, плату за лекции и пр. при готовом столе и квартире. При нашем образе жизни и наших знакомствах это было немало, и в последующие годы эта сумма была увеличена до 100 рублей.

Я так мало знал город, что даже спрашивал прохожих, где находится университет. В университете я встретил своих товарищей по тульской гимназии; из них Блеклов, Хитров, Вл. Любенков также поступили на естественное отделение физико-математического факультета.

В начале сентября лекции еще не начинались, знакомых и родственников в городе почти не было, и я недели две бродил по Москве без дела. Я ходил обедать в кухмистерскую, учрежденную студентами на товарищеских началах. Она оказалась далеко не образцовой, была грязна и плохо организована. Прислуги не хватало. Из хлеба, нарезанного кусками и лежавшего на большом блюде, каждый брал сколько хотел, нередко грязными руками и неаккуратно, так что куски крошились и хлеб превращался в смесь мякиша, корок и крошек. Но мне в то время все студенческое нравилось, и я с удовольствием смешивался со студенческой толпой.

Около 15 сентября в Москву переехала вся наша семья. Поваром к нам поступил нанятый в Москве Петр Васильевич, добрейший человек, любивший выпивать. Наш старый повар Николай Румянцев и старая няня Мария Афанасьевна остались в Ясной Поляне, и им была назначена пенсия.

Первое впечатление от дома Волконского — было разочарование. Вот что пишет моя мать своей сестре Т. А. Кузминской: «Ехали во втором классе... Вошли в дом. Встретили нас Ольга и Петя¹, и на столе чай,

¹ Петр Андреевич Берс — брат моей матери, и Ольга Дмитриевна, рожд. Постникова, — его жена.

ростбиф и вообще все как следует. Но все, несмотря на то, что похвалили дом, пришли сейчас же в уныние, и это уныние и тоска шли три дня усиливаясь. Дом оказался весь как бы карточным, так шумен, что ни нам в спальне, ни Лсвочке в кабинете нет никакого покоя. Это приводит меня в отчаяние, и я нахожусь весь день в напряженном состоянии, чтобы не слишком шумели. Наконец, у нас было объяснение. Л. говорит, что если б я его любила и думала о его душевном состоянии, то я не избрала бы эту огромную комнату, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, — т. е. эти 22 рубля дали бы лошадь или корову, что ему плакать хочется и т. д. Но теперь все это исправимо. Конечно, он довел меня до слез и отчаяния, я второй день хожу как шальная, все в голове перепуталось, здоровье очень дурно стало, и точно меня пришибли. Можешь себе представить, как легко теперь жить, да еще две недели до родов осталось, а хлопот, работы и дела без конца».

Дом Волконского на самом деле оказался вроде карточного. Расположение комнат было таково, что в каждой комнате шум и разговор из других комнат был слышен. Это мешало работе отца, мешало и мне: я почти не находил времени играть на фортепиано, а когда было время, я боялся мешать отцу.

Предполагалось, что Илья и Лева поступят в гимназию. Отец справлялся об условиях приема в казенных гимназиях; там у него потребовали подписку о «благонадежности» его сыновей; он отказался и возмутился таким требованием. Он говорил: «Я не могу дать такую подписку даже за себя. Как же я ее дам за сыновей?»

Случайно он узнал, что в самом близком соседстве от нашего дома находилась частная гимназия Льва Поливанова. Он зашел туда, встретил там своего прежнего знакомого Евгения Львовича Маркова (бывшего в 60-х годах преподавателем тульской гимназии) и познакомился со Львом Ивановичем Поливановым и учителями. Впечатление его от этой гимназии было лучше, чем от казенных гимназий; подписки от него не потребовали, и он решил отдать туда Илью и Леву. После легкого экзамена они были приняты сверх комплекта. Для обучения меня музыке отец пригласил профессора консерватории Н. Д. Кашкина, с которым познакомился в 1878 году, а для сестры Тани он попросил В. Перова, с которым был

знаком ранее, высказаться о ее способностях к живописи. Перов нашел, что она очень способна, и она была принята в художественное училище.

После месяца жизни в Москве настроение моих родителей не улучшилось. Моя мать писала сестре своей Т. А. Кузминской 14 октября: «Первые две недели я непрерывно и ежедневно плакала, потому что Лёвочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам плакал иногда, и я думала просто, что я с ума сойду. Ты бы удивилась, как я тогда изменилась и похудела. Потом он поехал в Тверскую губернию, виделся там со старым знакомым Бакуниным (дом либерально-художественно-земско-литературный), потом ездил там в деревню к какому-то раскольник-христианину Сютаеву и когда вернулся, тоска его стала меньше. Теперь он наладился заниматься во флигеле, где нанял себе две маленькие тихие комнатки за 6 рублей в месяц, потом уходит на Девичье поле, переезжает через реку на Воробьевы горы и там пилит дрова с мужиками. Ему это здорово и весело. По вечерам почти каждый день кто-нибудь бывает... Вообще до сих пор никто не доволен переездом, и мне это очень грустно. Илюша тоскует по Ясной, главное по охоте, все стремится туда. Таня говорит, что в Ясной лучше. Мне было бы в Москве лучше, если бы вокруг меня все были счастливы».

Моя мать утешалась только тем, что «для Сережи, очевидно, благодеяние, что мы в Москве»; так она писала сестре. Она была в мрачном настроении не только потому, что отец был удручен. На днях она должна была родить, и 31 октября у нее благополучно родился мальчик Алеша.

Отец был в мрачном и беспокойном настроении. В ноябре 1881 года он писал В. И. Алексееву: «Представляется прежде одно из двух: или опустить руки и страдать бездейственно, предаваясь отчаянию, или мириться со злом, затуманивать себя винтом, пустомельем, суетой. Но, к счастью, я последнего не могу, а первое слишком мучительно, и я ищу выхода. Представляется один выход — проповедь изустная, печатная, но тут тщеславие, гордость и, может быть, — самообман, и бойшьяся его; другой выход — делать доброе людям; но тут огромность числа несчастных подавляет. Не так, как в деревне, где складывается кружок естественный. Единственный выход, который я вижу, это жить хорошо, всегда ко всем поворачиваться доброй

стороной. Но этого все еще не умею, как вы. Вспоминаю о вас, когда обрываюсь на этом. Редко могу быть таким — я горяч, сержусь, негодую и недоволен собой»¹.

До своей женитьбы отец был знаком чуть ли не со всем высшим светским обществом Москвы. Теперь же он избегал этих знакомых. Моя мать, наоборот, для того чтобы «выезжать в свет» и вывозить Таню, старалась возобновлять эти знакомства.

Зимой 1881/82 года она еще мало «выезжала». В конце октября она родила Алешу и зимой его кормила. Но все же некоторые знакомства она завязала и возила Таню на танцевальные вечера. Следующей зимой их выезды участились.

Кроме сознания, что его жизнь сложилась противно его убеждениям, отцу было неприятно нарушение его привычек и деревенской свободы. Например, первое время в Москве он чувствовал себя неловко в своей традиционной серой блузе. В самом деле, эта блуза казалась странной наряду с элегантной одеждой светских посетителей нашего дома. Отец не мог, ни по своим привычкам, ни по своим новым взглядам, одеваться в городское платье — пиджаки, сюртуки, фраки, крахмальные воротники, галстуки и т. п. И вот он пошел на компромисс — завел какую-то черную куртку, надеваемую на некрахмальную рубашку и застегивающуюся доверху. Эта куртка была ни то ни се — ни блуза, ни пиджак. Он проносил ее только одну зиму, после чего уже навсегда вернулся к своей блузе.

Не только городская обстановка и шум в доме мешали его работе, его угнетали и посетители. Нельзя сказать, что он не любил гостей. Некоторые ему были симпатичны, но их было много, и он не умел устроиться так, чтобы они ему не мешали работать.

Бывали у нас: наши родственники — тетушка Мария Николаевна и семья ее дочерей — Варвары Валерьяновны Нагорновой и Елизаветы Валерьяновны Оболенской, дядя моей матери и товарищ детства отца Константин Александрович Иславин, семья брата моей матери — Петра Андреевича Берса; прежние друзья и знакомые — Дмитрий Алексеевич Дьяков и семья его дочери М. Д. Колокольцовой, кн. Сергей Семенович Урусов, семья кн. Д. Д. Оболенского, Фет с женой, семья Перфильевых,

¹ Юбилейное изд., т. 63, стр. 80.

Сергей Андреевич Юрьев, Михаил Степанович Громека и др.

Сергей Андреевич Юрьев был давно знаком с моим отцом. Зимой 1881 года он приезжал в Ясную Поляну. Он был известным литератором, математиком по образованию, председателем Общества любителей русской словесности, деятельным участником шекспировского кружка, редактором «Русской мысли», левым славянофилом, последователем Шеллинга. Не о нем ли вспоминал отец, когда писал о Пестове в «Анне Карениной»? Отец излагал ему свои религиозные взгляды. Юрьев не спорил, хотя многое для него было ново; он многому сочувствовал. Мне казалось, что у Сергея Андреевича не было ясно формулированного мировоззрения, но на все доброе, свободное и талантливое он всегда смотрел сочувственно и благожелательно. Он был очень популярен в Москве и известен своей рассеянностью. Про него рассказывали много анекдотов. Например, в один из четвергов, когда у него собирались гости, он ушел из своей квартиры и, встретив идущего к нему гостя, сказал ему: «Не ходите туда, там скучно». Однажды он вместо своей шапки схватил кошку и чуть было не надел ее себе на голову. На Новый год он надевал свой новый сюртук и отправлялся с визитом ко всем своим знакомым, в том числе и к нам. В один из таких визитов я, желая подать ему его пальто, спросил, которое его пальто. Он сказал: «Не знаю, я уже второй раз его сменил». Калоши он менял беспрестанно.

Новым знакомым отца был Николай Федорович Федоров. Он был библиотекарем Румянцевского музея. Он без усталости работал в своей каталожной комнате в служебные и неслужебные часы. Когда к нему приходили за книгами или справками, он не только сам лазил по полкам и доставал просимые книги, он рекомендовал и доставал другие книги по данному вопросу. В жизни он был аскет. Однажды я, по поручению отца, был у него на квартире на Остоженке. Его комнатка была так тесна, что кровать, если можно назвать кроватью какие-то доски, упиралась обоими своими концами в стену. Накрывался он своим единственным потертым пальто, служившим ему и летом и зимой. Свое библиотечкарское жалованье он раздавал бедным и, как мне говорили, отказывался от выслуженной им прибавки. Странное мировоззрение Федорова, изложенное в его книге «Философия общего дела», изданной

Н. П. Петерсоном, его последователем, состояло в вере в то, что наука дойдет до того, что воскресит во плоти всех умерших людей; общее дело человечества состоит в том, чтобы этому способствовать и сохранять все то, что остается после умерших. Сам Федоров, служа библиотекарем, этим самым участвовал в «общем деле». При каждой встрече с моим отцом он требовал, чтобы отец распространял эти идеи. Он не просил, а именно настойчиво требовал, а когда отец в самой мягкой форме отказывался, он огорчался, обижался и не мог ему этого простить. Последователь Федорова, Н. П. Петерсон, был одним из учителей школ, учрежденных моим отцом в 60-х годах. Впоследствии отец отчасти изобразил его в «Воскресении» в лице Симонсона.

В конце января 1882 года в Москву приехал известный сектант Василий Сютаев. Это был небольшого роста крестьянин с жидкой русой бородкой и добрыми серыми глазами, опрятно одетый в черный полушубок. В нем были мягкость, незлобивость и благоволение к людям и животным, но, кроме того, у него был большой ум: он самостоятельно додумался до своей веры, в которой был глубоко убежден. Она была основана на христианстве, понимаемом как чистая индивидуальная этика. И он свои убеждения применял к жизни, стараясь жить «по-божьи». Он отрицал церковное учение и не ходил в церковь, отрицал воинскую повинность. Его сын, призванный по набору, отказался от присяги, за что был заключен в Шлиссельбургскую крепость. Он добровольно не платил податей, но не противился их взысканию и не имел замков в своем доме. Он говорил: «все в тебе», «где любовь, там и бог», но не требовал, чтобы другие веровали так же, как он. «Их грех»,— говорил он и никого не осуждал. В этом он отличался от моего отца, который никогда не мог мириться с несогласием с его верой, волновался и раздражался, когда ему возражали.

Во время разговоров Сютаева с моим отцом иногда присутствовали наши знакомые Сютаев не только возбуждал их любопытство, но и производил на них сильное впечатление. При чуждых ему людях, «господах», в барской обстановке, он нисколько не стеснялся, вел себя с большим достоинством и говорил что думал. Слух о Сютаеве дошел до генерал-губернатора кн. В. А. Долгорукова, и он прислал ко Льву Николаевичу элегантного жан-

дармского ротмистра с поручением собрать сведения о Сютяеве, вероятно с целью выслать его из Москвы или арестовать. Отец рассердился и резко потребовал, чтобы ротмистр вышел из его кабинета, и даже сильно захлопнул за ним дверь. Через несколько дней Долгоруков прислал к отцу своего чиновника и нашего знакомого В. К. Истомина с предложением приехать к нему для объяснений. Отец ответил, что, если Долгоруков желает его видеть, ничто не мешает ему самому приехать к нему¹.

Перепиской писаний отца в 80-х годах и позднее продолжал заниматься Александр Петрович Иванов, подпоручик в отставке. Это был человек маленького роста, с продолговатым рябоватым лицом и козлиной бородкой, похожий на отставного французского капрала. Появился он в Ясной Поляне, если не ошибаюсь, зимой 1878 года в числе побиравшихся прохожих по шоссе. Отец расспросил его, почему и как он не имеет определенных занятий, и взял его в переписчики. Он хорошо писал, только в некоторых случаях не согласен был со Львом Толстым и поправлял его, нередко запивал и исчезал на несколько дней. Весной же он уходил на все лето. Его страстью было бродяжничество. Он пешком исходил всю Россию, побывал во всех губерниях, даже на Кавказе и Сибири. «Я не был только в Астрахани и Архангельске», — говорил он. Кормился он чем придется: где ему подадут милостыню, где он напишет письмо или прошение, где поучительствует. В разных местах России у него завелись знакомые, у которых он останавливался и отдыхал. Осенью он опять появлялся в нашем доме, и отец опять засаживал его за переписку. Он поживет, поживет, напишет и снова уйдет или запыет.

Когда мы переехали в Москву, он поселился во дворе дома Волконского. Первое время он повел добродетельную, трезвую жизнь. Отец через знакомых устроил его письмоводителем у одного мирового судьи, и Александр Петрович совсем было вышел в люди; он даже решил жениться. Тут же во дворе дома Волконского жили две портнихи, довольно легкомысленного поведения, и он облюбовал одну из них. Я вместе с И. М. Ивакиным приняли живое участие в его сватовстве, и он женился. Но недолго

¹ О Сютяеве см. Илья Толстой. Мои воспоминания и очерк А. С. Пругавина, Сютяевцы, М. 1910.

продолжалась его добродетельная жизнь. Зимой 1882 года он вдруг исчез; через несколько дней к нам пришел какой-то оборванец с Хитрова рынка с запиской от него. Александр Петрович просил выкупить его из ночлежного дома. Оказалось, что он пропил деньги, доверенные ему его патроном — мировым судьей, и все, что с ним и на нем было, и сверх того задолжал. Его выкупили и послали ему одежду, но мировой судья его уволил, а жена его прогнала, и он опять ушел бродяжничать. Впоследствии он не раз появлялся в Ясной Поляне и в Москве. В один из следующих годов мне как-то случилось выручить его из одного ночлежного дома Хитрова рынка. Он пропил все, что было на нем, и я нашел его лежащим на нарах ночлежного дома в чужой рубашке. Когда его товарищи ночлежники узнали, что я приехал его выручать, меня сейчас же окружили несколько подозрительных личностей; нашлись между ними продавцы поношенного платья и белья, и я купил ему пиджак, брюки и белье.

В декабре 1882 года в Туле происходило очередное дворянское собрание. На этом собрании отец был неожиданно и неведомо для него самого выбран в предводители дворянства Крапивенского уезда. Произошло это так: дворяне этого уезда решили выбрать предводителем моего дядю Сергея Николаевича; для этого надо было выбрать не только его, а еще кого-нибудь. Из этих двух избранных предводителем признавался получивший большее число голосов, а кандидатом — меньшее. Сергей Николаевич был выбран, но никто не решался баллотироваться после него, боялись быть забаллотированными. Тогда *без ведома Льва Николаевича* была выставлена его кандидатура, и он был выбран, но так как он получил большее число голосов, чем брат, то он становился предводителем, а Сергей Николаевич — его кандидатом. Разумеется, отец отказался от этой чести и вышел в отставку, так что в должность предводителя вступил кандидат, то есть Сергей Николаевич.

В январе 1882 года была назначена всеобщая перепись московского населения. Участие моего отца в ней известно по его статьям «О переписи в Москве» и «Так что же нам делать?» Вторая статья была закончена через четыре года после первой — в 1886 году. Отец относился равнодушно к научным и государственным целям переписи, но он воспользовался ею для того, чтобы узнать городскую нищету

и поднять вопрос о помощи нуждающимся. Об этом он говорил на общем собрании распорядителей переписи. Между прочим, он предложил особо отмечать квартиры, в которых находились фортепиано, как квартиры зажиточных людей. Я также работал в качестве счетчика, но под руководством не отца, а профессора Янжула. На вопрос, почему я записался в участке Янжула, а не отца, мне нелегко ответить. У меня было какое-то смутное чувство, что в то время в отношении моего отца к переписи и городской нищете было что-то «не то», как он сам написал четыре года спустя в статье: «Так что же нам делать?» В первой статье он писал: «Пускай механики придумают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас,— это хорошее дело; но пока они не выдумали, давайте мы по-дурачки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом,— не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!» А четыре года спустя он писал: «В глубине души я продолжал чувствовать, что это «не то», что из этого ничего не выйдет».

Хотя я вполне сознавал несправедливость такого строя, при котором одни люди пользуются всякими благами, а другие погрязают в нищете и разврате, я не умом, а бессознательно чувствовал, что разом, по-мужицки, ничего сделать нельзя. И поэтому, когда отец предлагал воспользоваться переписью для благотворительности, я пошел к Янжулу, у которого переписью занимались просто как делом.

Через четыре года, в статье «Так что же нам делать?», отец писал: «Как мы говорили про это¹, я замечал, что им² как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости. Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда отдал я ему мою статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц». Я думаю, что слушавшие речь моего отца действительно чувствовали некоторую неловкость, но не только потому, что, как мы ни «налегнем народом», мы социальную несправедливость не изменим, а также и потому, что он будил их совесть.

Счетчиками моего отца были, между прочим, будущий

¹ О том, чтобы воспользоваться переписью для искоренения нищеты и разврата.

² Счетчикам и распорядителям.

профессор Пассек — умный, самоуверенный и холодный скептик, и будущий литератор А. Амфитеатров — веселый и легкомысленный, высокий, красивый молодой человек. У Амфитеатрова был большой голос, он в то время пел в концертах под именем Амфи и надеялся поступить на сцену. О своем участии в переписи он впоследствии писал в статье «Властители дум», не понимая моего отца. Там он говорил, что голодные, холодные и униженные Ржановой крепости (ночлсжного дома) мало его трогали и что он не мог понять, почему Толстой испытывал «чувство виновности» перед ними.

Дом Волконского так мало удовлетворял нашу семью, что отец решил подыскать более подходящее помещение и не нанимать квартиру, а купить дом. Весной 1882 года он осмотрел несколько продававшихся домов и остановился на доме Арнаутова в Долгохамовническом переулке. Ему нравилось уединенное положение этого дома и его запущенный сад размером почти в целую десятину (больше гектара). К этому саду прилегал большой восьмидесятилетний сад Олсуфьевых (ныне Клиника для душевно- и нервнобольных), так что из окон арнаутовского дома были видны не крыши и стены соседних домов, а только деревья, кусты и глухая стена пивоваренного завода. Владение было похоже на помещичью усадьбу.

В начале мая наша семья, кроме меня, оставшегося в Москве держать экзамены, пересехала в Ясную Поляну. В конце месяца отец поехал в Москву, чтобы окончательно договориться о покупке дома. Он пошел к Арнаутову, и я пошел вместе с ним. Густой сад произвел на нас самое приятное впечатление; там было много цветущих кустов, яблонь и вишневых деревьев; листья на деревьях недавно распустились и блестели свежей зеленью. К нам вышел пожилой хозяин дома, Арнаутов.

Покупка совершилась через несколько дней.

Дом, в том виде, в котором он был куплен, был мал для нашей семьи, и отец решил сделать к нему пристройку, к чему и приступил немедленно, пригласив архитектора. Нижний этаж и антресоли остались в прежнем виде, а над первым этажом были выстроены три высокие комнаты с паркетными полами, довольно большой зал, гостиная и за гостиной небольшая комната (диванная) и парадная лестница. Для своего кабинета отец выбрал одну из комнат антресолей с низким потолком и окнами в сад.

После экзаменов я уехал в Ясную Поляну, где прожил до осени, наслаждаясь деревенской жизнью, купаньем, крокетом, рыбной ловлей, охотой и т. п. Во флигеле жили Кузминские, приезжал Н. Н. Страхов. В начале сентября я поехал в Москву; туда же приехал отец, для того чтобы достроить хамовнический дом и устроиться в нем. Мать и остальная часть нашей семьи оставалась в Ясной Поляне до приведения дома в жилой вид. Отец следил за еще не оконченными плотницкими и штукатурными работами, за оклейкой стен обоями, за окраской дверей и рам, покупал мебель на Сухаревском рынке, купил пролетку, сбрую и пр. для выездов в Москве, купил также жеребца для своего самарского конного завода и подыскал квартиру для своего брата Сергея Николаевича, решившего также переехать на зиму в Москву вместе с семьей (дом Роговича в Николо-Плотницком переулке). Разумеется, он сознавал, что поступает несогласно своим убеждениям, но он это делал для того, чтобы на него не было нареканий, будто он все практические дела взваливает на мою мать.

В октябре 1882 года мы переселились в хамовнический дом.

УНИВЕРСИТЕТ

Во время моего пребывания в университете новый устав еще не был введен. Студенты ходили в штатской одежде, и только с осени 1885 года были введены мундиры. Внешний вид студентов был разнообразен: одни были в чистых пиджаках и костюмах, в рубашках с крахмальными воротничками и манжетами, были подстрижены и без бород,— усы почти никто не брил,— другие были в ситцевых или кумачовых косоворотках, без галстуков, в поношенных дешевых пиджаках, с пледом через плечо вместо пальто, с длинными волосами и нестриженными бородами. Большинство второго типа считали себя радикалами.

В 1882 году впервые был ограничен прием студентов на медицинский факультет двумястами пятьюдесятью студентами. Поэтому многие, не принятые на этот факультет, поступили на естественное отделение физико-математического факультета, где прием ограничен не был. Последствием этого было необычное число естественников — человек около ста пятидесяти; на следующих курсах из них

одни перешли на медицинский факультет, другие вышли из университета, так что окончили курс естественного отделения только двадцать человек.

Зимой 1881/82 года я усердно ходил на лекции. Многого я не понимал. Моя подготовка к изучению естественных наук оказалась слаба и понятия о них неясны. Одной из причин этому было пренебрежительное отношение к естественным наукам моего отца. Например, он иронически относился к клеточке, и я долго не мог себе усвоить, что такое клеточка; или раз, когда я ему сказал, что меня интересует химия, он сказал, что физика интереснее, потому что физические явления более распространены в природе, чем химические, что, мне кажется, неверно. Я передаю не точные его слова, а их смысл. Эти суждения сложились у него отчасти потому, что в его молодости естественные науки не были теми развитыми науками, какими они были уже в 80-х годах, отчасти потому, что он не считал их нужными для своего мировоззрения.

После первой зимы, на следующих курсах, у меня стало несколько другое отношение к лекциям профессоров. Я, во-первых, сообразил, что мне необходимо специализироваться, и стал больше других наук заниматься химией, а во-вторых, я понял, что полезны и интересны только те лекции, на которых профессора хорошо читают или где показывают опыты, поэтому на лекции некоторых профессоров я ходил мало. Упомяну о некоторых профессорах.

Зоологию беспозвоночных читал Анатолий Петрович Богданов на первом и втором курсах. Он хорошо читал, то есть говорил гладко, но у него был невразумительный прием: он чертил на доске различные органы животных, заслонял чертёж своей тучной фигурой и затем быстро стирал его. Лекции его записывались и литографировались студентами, в том числе и мною, и он просматривал наши записи. В зоологическом кабинете, кроме лекций под руководством Н. Ю. Зографа, мы учились работать с микроскопом и резали раков и лягушек.

Зоологию позвоночных читал, начиная со второго курса, Сергей Алексеевич Усов. Я старался бывать на его лекциях. Читал Усов живо и образно.

Вспоминается мне один анекдотический случай на экзамене у Усова. Экзаменовался студент Знаменский, из семинаристов, высокого роста, в ситцевой косоворотке под

засаленным сюртуком. В этом году Усов читал о рыбах, и Знаменскому достался билет о соме.

— Ну, расскажите, что знаете о соме,— спросил Усов.

— Сом — большой, толстый, с длинными усами,— начал басить Знаменский и, помолчав, прибавил: — голый, склизкий.

— Это вы мне описываете полковника Огарева в бане, а не сома,— заметил Усов. (Полковник Огарев был полицмейстером в Москве; он был очень толст и с большими усами.)

Анатомию растений на первом курсе и физиологию растений на втором и третьем курсах читал К. А. Тимирязев. Он читал не гладко, как-то рывками, но его лекции всегда были содержательны, интересны и сопровождались наглядными опытами. Например, он показывал нам на экране, как под действием лучей солнца хлорофилл разлагает углекислоту воздуха и образуются крахмальные зерна. Помню первую его лекцию по физиологии растений. Он начал с того общего положения, что организмы, так же как неорганические тела, подчиняются не только законам сохранения материи и энергии, но и закону сохранения форм. Неорганические тела сохраняют свои формы, складываясь в кристаллы, а организмы передают свои формы потомкам путем наследственности. Но, в отличие от неорганических тел, в организмах под влиянием внешних условий постоянно происходят мелкие изменения. Установив понятие наследственности и изменчивости, Тимирязев перешел к явлениям борьбы между организмами и их приспособляемости и сжато и точно изложил теорию Дарвина.

Физику для студентов математиков и естественников первого и второго курсов читал в большой физической аудитории Н. А. Любимов, седой, бритый человек небольшого роста. Студенты относились к нему недоброжелательно, потому что он был сотрудником Каткова, но он привлекал эффектными опытами.

Со второго курса Любимова заменил дельный и строгий профессор А. Г. Столетов. Он читал физику и метеорологию; он был известен тем, что немилосердно «резал» студентов на экзаменах. Он не позволял издавать свои лекции. Тем не менее его лекции издавались, но издавались плохо. В то время пишущих машинок не было, лекции писались от руки литографскими чернилами, иногда

плохим почерком, и затем литографировались. Это было причиной одного забавного случая с упомянутым мною моим товарищем Знаменским. В лекциях по метеорологии вместо «циклоны» можно было прочесть «циклопы», и Знаменский на экзамене у Столетова так и отвечал.

— Циклоп — это система ветров, область низкого давления и т. д. Циклопы, антициклопы...

Столетов дал ему высказаться, а потом спросил:

— По какой науке вы отвечаете, по мифологии или по метеорологии?

Знаменский удивился.

— По метеорологии, господин профессор.

— Откуда же вы почерпнули ваши сведения о циклопах?

— Из ваших лекций, господин профессор.

— Ваша ссылка на мои лекции крайне неприлична, — сказал Столетов и «влепил» Знаменскому «кол», то есть поставил единицу.

Неорганическую химию читал А. П. Сабанеев. Он не понимал гениальности Менделеева и нам рекомендовал не «Основы химии» Менделеева, а скучный учебник химии Кольбе. На его лекциях производил интересные опыты его лаборант князь Волконский. Смуглый, с крупными чертами лица и большим носом, Волконский казался мне типом средневекового алхимика. Он был добродушным человеком и большим либералом; когда его называли князем, он обижался. Он страстно любил театр и в Большом театре руководил световыми эффектами; в то время эти эффекты производились не электричеством, а посредством химических реакций.

Органическую химию читал последователь Бутлерова, Владимир Васильевич Марковников. Он же заведовал химической лабораторией. Меня заинтересовала закономерность органических соединений, например замещение водорода гидроксилами или аминами и т. п., я видел в этой закономерности тайны природы, смело разгаданные учеными. Как хорошо свойства тел объясняются их формулами!

На втором курсе я занимался качественным анализом по неорганической химии под руководством лаборанта Марковникова — Эвальда; на третьем — количественным и титрованным анализом и анализом солей прикаспийских озер; на четвертом — анализом органических тел (анали-

зом сожжения) и исследованием тяжелых нефтяных масел по заданию Марковникова. Я так увлекался работой в химической лаборатории, что приходил домой только к пяти часам.

Заметным пробелом в нашем химическом образовании было отсутствие профессора по технологической химии. Почему он отсутствовал, не знаю. Говорили, что его лаборант пользовался этим и занимался изготовлением фальсифицированного прованского масла из нефти.

Предметом, ничего общего не имевшим с естественными науками, было богословие. Его читал первым курсам всех факультетов протоиерей Сергиевский, худой старик с умным, но, как мне казалось, иезуитским выражением лица. На первых лекциях у него было много слушателей, а затем все меньше и меньше. Я почти не ходил на его лекции. К экзамену по богословию я готовился всего три дня и на экзамене по вытянутому билету ничего не мог ответить. Тогда Сергиевский спросил меня:

— Каково происхождение души?

Я и на это не ответил и до сих пор не знаю, что я должен был ответить; кажется, я должен был сказать: «божественное». Он строго из-под очков посмотрел на меня, укоризненно чмокнул губами, поставил «3» и, подумав, прибавил еще черточку. Это значило «три с минусом». Меньше этого он никому не ставил. Богословие было обязательным, но не факультетским предметом, то есть экзамен по богословию студенты были обязаны держать, но при исчислении баллов на степень кандидата балл по богословию не принимался во внимание.

Время моего пребывания в университете было временем глухой реакции; революционных выступлений не было; студенты только литографировали, читали и распространяли запрещенную литературу. Мои ожидания, что будут сходки и волнения, не оправдались. Насколько мне известно, за четыре года были всего три или четыре сходки.

8 июня 1884 года у меня было столкновение с инспектором Брызгаловым. Окончив экзамены по третьему курсу, я и другие студенты стояли в передней нового университета и, надев шляпы и пальто, разговаривали. Подошел педель и сказал:

— Господа, прошу вас снять шляпы.

Я спросил:

— Почему? Ведь здесь передняя.

Он сказал:

— Здесь проходят профессора.

Действительно, через переднюю профессора проходили в уборную, но было ли это достаточной причиной, чтобы студенты стояли здесь без головных уборов? Никто требования педеля не исполнил. Но не прошло и минуты, как выбежал сам инспектор Брызгалов и крикнул: «Шляпы долой!», и все студенты, кроме С. И. Ростовцева и меня, сняли шляпы. Брызгалов ушел, но на другой день я получил повестку через педеля явиться в инспекцию. Мне это было досадно, потому что этим отсрочивался мой отъезд в Ясную Поляну. В назначенный день я пришел в инспекторскую. Брызгалов сидел за столом и делал вид, что меня не замечает. Постояв минуты три, я к нему обратился:

— Послушайте, вы меня вызывали?

Он вдруг вскипел:

— Что это значит — послушайте? Как вы смеете так обращаться к инспектору! Инспекция постановила объявить вам выговор.

Я сказал: «только-то», и вышел. Последствием этого выговора было то, что на моем кандидатском аттестате было написано: поведение очень хорошее, а не отличное. Мне от этого было ни тепло, ни холодно, но Ростовцеву такая отметка по поведению затруднила его приписку к университету. Впоследствии он был профессором ботаники в Петровской (Тимирязевской) академии.

После моего выхода из университета произошли многочисленные сходы, требовавшие удаления Брызгалова. Один из студентов дал ему пощечину, и Брызгалову пришлось удалиться.

Весной 1885 года я выдержал свои последние экзамены четвертого курса. Средний балл по экзаменам за все четыре года моего университетского курса получился кандидатский, то есть больше «4 с половиною». Теперь для получения степени кандидата естественных наук мне оставалось только написать диссертацию.

Лучше других наук я был знаком с химией. Я проделал качественный и количественный анализы по неорганической химии, анализировал соли одного из прикаспийских озер, на третьем и четвертом курсах издавал литографированные лекции проф. Марковникова и на четвертом курсе по его заданию исследовал тяжелые нефтяные масла; определил их удельный вес, их точки кипения и

состав (посредством анализа сожжения). Отчет об этой работе я представил проф. Марковникову. Однако меня больше интересовала теоретическая химия, в частности атомическая теория, и я самостоятельно взял темой для своей диссертации «Исторический очерк атомической теории». Эта тема не была мне рекомендована профессором. Под влиянием статей Н. Н. Страхова я хотел показать, что атомическая теория возникла не из опыта, а теоретически, начиная с теорий Демокрита и Лукреция и кончая Дальтоном и современными атомистами — Томсоном, Сталло и др. Однако это была непосильная для меня задача, требовавшая всестороннего исследования, и моя диссертация вышла легковесной. Я ее писал зимой 1885/86 года и представил Марковникову. Он мне сказал: «Это не химия, а какая-то философия. Я вам лучше зачту вашу работу по нефтяным маслам», что он и сделал. А лет через пятнадцать после этого я его встретил в Крыму, и, к моему удивлению, он сказал мне: «Знаете, ваша работа по тяжелым нефтяным маслам пригодилась для моих исследований».

ПОЕЗДКА В САМАРСКОЕ ИМЕНИЕ

Весной 1883 года я довольно неудачно начал держать экзамены со второго курса на третий у строгого профессора Столетова. На экзамене по метеорологии он «провалил» многих студентов; мне поставил «3». Я был самолюбив и непременно хотел кончить кандидатом. Впереди был экзамен по физике у Столетова, а я к нему плохо подготовился и боялся не только получить тройку, но и провалиться. И я решил отложить свои экзамены до осени. Это было возможно только, если бы университетский врач дал мне свидетельство о болезни. Я и пошел к университетскому врачу Доброву и без всякого предисловия попросил его выдать мне удостоверение о болезни. Он удивился:

— Чем же вы больны?

— Ничем. Мне надо отложить экзамены до осени.

Добров оправдал свою фамилию — добро отнесся ко мне и сказал:

— Хорошо, я вам дам удостоверение, но все-таки мне надо знать, что слабее всего в вашем организме.

Я сказал, что у меня слабое зрение. Он не стал исследовать мое зрение и удостоверил, что я страдаю болезнью

глаз, которая не позволяет мне читать и писать, и мне дали отсрочку экзаменов до осени.

Таким путем в начале мая я оказался свободным от занятий. Не помню, кому из нас, мне или моему приятелю и бывшему преподавателю Ивану Михайловичу Ивакину, пришла в голову мысль — проплыть на лодке до Самары, а оттуда поехать в наше имение. Туда же собирался мой отец. Сказано — сделано. Мы купили простую катальную лодку за 45 рублей, весла, уключины, багор, цепь с замком для запираения лодки на стоянках, парус, мачту, брезент, чаю, сахару, хлеба и большой ростбиф. 15 мая этого года в Москве короновался Александр III. Мы относились равнодушно к коронационным торжествам и отправились в этот самый день. На ломовом извозчике мы перевезли лодку куда-то за Даниловку и оттуда поплыли. Сначала нам было весело, но к вечеру стал моросить дождик. Стемнело, кругом жилья не было, и мы пристали к песчаной отмели, где и расположились ночевать. Мы накрылись: один брезентом, другой парусом, и так провели ночь. Вдали светилось зарево от коронационной иллюминации Москвы, а мы мокли и зябли.

Утром мы поплыли дальше и скоро уперлись в Перервинский шлюз. Смотритель шлюза на нашу просьбу нас пропустить неожиданно потребовал разрешения на пропуск от управления шлюзами. Этого у нас не было.

— Впрочем,— любезно сказал смотритель,— я сейчас телеграфирую о вашей просьбе начальству, а пока придет ответ, пожалуйста ко мне на квартиру.

Разумеется, мы охотно приняли его любезное приглашение. Он нас высушил и накормил, а через три часа мы получили разрешение на проход по всем шлюзам Москвы-реки.

Погода прояснилась, и мы поплыли дальше. К вечеру мы обогнали большой плоскодонный баркас, в котором сидело человек пять здоровенных мужиков. Пьяными криками они стали требовать, чтобы мы остановились, а когда мы продолжали плыть, стали ругать нас отборными ругательствами. Из их беспорядочного крика можно было понять, что они хотели нас бить или потопить за то, что мы студенты, а студенты убили царя (Александра II). Вероятно, они решили, что мы студенты, потому что я был в очках. Положение наше было серьезно: если бы они нас настигли, мы, вероятно, были бы избиты или потоплены.

Но мы налегли на весла, наша лодка была быстроходнее их баркаса, и мы удрали.

В дальнейшем нашем плавании особых приключений не было. Часть пути мы шли под парусом, что нам давало возможность отдыхать. Отмечу только нашу ночевку в селе Марчугах. Когда мы подплывали к Марчугам, уже стемнело, накрапывал дождь. На берегу мы заметили освещенный дом, где и надеялись переночевать. Пристав к мосту и заперев цепь, мы вышли на берег, неся свою тяжелую поклажу — весла, парус, брезент, чемоданы и пр., но ночевать в освещенном доме нам было отказано: это был трактир, а в трактире ночевать не позволялось. Что было делать? Ночевать под открытым небом и под дождем очень не хотелось. Я постучался в крошечную избушку мостовщика, стоявшую у самой реки. Оттуда послышался голос:

— Кто там?

Я сказал:

— Мы лодку сплавляем в Коломну, скажите, где тут можно переночевать?

Голос из избушки сказал:

— Ложись тут.

Я удивился. Мостовщик (это был его голос) не только приглашал ночевать с собой незнакомого человека, он даже не видал — кого приглашал. Я сказал ему:

— Я с товарищем.

— Веди и товарища.

— Нельзя ли зажечь огонь?

— Нет, брат, огонь я тебе не зажгу. Я свой огарок берегу.

— Мы тебе заплатим.

— Нет, не зажгу.

Пришлось в темноте внести наши вещи в избушку и расположиться ночевать на полу. После целого дня гребли мы заснули как убитые.

Только утром мы разглядели того, кто нас так неожиданно приютил. Он оказался симпатичным и разговорчивым стариком. В трактире мы с ним закусили и выпили чаю и водки. Я его спросил:

— Как ты пустил к себе нас, незнакомых людей, даже не разглядев, кого впустил?

На это он рассказал, что однажды был сам в таком же положении, как и мы. Он сплавлял барку по реке. Смеркалось, пошел дождь. Он увидел избу на берегу и решил в

ней переночевать. Причалил, пошел к избе и стал стучаться в ворота. Никто не откликнулся, он вошел во двор. Две цепные собаки злобно залаяли на него. Он прошел мимо них, прижимаясь к забору, так что собаки на своих цепях не могли до него дотянуться, и вошел в избу. Никого не было, и он залез на печку и заснул. Его разбудил разговор вернувшихся хозяев. Он кашлянул; они испуганно спросили: кто там? Он слез с печи и стал просить прощения, что без спроса вошел. Хозяева увидели, что он не вор и не разбойник, позволили ему переночевать и даже пригласили поужинать.

— А потом они моими лучшими друзьями были. Вот когда вы ко мне постучались, я вспомнил о них и впустил вас.

Прибыв на четвертый день плавания в Коломну, мы решили прекратить наше путешествие на лодке. У нас осталось мало денег, наш ростбиф протух, и мы устали; особенно утомительно было перед ночевкой выносить на берег нашу поклажу: два чемодана, парус, брезент, весла, уключины и т. п. Мы продали лодку с пятью рублями убытка и поехали до Рязани по железной дороге, а оттуда по Оке до Нижнего в третьем классе скверного пароходика. В Нижнем мы пересели на прекрасный волжский пароход, доплыли до Самары, оттуда поехали по Оренбургской железной дороге до станции Богатово и дальше, до нашего самарского имения, шестьдесят пять верст на лошадях.

Отец снова был на хуторе. Там — уже знакомая обстановка: пирамиды кизяков, волы, плугари, курдючные овцы, много лошадей, и мухи, мухи без конца. Теперь там жил вместе с женой новый управляющий, Петр Андреевич Архангельский, приглашенный отцом на место откавшегося А. А. Бибикова. Отец ему поручил ликвидировать хозяйство, распродать инвентарь и сдать землю в аренду крестьянам под покосы и посевы. Сперва Архангельский понравился отцу, но потом отец про него писал, что он оказался «типом управляющих плачущихся», то есть объясняющих свои неудачи неблагоприятными обстоятельствами. На хуторе же поселились и мы — отец, я и Ивакин.

На другом берегу реки Мочи, на казенном участке, арендуемом Бибиковым, Василий Иванович Алексеев на какое-то полученное им небольшое наследство выстроил себе избу. Недалеко от хутора Бибикова поставил свою

кибитку вместе со своими кобылами и жеребятами Мухамедшах Романыч, и там же, в другой кибитке, в землянке и амбаре Бибикова, поселились приглашенные им гости и кумысники. Всего на нашем и бибиковском хуторе жило почти тридцать человек. Из них особенно заинтересовал отца и меня Егор Егорович Лазарев. Это был мускулистый, белокурый, бодрый, веселый крепыш среднего роста, двадцати восьми лет, с открытым лицом. В его разговоре сказывалось его крестьянское происхождение: он пересыщал свою речь народными выражениями. Из седьмого класса гимназии он был исключен и арестован, просидел два с половиной года в доме предварительного заключения, в 1879 году судился по процессу 193-х, был оправдан, после чего был взят на военную службу и отправлен сперва в Уральск, а затем в Карск. Там он, будучи первое время рядовым, а потом унтер-офицером, продолжал вести пропаганду не только среди солдат, но и среди офицеров. Окончив службу, он вернулся в свою родную Грачевку, где крестьянствовал вместе с матерью и братом, прирабатывая в качестве частного поверенного при бузулукском съезде мировых судей. В этот же период его жизни мы и познакомились с ним. Большинство кумысников и гостей Бибикова были, как тогда говорили, «красными», и отец не раз спорил с ними по вопросу о революционном насилии.

Признаюсь, я больше сочувствовал Лазареву и молодежи, чем моему отцу. Отец впоследствии вспомнил о нем, когда писал «Воскресение». На Лазарева похож Набатов.

Отец решил ликвидировать хозяйство в имении — продать инвентарь живой и мертвый, часть лошадей перевести в Ясную Поляну и сдать землю участками крестьянам. Для этого надо было землю размежевать. Он не пригласил на эту работу землемера, а решил сделать ее сам. Взяв размеренную веревку, он вместе с рабочими пошел измерять степь и делить ее на мелкие участки. Работу эту он, однако, не окончил.

Когда отец уехал, Архангельский сдал на год все имение участками крестьянам. В июне следующего года он увелился, оставив не взысканными с арендаторов 10 000 рублей. Отец в письме к Бибикову и Алексееву просил их получить арендные деньги и, в частности, оставшиеся в долгах десять тысяч рублей (насколько это было возможно), а деньги эти употребить на пользу бедных тех

деревень, которые снимают эти земли, на помощь нуждающимся, на школы, на учреждение зимних заработков и т. п. «И это, — писал он, — если бог захочет, будет сделано с той поры, когда я перестану встречать в этом препятствия семьи. Надеюсь дожить до этого. Тогда я приеду и устрою, что сумею... Петр Андреевич привез долговые книги. Там, оказывается, более 10 тысяч долгов. Что делать с этими долгами? Бросить их или получить с тех, которые могут заплатить, с тем чтобы отдать их тем, которые в нужде?.. А может быть, все это чепуха и мое подлое тщеславие; тогда все это бросить. И кажется, что так лучше»¹. На это письмо В. И. Алексеев резонно ответил, что взыскание денег в срок привело бы к взысканию через мирового судью, на что, разумеется, Лев Николаевич не согласился. Получилось неопределенное положение, и вопрос о самарском имении («восточный вопрос», как мы его называли) был решен только тогда, когда моя мать написала Бибикову, чтобы арендные деньги посылались непосредственно ей, после чего Бибиков окончательно отказался и был приглашен новый управляющий — Семен Глебов.

Приехавши из Самары, я стал усиленно готовиться к экзаменам, отложенным на осень. Профессора, у которых я весной экзаменовался, потребовали, чтобы я вторично у них экзаменовался. В общем мои экзамены у профессоров Столетова и Марковникова прошли вполне благополучно.

После экзаменов я опять стал с увлечением заниматься в химической лаборатории количественным и титрованным анализом. После лекций я шел в лабораторию, завтракал там пирожками из булочной Чуева, пил чай из химического стакана, заваренный на газовой горелке, и работал до пяти часов. Там же работал И. А. Каблуков (будущий профессор и академик), Савва Тимофеевич Морозов и др.

Р А З Л А Д

В 80-х годах у отца уже твердо установились основы того мировоззрения, которое он старался применять ко всей своей последующей жизни. Где-то я прочел, что шотландский поэт Роберт Бернс был поэт и, *следовательно*,

¹ Юбилейное изд., т. 63, стр. 180—183.

несчастный человек. Почему? Потому что поэт впечатлительнее и чувствительнее среднего человека, глубже и живее воспринимает жизнь, а жизнь дает больше отрицательных впечатлений, чем положительных. Таков же был мой отец. У него, как у Сакия-Муни, открылись глаза на бедствия людей, и он уже не мог спокойно пользоваться своим благополучием. В Ясной Поляне всякое проявление деревенской бедности, а в Москве городской нищеты, волновало его до слез. Помню, как, придя домой после посещения умирающего Федота, одного из самых бедных крестьян Ясной Поляны, он взволнованно сказал: «Иду я от Федота по прищепку и слышу — Сережа играет венгерские танцы Брамса. Я его не упрекаю за это, но как странно: рядом с нами живут нищие люди, болеют и умирают, а мы этого не знаем и даже знать не хотим, — играем веселую музыку». После «кризиса» отец стал отрицательно относиться к тому, что раньше любил и во что верил. Он даже в этом отрицании видел известный критерий правильности своих взглядов. Он был воспитан в церковной вере и одно время считал нужным исполнять церковные обряды; теперь он стал критически относиться к церковному учению. Как землевладелец он с увлечением занимался хозяйством в своих имениях; теперь же он стал отрицать право владения землею. Обладая сам огромными знаниями и колоссальной культурой, он стал критически относиться к европейской культуре и к той науке, которая имеет своим предметом этические вопросы. Будучи сам гениальным художником, он стал отрицать произведения искусства, не подходящие под его определения настоящего искусства, и так далее. Он смотрел на богатых людей, не принадлежащих к рабочему народу, в том числе и на своих семейных, как на сумасшедших; это он нередко высказывал в разговорах и выразил в написанном для «Почтового ящика» Ясной Поляны «Скорбном листе душевнобольных яснополянского госпиталя». В своем дневнике от 11 апреля 1884 года он написал: «Пришли в голову «Записки не сумасшедшего». Как живо я их пережил. — Что будет?»

Вместе с тем 80-е годы были одни из самых деятельных лет моего отца. В эти годы он написал «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», «О жизни», художественные произведения: «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник», «Крейцера соната», «Плоды просвещения»,

«Власть тьмы» и ряд народных рассказов. Тогда же отец учился древнееврейскому языку.

Отец входил в сношения со многими новыми для него людьми, в том числе с редакторами журналов «Русская мысль» и «Русское богатство», надеясь напечатать в этих журналах свои статьи. Начиная с 1884 года он обращался с предложением участвовать в народном издательстве «Посредник» к писателям: Эртелю, Златовратскому, Лескову, Салтыкову и многим другим, к переводчикам иностранных писателей, к популяризаторам научных знаний, к художникам — Ге, Репину, Прянишникову, Ярошенко, Васнецову и другим.

Начиная с 1881 года запрещенные сочинения отца стали распространяться в рукописных списках и возбудили живой интерес к его новым взглядам. Последствием этого были его сношения со многими лицами, интересовавшимися его произведениями. Многие дотоле незнакомые ему люди стали обращаться к нему с вопросами о вере, по социальным и этическим вопросам, а иногда и по своим личным делам. Отец считал своим долгом отвечать и принимать желающих его видеть, несмотря на то что это отнимало у него время и утомляло его.

Моя мать старалась ограждать Льва Николаевича от посетителей, приходивших к нему во всякое время дня. Было установлено принимать посетителей только начиная с семи часов вечера, но они приходили и в другое время дня, а вечером нередко засиживались до полуночи и позднее. Появились последователи учения Л. Н. Толстого, так называемые «толстовцы». Моя мать и сестра Татьяна полусхоту прозвали их «темными», в отличие от своих знакомых — «светских».

Образ жизни отца в 80-х годах, особенно начиная с 1884 года, постепенно изменился. В Москве он стал рано вставать, сам убирать свою комнату, пилить и колоть дрова, качать воду из колодца, бывшего во дворе дома, и подвозить к дому эту воду в большой кадке на салазках. Тогда же он научился сапожному ремеслу и стал шить сбувь в своей маленькой комнате перед кабинетом. Там он завел себе большую лампу, которая одновременно освещала, нагревала и вентилировала эту комнату и его кабинет; он не стал пить вина и стал убежденным вегетарианцем, старался бросить курение, но отвык от него только в 1888 году. Вегетарианцем он стал особенно после

своего знакомства с позитивистом и вегетарианцем Вильямом Фрейем, посетившим его осенью 1885 года. Тогда же мои сестры, Таня и Маша, также перешли на «безубойное питание». Моя мать считала, что вегетарианство вредно, в чем была права: отцу при его заболеваниях печени оно было несомненно полезно.

Летом в Ясной Поляне отец особенно много работал в поле для одной бедной вдовы, Анисьи Копыловой. Он делал всю тяжелую работу, которая производится на крестьянском наделе, — косил траву и убирал сено, косил рожь и овес, возил навоз, пахал, сеял и бороновал.

В продолжение 1880—1886 годов, кроме его художественных произведений, им были написаны: «Критика догматического богословия», «Соединение и перевод четырех евангелий», «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?» В первых двух произведениях высказано основное его мировоззрение, в последнем — применение этого мировоззрения к жизни¹. «Так что же нам делать?» написано под впечатлением противоположности между роскошью и тунеядством богатых людей и нищетой и непосильным трудом рабочего народа. Он говорил: «Наивысшая похвала в народе это — «кормилец», самый обидный упрек — «дармоед». Мы — дармоеды».

«Так что же нам делать?» — это голос его совести, обвиняющий его самого в участии в царствующем зле и требующий радикального изменения всей его жизни, и он порывался следовать этому голосу. Он говорил, что надо раздать все свое имущество согласно евангельским словам «просящему отдай», что счастливы бродяги, потому что у них нет собственности, и что «одно средство жить радостно — это быть апостолом. Не в том смысле только, чтобы ходить и говорить языком, а в том, чтобы и руками, и ногами, и брюхом, и боками, и языком, между прочим, служить истине (в той мере, в какой я знаю ее) и распространению ее». Так он писал В. И. Алексееву в 1884 году².

¹ Все эти произведения не могли быть напечатаны по цензурным условиям того времени, но распространялись в рукописных списках. Отец на свой счет напечатал «В чем моя вера?» в 30 экземплярах. Это можно было сделать, не представляя книгу в цензуру; однако книга была конфискована, а запрещенные экземпляры, вместо того чтобы быть уничтоженными, были розданы разным высокопоставленным лицам. Вскоре за границей появились французский и немецкий переводы этого произведения.

² Юбилейное изд., т. 63, стр. 194.

Моя мать не могла сочувствовать его новым взглядам. Как мать восьми детей, она понимала или, лучше сказать, чувствовала, что она и ее дети должны быть в известной мере материально обеспечены. В начале 80-х годов, разумеется, ни один из восьми ее детей ничего не зарабатывал. Мне, старшему, в 1882 году было девятнадцать лет, и я еще учился в университете, младший сын Алеша был еще младенцем. Нужно было знать, на какие деньги жить, откуда взять эти деньги, как устроить вообще жизнь семьи. Если сокращать расходы, то — до каких пределов? Продолжать ли учить детей, или нет? Держать ли прислугу, какую и сколько? Где жить — в Москве или в Ясной Поляне, или еще где-нибудь? Что делать с именьями? Получать ли доход с сочинений Льва Толстого? На все эти вопросы матери надо было иметь неотложные и определенные ответы; ведь каждый день к ней обращались с требованиями дети, прислуга, педагоги и поставщики, а отец никаких ответов не давал, а говорил, что чем меньше денег и материальных благ у семьи, тем лучше. Как было матери согласиться с этим? Она, наоборот, считала, что чем больше у семьи денег и материальных благ, тем лучше. В этом она основывалась на взглядах, высказанных Львом Николаевичем в те годы, когда он считал, что его семья должна быть не только обеспечена, но и богата, когда было решено, что все мы будем проводить зимы в Москве. И наша мать совсем не считалась с новым мировоззрением отца. После переезда в Москву она стала заботиться не только об обеспечении себя и семьи, она стала жить роскошнее, чем прежде, и тратить много больше, чем живя в Ясной Поляне; она перегнула палку. Иногда она это сознавала. В письме к отцу от 12 ноября 1883 года она писала: «Так как я особенная мастерица грустить, то я опять до слез грустила о том, что прошло, чем, бывало, я тяготилась и что теперь стало мило и дорого. А о себе думала, что если я прежде была нехороша, то какая же я теперь мерзость! И что если ты прежде был хорош, то настолько же ты теперь лучше!»¹

И вот разлад между моими родителями, уже тлевший в конце 70-х годов, после переезда в Москву разгорался все более и более. В этом разладе я не могу ви-

¹ С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, изд. «Academia», М.—Л., 1936, стр. 240.

нить ни отца, ни мать. Оба были по-своему правы и неправы.

Разлад особенно обострился в 1884 и 1885 годах. Это видно из дневников отца. В мае 1884 года он там писал о своем одиночестве в семье, о тупости, самоуверенности, дерзости жены, о том, что разговор о перемене жизни вызывал злобу с ее стороны, «говорить нельзя, она не понимает, точно я один не сумасшедший, живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими, семейные не любят и не знают моих страданий» и т. д. В июне он писал в дневнике о дармоедстве и праздности детей, об ужасно мучительных разговорах с женой, «она рада случаю осуждать и ругать», «вся их жизнь жалка». Кроме всего прочего, отцу было крайне неприятно, что мать решила не кормить самой будущего своего ребенка. До этого она сама кормила своих детей и прибегала к кормилице только при невозможности кормить самой. Теперь перед рождением ребенка она заранее запаслась кормилицей, говоря, что ей приходится вести денежные и хозяйственные дела семьи, а одновременно делать мужское и женское дело она не может.

17 июня отец «после тяжелого разговора с женой», как он писал в своем дневнике, решил уйти от семьи. Этот тяжелый разговор начался с «восточного вопроса», как мы называли вопросы, относившиеся к хозяйству самарского имения и тамошнему конному заводу. Разговор продолжался со стороны матери упреками в том, что отец не занимается делами по имениям и вообще добыванием денег для семьи, а с его стороны — осуждением матери и детей за роскошную жизнь и требованием упростить эту жизнь. Упреки отца, поскольку они относились к прожитой зиме, были более или менее справедливы. В этом году моя мать с сестрой Таней выезжала больше, чем когда-либо, и много расходовала, но в июне, на последнем месяце беременности, ей было не до самарских лошадей и не до упрощения жизни.

После разговора отец с мешком на спине, в который кое-что уложил, пошел по направлению к Туле с намерением уйти совсем; к счастью, на полдороге он раздумал и вернулся.

Я в то время был в Ясной Поляне, но лишь позднее узнал о разговоре между моими родителями и попытке отца уйти из дому.

В 80-х годах я мало сочувствовал новому мировоззрению отца и часто противоречил ему. Я не сочувствовал требованию отца изменить нашу, в частности мою, жизнь, не соглашался с его нападками на науку, университет и профессоров и с его проповедью «непротивления злу». Мои возражения сильно раздражали отца. В его дневнике есть упоминания о его разговорах со мною. 18 марта 1884 года: «Внизу возразил Сереже-сыну на его тупость». 16 апреля: «Получил письмо Черткова с возмутительной запиской англичанина for their own dear saves (для их же пользы). Все преступники сумасшедшие. Судья лечит. Зачем же он судит, а не свидетельствует? Зачем он наказывает? Прочел Тане и Сереже. Как он либерально жестоко туп. Мне очень было больно...» 24 апреля: «Отчего я не поговорю с детьми, с Таней? Сережа невозможно туп, тот же кастрированный ум, как у матери. Ежели когда-нибудь вы двое прочтете это, простите, это мне ужасно больно».

29 мая: «Ужасно то, что все зло — роскошь, разврат жизни, в которых я живу, я сам сделал. И сам испорчен и не могу поправиться. Могу сказать, что поправляюсь, но так медленно. Не могу бросить куренье, не могу найти обращения с женой, такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей. Ищу. Стараюсь. Приехал Сережа. Тоже нехорош я с ним. Точно так же, как с женой. Они не видят и не знают моих страданий».

4 июня: «Сереже я сказал, что всем надо везти тяжесть, и все его рассуждения, как и многих других, — отвиливания: «повезу, когда другие»; «повезу, когда оно тронется». «Оно само пойдет». Только бы не везти. Тогда он сказал: «Я не вижу, чтоб кто-нибудь вез». И про меня, что я не везу. Я только говорю. Это оскорбило больно меня. Такой же, как мать, злой и не чувствующий. Очень больно было. Хотелось сейчас уйти. Но все это слабость... Разумеется, я виноват, если мне больно... Борюсь, тушу поднявшийся огонь, но чувствую, что это сильно погнуло весы. И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мучения? И как бы ни были тяжелы (да они легки) условия бродяги, там не может быть ничего подобного этой боли сердца».

Вспоминая этот разговор, я сознаю, что мне следовало бы воздержаться от намека на то, что отец сам еще мало изменил свой образ жизни, но мне было неясно, чего он от меня хотел. Может быть, если бы я вышел из университета и стал жить трудовой жизнью в деревне так, как впослед-

ствии жили некоторые толстовцы, он бы меня одобрил. Но я не хотел этого и не находил это полезным.

В одной из следующих записей дневника, от 19 июня, я заслужил его упрек: «Пришел купец покупать иноходца. Я изменил слову. 250 рублей. Ложь моего положения — нехороша. Хотел дать деньги эти Тане. Оказалось, что другие, т. е. Сережа, завидуют. Ты прочтешь это когда-нибудь, Сережа-сын, — тебе надо знать, что ты очень, очень дурак. И что тебе надо много работать над собой, главное — смириться».

Из записи дневника 15 июля видно, как мои несогласия с отцом волновали его и меня: «Разговор с Сережей. Он без причины сделал грубость. Я огорчился и выговорил ему все. И буржуазность, и тупость, и злость, и самодовольство. Он вдруг заговорил о том, что его не любят, и заплакал. Боже, как мне больно стало. Целый день ходил и после обеда поймал Сережу и сказал ему: «Мне совестно...» Он вдруг зарыдал, стал целовать и говорит: «Прости, прости меня». Давно я не испытывал ничего подобного. Вот счастье».

Я не помню, какую грубость я сказал или сделал, но его упрек в злости по отношению к нему был несправедлив. Злости у меня не было, была любовь к нему, но я не мог побороть в себе дух противоречия.

Я, разумеется, не могу теперь, почти через шестьдесят лет, вспомнить в точности мои тогдашние споры с отцом. Вот какой приблизительно у меня был один из этих споров — о науке.

Отец. Наука занимается чем угодно, но не вопросами о том, что необходимо знать, — о том, как нам надо жить. Все явления мира изучить невозможно и бесполезно.

Я. Но наука дает истинное знание и тем самым искореняет суеверия.

Отец. Ученые не различают полезного знания от ненужного; они изучают такие ненужные предметы, как половые органы амебы, потому что за это они могут жить по-барски.

Я. Это аргумент не против науки, а против привилегированного положения ученых. Ты говоришь про людей, отрицающих церковь, что они из-за обрядов и догматов отрицают религию: «осердясь на вшей — и шубу в печь»: я могу тоже сказать, что из-за привилегированного положения ученых ты отрицаешь науку.

Отец (раздраженно). Все эти ученые получают содержание от государства и не только не могут высказывать истины, не угодные правительству, они даже должны плясать под его дудку.

С 1883 года материальными делами нашей семьи стала заведовать мать. Деньги, скопленные в начале 80-х годов, скоро были истрачены: на часть их был куплен и перестроен хамовнический дом, а остальные деньги быстро таяли на ежедневные расходы.

Денежные дела семьи в 1884 году были не блестящи. В письме к отцу от 26 октября мать выписала свой неизбежный, по ее мнению, месячный и годовой расход. Он равнялся 11 167 рублям в год.

Разумеется, этой цифрой расходы не ограничивались. Сюда не вошли расходы на одежду, театры и концерты, извозчиков, мелкие расходы и пр. Ежегодно тратилось около 15 000 рублей в год.

Имения давали мало.

Мать увидела, что если не будут приняты экстренные меры, то ей и ее детям придется сильно сократить свои расходы и даже отказаться от жизни в Москве.

Для того чтобы этого не случилось, единственным средством было получение доходов с писаний Льва Толстого, тех доходов, на которые до этого времени главным образом жила наша семья, и наша мать решила воспользоваться этим средством. Отец предоставил ей исключительное право издавать все его сочинения, напечатанные до 1881 года; все же написанное им после этого года он предоставлял издавать всем желающим. Это решение было опубликовано позднее, в сентябре 1890 года, но оно соблюдалось уже с начала 80-х годов. В начале 1885 года мать взяла в свои руки издательское дело и предприняла новое, пятое издание Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Предыдущее Полное собрание сочинений огулом продавалось издателям; новое же издание она решила сама издавать и от себя продавать в книжные магазины. В этом она последовала примеру А. Г. Достоевской, с которой подробно советовалась, бывши в 1885 году в Петербурге. На напечатание нового издания требовалось довольно много денег, которых у нее не было. Тогда она заняла у своей матери 10 000 рублей и у А. А. Стаховича 15 000 рублей.

И вот во флигеле хамовнического дома открылась Кон-

тора издания Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого и поселился артельщик, а во дворе в сарае были сложены несколько сот экземпляров издания для текущей продажи. Отцу это было крайне неприятно, и он морщился, когда проходил мимо вывески «Контора издания сочинений Л. Н. Толстого», но в дело не вмешивался.

В декабре 1885 года произошло новое обострение разлада между моими родителями. В то время мать открыла подписку на издание Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, и уже несколько томов было напечатано. В ноябре она поехала в Петербург с целью хлопотать о цензурном разрешении на помещение в 12-ю часть собрания сочинений «Исповеди» и «В чем моя вера?»; ей было отказано. Отцу вообще претило получение доходов с его сочинений, особенно путем издания их его женой. Он не сочувствовал ее поездке в Петербург, считая, что недостойно хлопотать о цензурных разрешениях у Феофистова и Победоносцева; в то же время он видел, что жизнь его семьи оставалась светской и роскошной и что мать продолжала игнорировать его убеждения. Все это было причиной его подавленного настроения.

В неотправленном длинном письме, написанном в том же декабре 1885 года (вероятно в первой половине декабря), отец писал матери: «...Я прихожу в отчаяние и спрашиваю свою совесть и разум, как мне поступить, и не нахожу ответа. Выборов есть три: 1) употребить свою власть: отдать состояние тем, кому оно принадлежит — рабочим, отдать кому-нибудь, только избавить малых и молодых от соблазна и гибели; но я сделаю насилие, я вызову злобу, раздражение, вызову те же желания, но не удовлетворенные, что еще хуже, 2) уйти от семьи? Но я брошу их совсем одних, — уничтожить мое кажущееся мне недействительным, а может быть действующее, имеющее подействовать влияние — оставлю жену и себя одинокими и нарушу заповедь, 3) продолжать жить, как жил, вырабатывая в себе силы бороться со злом любовно и кротко. Это я и делаю, но не достигаю любовности и кротости и вдвойне страдаю и от жизни и от раскаяния. Неужели так надо? Так в этих мучительных условиях надо жить до смерти?»¹

В неотправленном письме к Черткову того же времени

¹ Юбилейное изд., т. 83, стр. 546.

он писал: «То, что я пишу, об этом не читают, что говорю, не слушают или с раздражением отвечают, как только поймут, к чему идет речь; что делаю, не видят или стараются не видеть... Разорвать же все, освободить себя от лжи без раздражения не умею... Когда оглянешься... на ту ложь, в которой живешь, и когда слаб духом, то делается отвращение к себе и недоброжелательство к людям, ставящим меня в это положение... Вчера не выдержал, стал говорить, сделалось раздражение, приведшее только к тому, чтобы ничего не слышать, не видеть и все относить к раздражению... Я целый день плачу сам с собой и не могу удержаться»¹.

Около 15 декабря отец резко и взволнованно высказал матери то, что думал и чувствовал, и вторично заговорил о своем намерении уйти от семьи. Моя мать писала сестре Т. А. Кузьминской 20 декабря 1885 года: «Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижую я раз, пишу, входит, я смотрю, — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ну, ровно, ровно ничего. «Я пришел сказать тебе, что я хочу с тобой разводиться, жить так не могу, уеду в Париж или в Америку». Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы так не удивилась. Я спрашиваю удивленно: что случилось? — Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и больше не везет. — Что накладывают, неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже и хуже... Когда он сказал мне: где ты, там воздух заражен, я велела принести сундук и стала укладываться, хотела ехать хоть к вам на несколько дней. Прибежали дети, рев. Таня говорит: «Я с вами уеду, за что это?» Он стал умолять остаться. Я осталась. Но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто. Подумай только: Левочку всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его. Дети — четверо — Таня, Илья, Леля, Маша — режут на крик. На меня нашел столбняк: ни говорить, ни плакать; все хотелось вздор говорить, а я боюсь этого и молчу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние, отчужденность, — все это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну теперь за что же?

¹ Юбилейное изд., т. 85, стр. 294—296.

Я из дома ни шагу не делаю, работаю с изданием до 3-х часов ночи, всех так люблю...

Ну вот после этой истории вчера почти дружелюбно расстались. Поехал Левочка с Таней на неопределенное время к Олсуфьевым, за 60 верст, вдвоем на крошечных санках...»

23 декабря мать писала сестре: «Да, я хочу, чтобы он вернулся ко мне так же, как он хочет, чтобы я пошла за ним. Мне — это старое, счастливое, пережитое несомненно хорошо, светло и весело, и любовно, и дружно. Его — это новое, вечно мучающееся, тянущее всех за душу, удивляющее и тяжело поражающее, приводящее в отчаяние не только семью, родных, близких и друзей. Это — мрак; нет, в этот ужас меня не заманишь. Это *новое*, будто бы спасение, а в сущности приведшее к тому же желанию смерти, так измучило меня, что я ненавижу его».

Отец впоследствии сознавал, что бывал недобр по отношению к своей семье. В декабре 1885 года он писал матери: «Не для успокоения тебя говорю, а искренно я понял, как я много виновен; и как только понял это и особенно выдернул из души всякие выдуманные укоризны и восстановил любовь к тебе и к Сереже, так мне стало хорошо и будет хорошо, независимо от всех внешних условий»¹.

В дневнике 1894 года он еще сильнее выразил то же самое, написав 7 октября:

«Сидел наверху с Сережей-сыном и — какая радость — ни малейшего прежнего недоброго чувства к нему, а напротив, теплится любовь». 21 октября: «Дня три тому назад перечитывал свои дневники 84 года, и противно было за себя, за свою недоброту и жестокость отзывов о Соне и Сереже. Пусть они знают, что я отрекаюсь от всего того недоброго, что я писал о них. Соню я все больше и больше ценю и люблю. Сережу понимаю, не имею к нему никакого иного чувства, кроме любви».

В последующие годы отношения между моими родителями временами улучшались, временами ухудшались, но никогда уже не были вполне согласны, несмотря на сильную любовь между ними. Установился известного рода *modus vivendi*, чему особенно способствовали мои сестры Таня и Маша. Таня — привлекательная, талантливая,

¹ Юбилейное изд., т. 83, стр. 556.

увлекающаяся девушка, любимица как отца, так и матери, около второй половины 80-х годов сократила свои выезды (что не помешало ей сохранить хорошие отношения со своими светскими знакомыми) и стала больше сочувствовать отцу. Маша вообще не выезжала на балы и танцевальные вечера, любила деревню, работала крестьянскую работу и была предана отцу. Обе они стали переписывать отцу и помогать ему в его обширной корреспонденции.

1884—1887 годы

Осенью 1884 года я и брат Илья отправились в Москву на наши учебные занятия. Отец и остальная семья остались временно в Ясной Поляне. В половине сентября мы получили от отца письмо, первую половину которого я привожу ниже, вторая же его часть, адресованная брату, напечатана в его воспоминаниях.

«Здравствуй, Сережа. Как вы живете? Я не столько беспокоюсь о вас, в смысле, что с вами случится что-нибудь, сколько боюсь, что вы сделаете что-нибудь неладное. И чем старше, тем больше.— Ты на это не обижайся. Когда у тебя будут дети, ты это самое будешь испытывать. Очень жалко, что Марковников тебя обидел. Мне казалось, что ты дружелюбно бил посуду, а вдруг оказывается, что этого генерал не одобрил¹. Что Олсуфьевы? Клаивайся им от меня. Я рад, что ты у них часто бываешь. Нехорошо, что ты оробел насчет яблок. У тебя этот пред-

¹ Упоминание о Марковникове относится к следующему случаю: в этом году я, по заданию проф. В. В. Марковникова, работал по исследованию тяжелых нефтяных масел, для чего он дал мне медную колбу. Мне понадобилось размельчить едкий натр и я вместо молотка употребил для этого крышку медной колбы. Крышка погнулась и продырявилась. Генерал (так звали Марковникова в химической лаборатории) рассердился и потребовал, чтобы я купил новую колбу. Мои денежные дела в то время были ограничены, и новая колба стоила около 50 рублей, и вместо покупки новой колбы я отдал испорченную крышку запаять меднику, что мне обошлось много дешевле. Увидав это, Марковников сказал: «Вас я вижу, надо приучить к аккуратности. Приготовьте мне какадил: у нас в лаборатории этого вещества еще нет». Какадил, или цианистый мышьяк, настолько ядовит, что достаточно вдохнуть его, чтобы умереть; на воздухе он самовозгорается, и его надо готовить под тягой с крайней осторожностью. Я струсил и отказался готовить какадил. На эту историю с медной колбой и намекал мой отец.





Толстой с семьей в 1884 году

мст в неясности...¹ Мы живем очень хорошо — дружно. Завтра едем с Таней, Машей и Miss Lake² в плетушке в Пирогово. Погода не то что хорошая, но что-то необыкновенное по красоте.— Я рублю дрова, читаю, но ничего не делаю и тягочусь этой умственной праздностью. Мама нездорова, но в хорошем духе.— Не могу без ужаса себе представить Москву и о вас думать без сожаления. И чем младше, тем больше. Тетя Таня, как и прошлого года, в восторге от вашего посещения на железной дороге³. Она точно вас всех и тебя очень любит».

В июне 1884 года мой самарский знакомый революционер Егор Егорович Лазарев был, по доносу известного предателя Дегаева, арестован и, по административному постановлению Комитета министров, приговорен к ссылке в Восточную Сибирь на три года. В конце августа он был переведен в Бутырскую тюрьму, но так как последняя партия ссыльных в Сибирь в этом году была уже отправлена, его оставили в Бутырской тюрьме до весны.

В то время московским губернатором был В. С. Перфильев, давнишний приятель моего отца, а вице-губернатором был либеральный кн. В. М. Голицын. Смотритель тюрьмы и его помощники, заведовавшие политическими ссыльными, были также мягкими и доброжелательными людьми. Лазарев писал в своей автобиографии, что кн. Голицын, к его чести, принадлежал к числу мирных губернаторов, а про смотрителя и его помощника писал, что они по возможности исполняли все желания заключенных; их единственной просьбой было — «не погубить» их, то есть не употребить во зло даваемые льготы. Лазарев был

¹ В 1884 году урожай яблок в Ясной Поляне не был, как обычно, продан купцу, а яблоки были сняты и упакованы своими рабочими и поденными и отправлены в Москву. Мне было поручено принять их на товарной станции и тут же продать. Но когда я принимал яблоки, оказалось, что чуть ли не все ящики были разбиты и из каждого часть яблок была украдена. Из-за этого купцы давали низкую цену, и мне не удалось продать яблоки на станции, а пришлось перевезти яблоки в сарай хамовнического дома. Я написал в Ясную Поляну, что прошу меня освободить от дела продажи яблок. На это и ссылался отец.

² Miss Lake была гувернанткой сестер и учительницей английского языка; она была в дружеских отношениях с моими сестрами.

³ Я и брат Илья встречали нашу тетку Татьяну Андреевну Кузминскую на московском вокзале при ее проезде из Ясной Поляны в Петербург, где ее муж служил председателем окружного суда.

избран старостой политических заключенных и взял на себя ответственность за них перед властями.

Узнав об аресте Лазарева, я пошел к В. С. Перфильеву с просьбой о свидании с ним. Василий Степанович разрешил мне свидание, но сказал полушутя: «Смотрите, я мамаше скажу, что вы с политическими видаетесь». Я ответил: «Она знает, а папа сам бы пошел, если бы был в Москве». (Отец в то время был в Ясной Поляне.)

Я несколько раз ходил на свидание с Егором Егоровичем и покупал для него и его товарищей по заключению разные съестные припасы. Свидания происходили не через решетку, а в канцелярии тюрьмы. Там я видел трогательные сцены свиданий заключенных с родственниками и друзьями; среди них были и приговоренные на каторгу, у которых полголовы было выбрито.

Отец, приехав в Москву, как я и предполагал, не раз ходил на свидание с Лазаревым; сцены, виденные им там, впоследствии описаны им в «Воскресении». Помню, как он возмущался тем, что административно ссыльный Ив. Ив. Присецкий мог видеться с женой, с которой повенчался в киевской тюрьме, не иначе как в комнате для свиданий, несмотря на то, что она жила на воле и приехала в Москву специально для того, чтобы следовать в ссылку за мужем. Еще отец рассказывал, что видел, как весной, перед высылкой в Сибирь, молодые мужчина и женщина, взявшись за обе руки, весело вертелись на площадке тюремной лестницы: наконец-то они вместе отправляются на место поселения и выходят из ненавистой тюрьмы.

Зимой к Лазареву явился на свидание А. А. Бибиков в сопровождении его матери. Бибиков скоро возвратился в Самару, а мой отец оставил мать Лазарева в хамовническом доме, для того чтобы она могла видаться с сыном. Моя мать сердечно отнеслась к ней.

Мой товарищ по тульской гимназии и университету, Степан Михайлович Блеклов, не раз передавал мне прокламации и сообщал сведения о революционерах. Время моего пребывания в университете было глухим временем: революционеры были разгромлены и скрывались в подполье. Однажды, зимой 1884 года, Блеклов попросил меня предоставить мою комнату во флигеле хамовнического дома для какого-то важного тайного совещания. Я с удовольствием согласился, и в назначенный день поздно вечером ко мне пришло человек пять незнакомых борода-

тых мужчин, попросили меня выйти и долго о чем-то совещались. Входили и выходили они порознь, для того чтобы не обратить на себя внимание полиции.

Окончив университетский курс, я достиг цели, к которой стремился четыре года, но, лишившись постоянных занятий, почувствовал какую-то пустоту и не знал, за что приняться. У меня были следующие возможности: во-первых, я мог продолжать свои занятия в химической лаборатории и посвятить себя науке,— потом я жалел, что так не поступил; во-вторых, я мог поступить на государственную или земскую службу; и в-третьих, я мог заняться сельским хозяйством в имениях нашей семьи, в чем меня поощряла моя мать.

На перепутье я обратился за советом к отцу. Это было в самый разгар его разлада с матерью. Когда я его спросил, каким делом он посоветовал бы мне заняться, он был в раздраженном настроении и ответил: «Дела нечего искать, полезных дел на свете сколько угодно. Мести улицу — также полезное дело». Этот ответ меня сильно обидел и был одной из причин моей тогдашней отчужденности от мировоззрения отца. Я не мог согласиться с тем, что мои четырехлетние занятия в университете были ничемными. Но, увы, после окончания университетского курса я очень мало занимался естественными науками, хотя никогда не жалел, что познакомился с ними: они дали мне настоящее знание и трезвый взгляд на жизнь.

По требованию матери я занялся хозяйством в Ясной Поляне и в самарском имении. Хозяйничать было трудно. Неодобрение отца, его отрицание всяких охранительных мер, моя неопытность, нежелание моей матери (которой отец дал доверенность на ведение всех своих имущественных дел) вводить улучшения в примитивное хозяйство Ясной Поляны — все это мне мешало с пользой заниматься этими делами. Для Ясной Поляны я нашел дельного управляющего — Александра Яковлевича Парфенова, но он вскоре уволился, увидев, что в Ясной Поляне невозможно было поставить хозяйство на деловую ногу.

В сентябре 1885 года я поехал по хозяйственным делам в наше самарское имение. Управляющего там уже не было. Все имение было в аренде, деньги за арендуемые участки получал и пересылал Бибииков. Арендаторы платили плохо. Бибииков и В. И. Алексеев жили, так же как и прежде, вблизи хутора. Василий Иванович продолжал арендовать

участок из нашего имения, который он взял в аренду четыре года тому назад, с тем чтобы часть этого участка обрабатывать личным трудом, а остальную землю сдавать крестьянам. Что же из этого вышло? Личным трудом он землю почти не обрабатывал, а почти весь свой участок пересдавал крестьянам, которые, зная, что к суду он не обратится, платили плохо.

Я нашел его очень опустившимся. Он вышел ко мне бледный, худой, с тусклым взглядом, в мягких ичигах и рваной фуфайке. Он был поглощен хозяйственными мелочами, на что уходило все его время. Он мало чем интересовался, почти ничего не читал. Я ему привез два новых рассказа моего отца, но через два дня оказалось, что он их не прочел, хотя все время оставался дома, а я знал, что его всегда живо интересовало все, что пишет Лев Николаевич.

Жена Василия Ивановича, Елизавета Александровна, производила такое же жалкое впечатление, как и он. Он все же бывал в Самаре, на базарах, у своего знакомого мирового судьи Костромитинова; она же жила безвыездно в степи, в семи верстах от ближайшей деревни. Летом еще бывали у их единственного соседа Бибикова кумысники и гости, зимой же никого. У нее было трое детей от Василия Ивановича, и она целый день была занята детьми и хозяйством. Наш разговор с Василием Ивановичем был неинтересен — о хозяйстве, арендаторах и т. п. Перед моим отъездом, не помню по какому поводу, он сказал, что жизнь согласно велениям совести и убеждениям неизбежно ведет к лишениям и страданиям. Я с ним не согласился и подумал: вот он подвергает себя лишениям и страданиям, а едва ли живет согласно своим убеждениям. И я был рад уехать от безнадежных неплательщиков арендаторов и несчастного вида Василия Ивановича и его семьи. Я смотрел из окна вагона, поезд шел по крутому берегу реки Самарки; река вилась вдаль, сверкая на солнце, за ней расстилалась широкая степь, а ближе виднелись желтые, бурые и красные островки лиственного леса и темнозеленые пятна хвойного. Это было красиво. Я был молод, и мне казалось, что жизнь — благо и что страдания и лишения не неизбежны.

После моей поездки в самарское имение положение там долго оставалось неопределенным. Управляющего не было, арендные деньги пересылались через Бибикова. Моя мать

написала Бибикову, чтобы арендные деньги он посылал непосредственно ей. Тогда он отказался от всяких дел по имению. Пришлось искать управляющего. Отец рекомендовал некоего Семена Глебова, бывшего в 60-х годах учеником ясполянской школы. Это был небольшого роста белокурый человек, постоянно чему-то улыбающийся. В школе его прозвали «кыской». На военной службе он служил кантенармусом.

В то же время моя мать написала В. И. Алексееву, который очень плохо платил за арендуемый им участок:

«Василий Иванович, сколько раз я принималась писать вам и высказать то, что меня мучило, и все откладывала, ожидая, что вы, наконец, поймете то фальшивое положение, в которое вы себя поставили. Но прошли целые года, и я вижу, что если я сама не выясню вашего отношения к делам аренды земли, то пройдут еще года, и вы останетесь в том же положении. Очевидно, держать в аренде нашу землю вы не в состоянии... Вы продолжаете истощать и портить землю, которая мало того, что не приносит никаких %, ежегодно падает, вместо того чтобы улучшаться. И потому, как мне ни неприятно самой вам это писать (я полагаюсь на вас в этом случае), но я принуждена сказать вам, что в аренде вам отказываю... Л. Н. сдал мне все дела и имущества в неограниченное распоряжение, а я не желаю и не могу разорять своих детей и вести дела неразумно. Извините, если огорчила вас. Я ведь ждала годы. Вы сами будете рады, так как вы хороший человек, выйти из фальшивого положения. 4 авг. 1886 г.»

По поводу этого письма я написал Алексееву, что я не сочувствую матери в ее отказе ему в аренде и что прошу его не спешить прекращать свое хозяйство, что мы с ним столкнемся, когда я в следующий раз приеду на хутор. Я ему писал: «Несмотря на происшедшее, я надеюсь, что давнишние хорошие отношения наши не изменятся. Для меня это было бы очень тяжело, так как многому хорошему я научился от вас». Так я ему писал, но впоследствии думал, что отказ от аренды послужил ему на пользу.

Осенью 1886 года я опять поехал в самарское имение и помог ему ликвидировать его дела. В этом году он был еще более жалок, чем в предыдущем. У него умерли двое детей от дифтерита, и сам он сильно болел. Дальнейшая

судьба В. И. Алексеева следующая: он поступил домашним учителем к некоему Воейкову, разошелся с Елизаветой Александровной и влюбился в казанскую дворянку Веру Владимировну Загоскину, на которой и женился. Потом он был директором технического училища в Чухломе, а с 1900 года — директором коммерческого училища в Нижнем-Новгороде. Когда он приезжал в Москву, он обыкновенно заезжал к нам; отец и я всегда были рады его видеть, мать также хорошо к нему относилась.

Летом 1885 и особенно 1886 года среди яснополянской молодежи под влиянием моего отца возникла мода работать на покосе. Этим увлеклись даже моя мать и А. М. Кузминский, ходившие грести сено. Покос в имении обыкновенно сдавался артелям яснополянских крестьян из половины, двух пятых или трети добываемого сена, в зависимости от качества травы. Отец и мы косили и убирали сено для вдов, стариков, малосильных крестьян Ясной Поляны, не могущих косить. Они получали ту долю сена, которая приходилась за нашу работу. Артелей было три или четыре. В 1885 году в одной артели работали отец, брат Илья, два яснополянских мужика и Исаак Файнерман. Это была скучная артель. В другой артели работали я, брат Лева, Алсид Серон (сын гувернантки) и несколько мужиков. У нас было веселее, чем в первой артели: у нас бабы пели песни, а иногда мы пили водку, пропивая копну сена. Однако в нашей артели случилась беда: один из ее участников, Семен Резунов, придя домой после выпивки, подрался со своим отцом и сломал ему руку.

В сентябре 1886 года отец написал мне и брату Илье из Ясной Поляны в Москву следующее письмо:¹

«Вам пишут каждый день и [вы] все знаете обо мне. Пишу сам «для прочности». Общее состояние хорошо. Если на что жаловаться, то на сон, вследствие чего голова не свежа и не могу работать. Лежу² и слушаю женский разговор и так погружен в женский лик³, что уже сам начинаю говорить: «я спала». А на душе мне хорошо, не-

¹ Письмо напечатано в книге И. Л. Толстого, Мои воспоминания, М. 1914, стр. 204. Где оригинал, не знаю.

² Отец лежал вследствие воспаления надкостницы ноги.

³ Предполагаю, что это слово неправильно прочитано и что вместо «лик» в рукописи написано — «мир».

много иногда тревожно о ком-нибудь из вас, о душевном вашем состоянии, но не позволяю этого себе и жду, и радуюсь на течение жизни. Вы только поменьше предпринимайте, а живите, только бы без дурного, и выйдет прекрасно. Целую вас и Колечку»¹.

Работая в поле и возя снопы, отец сильно ударился ногой о гридку телеги; образовалась крупная ссадина. Не дав созреть струнку на ранке, он его содрал; возникло рожистое воспаление, началось заражение крови, температура поднялась. Моя мать сильно встревожилась, поехала в Москву и привезла хорошего врача, ассистента Захарьина — В. В. Чиркова. Он немедленно дренировал ранку и для дальнейшего лечения рекомендовал хорошего тульского врача А. М. Руднева. Температура сразу понизилась, но отцу долго пришлось не покидать постели. Я думаю, что тогда его жизнь была в большой опасности; его спасли врачи Чирков и Руднев.

В январе 1887 года в Тульском губернском земском собрании происходили выборы от земства в члены Тульского отделения крестьянского банка. Не помню, кто из моих знакомых посоветовал мне выставить свою кандидатуру на эту должность, и я был выбран. Я нанял комнату в Туле и прослужил в этой должности до осени 1888 года, получая 750 рублей жалованья в год. Эта служба оставляла мне много свободного времени, дел было немного, и я часто бывал в нашей семье — летом в Ясной Поляне, зимой в Москве. В моей службе были интересные командировки в разные места для оценки продаваемых через банк имений. Я с удовольствием ездил на ямщицких лошадях по новым для меня местам. Я познакомился с разными, иногда своеобразными людьми. Так, в одном богатом имении управляющий, полковник в отставке, был настоящим Плюшкиным. Он был так скуп, что дома хлеба не пек, а покупал у нищих кусочки, которые им подавали; этими кусочками он угощал и меня. В другом имении наоборот — меня роскошно угощали, вероятно предполагая этим способствовать моему благоприятному отзыву о продаваемом имении.

¹ Колечка — Николай Николаевич Ге, сын художника, в то время жил в Москве, в нашем хамовническом доме, и помогал моей матери в издании Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. (См. Юбилейное изд., т. 63, стр. 382.)

В 80-х годах жизнь нашей семьи летом в Ясной Поляне была иная, чем зимой в Москве. Не было столько посетителей, как в Москве, но зато в самой Ясной Поляне жило много народа: наша семья, семья Кузминских и педагоги обеих семей. Все мы, кроме родителей, были зеленой молодежью. Кроме того, летом в 1886 и 1887 годах в пяти верстах от Ясной Поляны, в так называемой Ванькиной даче, жили: тетка моей матери Вера Александровна Шидловская, ее младшая дочь Вера Вячеславовна (20 лет) и ее внучка Вера Петровна Северцова (18 лет). Эти две девицы часто бывали в Ясной Поляне.

К молодежи следует причислить сына француженки-губернантки, подростка Алсида Серон, ученика Лазаревского института. Молодежь стремилась веселиться: время было каникулярное, питание хорошее, даже слишком хорошее, умственной работы было немного. Гуляли, катались, купались, одно время увлекались работой на сенокосе, музицировали, играли в крокет и другие игры, вечером — в винт, шутили, остряли, слегка влюблялись друг в друга и т. д. Вообще веселились.

Начиная с лета 1883 года в Ясной Поляне был заведен «почтовый ящик». Это был простой деревянный ящик. Он запирался ключом и привешивался на площадке лестницы. В него всякий житель Ясной Поляны мог опускать свои «произведения», если можно назвать эти бумажки произведениями. Они писались согласно изречению, вынутому из того же ящика: «В наш новый ящик почтовый, кто как хочет, так и строчит». По воскресеньям вечером ящик отпирался, все собирались в зале, и кто-нибудь из старших читал все бумажки, опущенные за неделю в ящик. Бумажки эти не были подписаны, и было условлено не стараться узнавать авторов по почерку. Много было написано неинтересного вздора, в чем сознавались и авторы; кто-то написал: «Я ведь черт знает какую дичь написал... Ничего! в почтовом ящике все сойдет». Тем не менее этот вздор дает живое представление о жизни в Ясной Поляне в 80-х годах, а некоторые бумажки были не лишены остроумия. Они состояли из характеристик яснополянских жителей, из описания мелких происшествий, из номеров газет «Яснополянские ведомости» и «Вольный дух», из намеков, игры слов, плохих стихов и т. п. Часть была на-

писана по-французски, по-английски и даже по-немецки. Разумеется, самые интересные «бумажки» были написаны Львом Николаевичем. Они опубликованы в «Воспоминаниях» моего брата Ильи и в Юбилейном издании сочинений Л. Н. Толстого, т. 25.

В то время отец особенно живо чувствовал разницу между жизнью нашей семьи и трудового народа. В «Скорбном листе душевнобольных яснополянского госпитали» упоминаются 23 номера душевнобольных, большинство которых страдает «блехинизмом», или «манией блехинно-банковской». Этой манией страдал настоящий сумасшедший — нищий крестьянин Григорий Федотов Блехин. О нем отец упоминает в своей статье «Так что же нам делать?» В 34-й главе этой статьи он сравнивает уверенность праздных и богатых людей в том, что они вправе, не работая, пользоваться трудом других людей, с манией душевнобольного Блехина.

Блехин нередко приходил в Ясную Поляну, где я не раз его видел. Там ему давали поесть, а иногда несколько копеек. Это был человек лет пятидесяти, худой, среднего роста, с короткой русой бородкой. Одет он был в какие-то странные лохмотья; зимой на нем был рваный полушубок и какая-то тряпка вместо шарфа, летом — нечто бывшее, вероятно, женской кофтой. Засаленную шапку и стоптанные валенки он носил и летом и зимой. Повидимому, он никогда не мылся. Это был смиренный сумасшедший. Он не сердился, когда над ним смеялись, а когда ему говорили, что он сумасшедший и несет вздор, он только снисходительно и хитро улыбался. Говорил он спокойно, не повышая голоса, но с большим достоинством. Родом он был из дальней деревни Лисьи Прияры, был женат, но дома почти не бывал, хозяйством занимался его брат. Лисьи Прияры он называл своим именем. Про него говорили, что он когда-то был нормальным человеком, служил у одного провиантского чиновника в качестве рассыльного и сошел с ума после побоев, нанесенных ему в драке.

В «Скорбном листе» так изложена мания Григория Блехина: «№ 22. Князь Блехин. Военный князь, всех чинов окончил, кавалер орденов Блехина. Пункт помешательства один: что другие люди должны работать для него, а он — получать деньги, открытый банк, экипажи, дома, одежду и всякую сладкую жизнь и жить только для «разгулки времени». Что жизнь его, князя Блехина, «для

разгулки времени», а всех других трудовая, объясняет князь Блохин весьма последовательно тем, что он «окончил всех чинов», жизнь же праздная других ничем и никак им не объясняется».

Кроме «Скорбного листа», в почтовый ящик были опущены несколько более или менее удачных характеристик жителей Ясной Поляны разных авторов на следующие темы: кто чем доволен и недоволен, кто чем занимается, кто чем жив, кто когда мертв, кто чем хочет казаться и что он в душе и что для других людей, у кого какие идеалы, в чем для кого ад, что от кого родится, кто как играет в крокет, кто как играет в винт и кому какие стихи поэтов подходят.

Выяснить — кто авторы этих характеристик в настоящее время трудно. К тому же некоторые написаны коллективно. Ниже я привожу некоторые из этих характеристик «Скорбного листа».

1. *Лев Николаевич*. «Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами Weltverbesserungswahn¹. Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость без обращения внимания на слушателей. Частые переходы от злости к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвоими и ненужными работами: чищение и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые поглощали бы силы больного».

Автор — сам Лев Николаевич, но он писал здесь не то, что думал о самом себе, а то, что, по его мнению, думали о нем другие. Он не мог думать, что он осуждает всех, кроме себя; из его дневников, из статьи «Так что же нам делать?» и из его разговоров видно, что он прежде всего осуждал самого себя. И разумеется, он не хотел, чтобы окружающие были равнодушны к его речам.

«Кто чем доволен и недоволен? Л. Н. недоволен собою, недоволен всем родом человеческим. Стремится к улучшению со всех сторон. Прислугой всегда доволен, часто

¹ Страсть исправлять мир.

недоволен детьми, а судьбою? Неизвестно даже самым близким людям. Недовольство собою делает его снисходительным, мягким, понимающим все и вся. Довольствие — как бы сказать... автор затрудняется. Лучше не будем описывать чувств, а разберем выражение лица: углы губ опущены, губы сжаты. Глаза, о боже! стынет кровь, вспомнив эти глаза. Прямо, холодно, строго глядят они, даже цвет их меняется, что-то стеклянное. И тот, на кого они глядят, чувствует безмолвный укор: ты презрени — выражают они; ты жалок, ничтожен, ты никогда не поймешь назначения жизни, ты слаб... Иди косить! — добавляют они. И тот, к кому это обращено, в самом деле чувствует себя ничтожным, слабым, маленьким. Стыдно и неловко делается, и невольно отводишь свой взгляд от этих глаз, и вдруг чувствуешь облегчение, освобождение от ига. За что? Что я сделал, спрашиваешь себя. Чем же его жизнь так лучше, так выше моей? И опять с смелостью оборачиваешься, готовясь храбро встретить безмолвный укор. Но нет, напрасно. Сила стекла, правды и холода страшно сильна. Опять и опять съезживаешься, стыдишься и уничтожен, придавлен своей пустотой.

Занимается Л. Н.: внушением другим умственных идей. *Он жив* тем, что будто бы нашел разгадку жизни. *Он мертв* тогда, когда едут в Москву и когда в Москве, выходя гулять, получает разные грустные впечатления. *Он хочет казаться* аскетом, проповедником. В душе добрый, страстный. Для других тяжел, но не вреден. *Его идеал:* нищета, мир и согласие, сжечь все, чему поклонялся, и поклоняться всему, что сжигал. *Ад* для него: когда вокруг роскошь, злословие, ездят, по примеру Пипи Долгоруковой, по Щербатовым, заставляют на себя работать с уверенностью, что так должно быть. *Родятся* от него книжки и мужики у крыльца. *Играя в винт*, думает, что ремизов не существует. *В крокет* играет самоуверенно и недурно. Стихи, к нему подходящие: «Провозглашать я стал любви и правды чистое ученье»¹.

Софья Андреевна, по «Скорбному листу» № 2, «находится в отделении смиренных, но временами должна быть отделяема. Большая одержима манией *petulanta toropigis maxima*»². Пункт помешательства в том, что больной

¹ Автор этой характеристики, вероятно, Т. А. Кузминская.

² Необузданная, стремительно-торопливая мания.

кажется, что все от нее всего требуют и она никак не может успеть все сделать. Признаки: разрешение задач, которые не заданы; отвечание на вопросы, прежде чем они поставлены; оправдание себя в обвинениях, которые не деланы, и удовлетворение потребностей, которые не явлены. Больная страдает манией блохино-банковской. Лечение: напряженная работа. Диета: разобщение с легкомысленными светскими людьми. Хорошо тоже действуют в этом случае в умеренном приеме воды Кузькиной матери.

Довольна собой только вполовину, детьми — вполовину, людьми — вполовину; судьбой довольна; когда же недовольна собою, две складки делаются на лбу, глаза глядят быстро, даже, скажу, сердито, и лучше отойдем, оставим ее, а то как раз попадешь в опалу. Когда же она довольна собой, то, читатель, идите, спешите к ней. Приятнее, добрее, милее трудно найти женщину: все глядит ласково. Движения делаются мягки. Куда пропали две складки на лбу, глаза оживились, и улыбка спокойная и добрая не сходит с уст ее. И когда приходит невзначай из того дома тетя Таня, то она говорит ей: «Танюшка, посидите со мной, я вас совсем не вижу, я тут все утро куртки малышам крою». Тетя Таня как услышит этот голос, то не то, что сидеть, а все, все готова для нее сделать.

Она *занимается*: кальсончиками, грибами и малышами. Она *жива* тем, что она жена знаменитого человека и что существуют такие мелочи, как, например, земляника, на которые можно тратить свою энергию.

Она *мертва*, когда малышечки больны и когда Илья в бабки играет.

Ее идеалы: Сенека, иметь 150 малышей, которые никогда бы не становились большими.

Ад для нее: вульгарность, болезнь детей, необходимость самой решить какой-нибудь важный вопрос или шаг в жизни.

От нее родятся: суета, обеды, завтраки, большие и малые дети, платье на рост и бабы и большие у крыльца.

Играя в *винт*, слишком боится ремизов. Она лучше бы играла, если бы не так боялась проиграть.

Стихи, к ней относящиеся и ей посвященные: «И вот портрет, и схоже и не схоже» (А. Фет).

Татьяна Андреевна Кузминская, по «Скорбному листу» № 6. «Больная одержима манией, называемой

mania dominica complicata¹, встречающейся довольно редко и представляющей мало вероятности исцеления. Больная принадлежит к отделению опасных. Происхождение болезни: незаслуженный успех в молодости и привычка удовлетворенного тщеславия без нравственных основ жизни. Признаки болезни: страх перед мнимыми личными чертами и особенное пристрастие к делам их, ко всякого рода искушениям: к праздности, к роскоши, к власти, забота о той жизни, которой нет, и равнодушие к той, которая есть. Больная чувствует себя постоянно в сетях дьявола, любит быть в его сетях и вместе с тем боится его. Больная в высшей степени страдает повальной манней блохинизма. Исход болезни сомнителен, потому что исцеление от страха дьявола и будущей жизни возможно только при отречении от дел его. Дела же его занимают всю жизнь больной. Лечение двойное: или совершенное предание себя дьяволу и делам его, с тем чтобы больная извела горечь их, или совершенное отчуждение больной от дел дьявола. В первом случае хороши бы были раньше два больших приема компрометирующего кокетства, два миллиона денег, два месяца полной праздности и привлечение к мировому за оскорбление. Во втором случае: три или четыре ребенка с кормлением их, полная занятий жизнь и умственное развитие. Диета — в первом случае: трюфеля и шампанское, платье все из кружев, три новых в день. И во втором — щи, каша, по воскресеньям сладкие ватрушки и платье одного цвета и покроя на всю жизнь.

На редкость довольна собою и всеми. В исключительных случаях недовольна собою. Ее это так возмущает, так удивляет, что она ищет в этом виноватых, но не находит. Обвиняет всех, и тогда, о читатель благородный, уйдите от нее, чтобы не слышать призывания Сысойчика¹ со всей его родней и не видеть красного, раздраженного, безобразного лица.

Занимается она — спорами. Жива тем, что она умеет нравиться, веселиться и заставить себя любить. Мертва — когда Александр Михайлович уезжает из Ясной. Она хо-

¹ Условно женная демоническая мания.

² Сысойчик — по рассказу Льва Николаевича, написанному для почтового ящика, это — «не главный дьявол, а один из обычных». Рассказ написан в насмешку на привычку Татьяны Андреевны часто упоминать черта и посылать к черту всех и вся.

чет казаться пустой и злой. В душе искренняя и сердечная женщина. Для других или очень приятна, или ужасна. *Ее идеал*: вечная молодость и свобода женщин. *Ад* для нее: когда давно некого было побранить, когда ее девицы занимаются фривольными занятиями или разговорами, когда не с кем спорить, когда уверяют, что она и женщины вообще ничего не делают, когда покушала крошки, когда спать хочется и надо разговаривать и, наконец, когда преподобный¹ уезжает. От нее *родятся*: кексы, пироги с вареньем, хорошенские девочки и мальчики. Во время игры *в винт* смотрит безучастно в сторону, но когда ей не мешают интересные разговоры, играет порядочно. Во время шлемов очень оживляется. Выиграть любит.

К ней приложимы *стихи*: «И нас за могильной доскою, за миром явлений не ждет ничего» (Баратынский)².

Сергей Львович, по «Скорбному листу» № 7. «Больной одержим манией, называемой «пустобрех» universitellus liberalis³. Больной принадлежит к отделению не вполне смиренных. Признаки общие: желание знать то, что знают другие люди и чего ему самому не нужно знать, и нежелание знать то, что ему нужно знать. Признаки частные: гордость, самоуверенность и раздражительность. Больной не вполне еще исследован, но подвержен, кроме того, в сильнейшей степени мании князя Блохина. *Лечение*: вынужденная работа, а главное — служба или любовь, или то и другое. *Диета*: меньше доверия к знанию и больше исследования приобретенных знаний.

Спокойно относится к себе и к судьбе. Есть случаи, когда он *доволен* собой, напр., читал свой детский дневник и сделал губы корзиночкой, глаза приняли такое наивно-детское выражение, когда он читал след. строки: Monsieur, monsieur, j'ai attrapé un rat. Il était dans la soucière disait la ménagère⁴, что не то, что он сам, но весь мир остался бы им доволен.

Он *жив* тем, что думает когда-нибудь зажить иной

¹ Преподобный — прозвище доктора Лазарева, посетившего Ясную Поляну.

² Намек на разговоры о загробной жизни, волновавшие Татьяну Андреевну.

³ Университетский, либеральный; латинская формулировка не-правильна.

⁴ Господин, господин, я поймала крысу. Она в мышеловке, — сказала хозяйка.

жизнью. Он *мертв* тем, что Алена уехала¹. Играет в *винт* и проигрывает, особенно с плохим партнером, все взваливает на партнера. Потому — неприятен. Подходящие ему *стихи*: «Отрядом книг уставил полку, читал, читал, и все без толку» (А. Пушкин).

Татьяна Львовна, по «Скорбному листу» № 10. «Большая одержима манией, называемой «Капнисто-Мещериана»² simplex³, состоящая в совершенном прекращении всякой умственной и духовной деятельности и в страстном ожидании звонков у дверей или под дугой для возбуждения жизни посредством тщеславия. Признаки общие: сонливость, невнимание ко всему окружающему или сверхъестественное возбуждение. Подчинение своей воли воле других людей, по летам и развитию стоящих ниже себя. Признаки частные: порывистые и судорожные движения ног при звуках музыки, причем особенное искривление плеч и стана. Больная подвержена сильно князь-блехинской эпидемии. *Лечение*: раннее вставание, физический труд, ежедневно до сильного пота; правильное распределение дня для умственного, художественного и физического труда и подчинение себя руководителю. *Диета*: отсутствие халата и зеркала и угощения. При исполнении этого режима исход болезни благоприятный.

Довольна собой, но не всегда — своими действиями. Всегда *недовольна* своей живописью, изредка — работой; когда, например, сошьет рукав прежде навыворот, потом рукав на одну только левую руку, отчаяние овладевает ею, она хохочет, но этот смех готов перейти в слезы, и она этот рукав дает на исправление тетеньке. Судьбой она довольна. *Занимается* она старанием поссорить Кузминских супругов. Она *жива* тем, что она недурна собою и что существует такое благо, как замужество. Она *мертва*, когда мамаша ее сватает за Федю Самарина. Ее *идеал* — стриженная голова, душевная тонкость и постоянно новые башмаки. *Ад* для нее: когда ей холодно, когда кусают насекомые, когда рядом с ней ухаживают и не за ней; когда ей не верят и когда у нее две дюжины платьев, все

¹ Елена Сергеевна, двоюродная сестра Сергея Львовича.

² М а н и я «Капнисто-Мещериана» — намек на то, что Татьяна Львовна любила бывать в доме гр. Капниста и что она увлекалась красивым светским молодым человеком кн. И. П. Мещерским.

³ Ординарная.

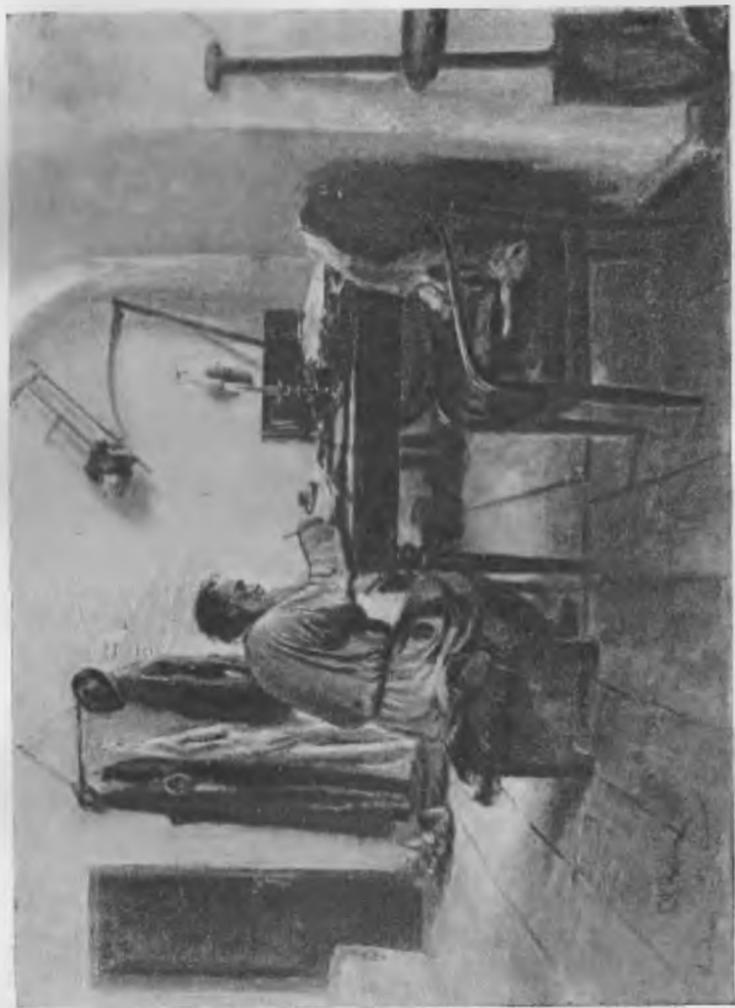
слишком узкие. От нее *рождаются*: топот (?), плохие картины, наряды и веселье попеременно с мрачностью. Подходящие к ней *стихи*: «Московские юноши толпою на Таню чопорно глядят и про нее между собою неблаго-склонно говорят» (А. Пушкин).

Илья Львович Толстой, по «Скорбному листу» № 8. «Mania Prochoris egoistica complicata¹. Больной принадлежит к разряду небезопасных. Пункт помешательства в том, что весь мир сосредоточивается в нем и что, чем ниже и бессмысленнее те занятия, которыми он занят, тем озабоченнее весь мир этими занятиями. Признаки общие: больной не может ничем заниматься, если не присутствует удивляющийся Прохор, но так как удивляющихся прохоров тем меньше, чем выше разряд занятий, то больной постоянно спускается на низшую степень занятий. Признаки частные: больной возбуждается до самозабвения всякими одобрениями и падает до апатии без одобрения. Больной в сильнейшей степени заражен блохинской эпидемией. Болезнь опасна, исход двоякий: первый — или больной привыкнет подчиняться суду низшего сорта — прохоров, постоянно понижаясь по мере легкости их одобрения, второй же — это может отвратить больного, и он попытается найти интерес к деятельности самоудовлетворяющей и независимой от прохоров. Лечение невозможно. *Диета*: воздержание от общества людей, стоящих ниже по образованию.

Занят спаньем и охотой. *Жив* надеждой на семейное счастье. *Мертв* тем, что греческая грамматика наступает. *Идеал* его в том, чтобы тщательно скрыть ото всех, что у него есть сердце, и делать вид, что убил сто волков. От него *родится*: собачий лай, пороссячий визг, много чертыханья и все-таки много любезного людям. Играет в *крокет* метко и сильно, но горячится, шалит, и поэтому шар его перепрыгивает через цель и редко попадает. В *винт* лучше бы играл, если бы не так желал выиграть. *Стихи*, ему подходящие: «Не хочу учиться, хочу жениться» (Фонвизин).

События, упоминаемые в почтовом ящике, — все самые обыденные мелкие факты: приезд и отъезд гостей, пикники, рассказы о том, как у четырех девиц, схавших в тележке, распряглась лошадь и ни одна из них не сумела

¹ Манья прохоровского сложного эгоизма.



*Л. Н. Толстой в своем яснуюлянском кабинете под сводами в 1891 году
(Картина Н. Е. Репина)*

ее запрячь, как во время другой поездки переломился валеk у пристяжной, как цыпленок завяз в смокве и вылетел из окна с прилипшим к нему блюдечком со смоквой, как молодежь паслась на малине и крыжовнике и как старшие были этим недовольны и т. д.

Веселые заметки вызвал случай с турнюрой, оброненной одной из наших дам по дороге на купальню и найденной А. М. Кузминским с сыном Мишей. По этому поводу были даже написана поэма. Насмешки вызвало также поругничество Файнермана, неудачно скроившего брюки для Льва Николаевича.

Отец интересовался почтовым ящиком и, кроме «Скорбного листа», написал еще несколько заметок. В заметке «Из Русской Старины 2083 года» он подразумевает под двумя сумасшедшими семействами — нашу семью (Толстых) и семью Кузминских, а под несумасшедшими — семейства крестьян Ясной Поляны.

Довольно резкое возражение вызвал следующий вопрос, предложенный Львом Николаевичем в почтовом ящике: «Почему Устюша, Алена, Петр и пр. должны печь, варить, мести, выносить, подавать... а господа — есть, жрать, сорить, делать нечистоты и опять кушать?»

Влияние Льва Николаевича сказалось и в следующих заметках: «Сего 7-го июля заколоты были в обоих домах 13 цыплят. 8 июля в один дом привезен баран, в другой — солонина. 9 июля: придушены в двух домах 6 кур и 2 цыпленка. 10—11—12 июля: привезено в оба дома 30 ф. ростбифа, пуд бульонной говядины, 2 курицы, 7 цыплят и теленок в 70 фунтов. Общество вегетарианцев как будто не существует».

«Да здравствует говядина, телятина, солонина, баранина, дичь и все цыплята».

«Расписание яснополянского дня: 10—11 — кофе дома, 11—12 — чай на крокете, 12—1 — завтрак, 1—2 — опять чай на крокете, 2—3 — занятия, 3—5 — купанье, 5—7 — обед, 7—8 — крокет и катанье на лодке, 8—9 — маленький чай, 9—10 — большой чай, 10—11 — ужин, 11—10 утра — спанье. А еще говорят, что мы мало работаем, да ведь так чахотку наживешь!»

Произведения почтового ящика не ограничивались яснополянскими сюжетами. Были и не имеющие отношения к нашей жизни. Например, таковыми были: очерк о Крюднер, написанный Н. Н. Страховым, воспоминания

Я. И. Головина (соседа по Ясной Поляне) о Турецкой войне под заглавием: «Отсталая и не современная корреспонденция, но тем не менее интересная», и др.

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ И САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ

В июле 1888 года я поехал в имение Олсуфьевых Никольское-Горушки (Обольяново), Дмитровского уезда, к своим товарищам Михаилу и Дмитрию Олсуфьевым, где они проводили лето.

Дмитрий Адамович, так же как и я, недавно окончил курс естественных наук. В то время он был под обаянием своего соседа Д. И. Менделеева, жившего в своем имении в Клинском уезде. Он недавно ездил к Менделееву, собиравшись еще раз поехать и легко уговорил меня поехать вместе с ним. Сделав верст двадцать пять по живописной местности, мы подъехали к красивому барскому дому. Это был дом Менделеева, но он жил не здесь. В этом доме жила его первая жена со своей семьей. Сам же он, вместе со второй женой, жил в версте отсюда, в другом, новом каменном доме, им самим выстроенном. Туда мы и направились.

Дмитрий Иванович любезно принял нас. Какое впечатление должен был он произвести на меня, недавно окончившего курс естественника, увлекавшегося химией и знавшего, что Менделеев был в то время первым химиком в мире? Очевидно, я смотрел на него с восхищением и подобострастием: но не только поэтому я подпал под его влияние; он был на самом деле обаятельным человеком... Виден был большой ум, чувствовалась большая жизненная энергия. Он любил говорить и говорил горячо и образно, хотя не всегда гладко. Он крепко верил в то, чем в данное время увлекался, и не любил возражений на свои, иногда смелые, парадоксы. Этим и некоторыми другими чертами он мне напоминал моего отца. Между прочим, он жалел, что мой отец пишет против науки. Я сказал, что отец восстает не против науки, а против привилегированного положения ученых. Менделеев с этим не согласился и говорил: «Нет, он пишет против науки».

В то время Менделеев увлекался вопросом о прогрессе промышленности в России. Незадолго перед этим Эдинбургский университет поднес ему докторский диплом

honoris causa. Он нам рассказал, что в Эдинбурге, в торжественном заседании университета, он прочел свою лекцию, как полагается новому доктору, в средневековом костюме доктора — в тоге и угольчатой шапочке, но по-русски. Никто, конечно, его не понимал, но все слушали с уважением. Затем был прочитан английский перевод его лекции¹.

Мы попросили Дмитрия Ивановича показать нам его докторский костюм. Он охотно это сделал и даже надел его. Синие-малиновая тога, угольчатая шапочка, густые космы седых волос, торчащие из-под шапочки, суровое лицо Дмитрия Ивановича, обрамленное большой бородой,— все это под толстыми сводами его кабинета и на фоне голой белой стены напомнило нам средневекового алхимика. Мы невольно улыбнулись. Менделеев выказал себя большим патриотом; в его мечты входили не только благосостояние и культурное развитие России, но и величие России как государства. Затем разговор перешел на развитие промышленности в России и особенно в Донецком крае, куда Дмитрий Иванович недавно ездил.

«Россия должна быть не столько земледельческим, сколько промышленным государством,— говорил он,— ведь полгода зимой в России нечего делать земледельцу. Промышленность должна приблизиться к деревне. Россию надо покрыть сетью мелких заводов, работающих преимущественно зимой, так чтобы крестьяне имели зимний заработок».

Он был в восторге от развития промышленности в Донецком крае.

«Этот край имеет громадную будущность,— говорил он,— это будет русский Манчестер и Шеффилд. Только нужно вложить туда капиталы и развить пути сообщения. Не надо стеснений для промышленности. Вот, например, у нас запрещают женщинам работать в шахтах. Это неправильно: женщинам легче сгибать позвоночный столб, чем мужчинам, пусть же и они работают в шахтах».

Когда я на это попробовал возразить, Дмитрий Иванович ответил мне уже несколько раздраженно, что он

¹ Несколько лет спустя мне пришлось видеть в учебной библиотеке женского университета в Кембридже перевод «Основ химии» Менделеева (а также «Аналитическую химию» Меншуткина); эти книги использовались в Англии как учебные руководства.

против нарушения свободы труда. Я замолчал и предпочел его слушать.

«Правительство должно умножить и улучшить пути сообщения Донецкого края,— продолжал он.— Донец считается судоходным, и на нем запрещено строить плотины, но для судоходства по Донцу ничего не сделано — русло не углублено, не очищено от карчей, знаки не поставлены и т. д., и даже неизвестно, какие там мели и перекаты, неизвестно даже, какие суда могли бы там ходить. Правительство чрезвычайно скупо тратит деньги на водные сообщения, печать этими вопросами не занимается, вообще мало кто этим интересуется. Следовало бы кому-нибудь, прикосновенному к литературе, поехать туда, осмотреть нарастающую донецкую промышленность, прокатиться по Донцу, сделать кое-какие съемки и промеры и описать свои впечатления в живой газетной или журнальной статье.

— Вот вы, господа естественники,— неожиданно обратился он к нам,— вы недавно кончили университет, что бы вам это сделать? Поехали бы в Донецкий край, да и написали бы статью».

Еще до поездки нашей к Менделееву Олсуфьев и я собиравшись попутешествовать по России. Поэтому, хотя мы не были «прикосновенны к литературе», предложение Менделеева упало на уже подготовленную почву, и мы выразили готовность поехать. Тогда он, недолго думая, стал намечать план нашей поездки. Он посоветовал нам сначала осмотреть некоторые шахты и промышленные предприятия Донецкого бассейна, а затем проплыть по Донцу до Лисичанска до впадения Донца в Дон.

«Промеры,— говорил он,— можно делать приблизительно. Если правительство займется урегулированием русла Донца, туда будут посланы инженеры; они, конечно, произведут точные измерения. Судоходству мешает не столько мелководность Донца, сколько карчи, мельницы, выстроенные там противозаконно, отсутствие судостроительства, изменчивость русла Донца, наносы его притоков. На это надо обратить внимание. Но и это не так важно. Нужно главное: показать, что судоходство по Донцу возможно и необходимо. Подумайте, господа, Донец своей длиной равняется Рейну — около 1000 верст! А суда по нему не ходят».

Дмитрий Иванович еще много и интересно говорил

нам о будущности Донецкого края и о необходимости развития промышленности в России. Эти мысли изложены в его статье «Будущая сила России, покоящаяся на берегах Донца», напечатанной, кажется, в 1889 году в «Северном вестнике».

Мы усхали, очарованные Дмитрием Ивановичем и увлеченные нашей предполагаемой поездкой.

Россия так мало известна нам, решили мы, что нам следует поехать, особенно с такой интересной целью.

Вскоре после моего возвращения в Ясную Поляну я получил следующее письмо от Д. Олсуфьева:

«Вчера после твоего отъезда написал Менделееву письмо... подтвердил ему наше согласие с тобой ехать на Донец и просил составить маленькую письменную инструкцию. Вот письмо Д. И., которое сегодня привез мне мой посланный:

«М. Г. Дмитрий Адамович, рукопись и книжки я получил исправно, и больше, чем им, обрадовался Вашему письму, в котором Вы подтверждаете охоту ехать с гр. Толстым на Донец. Очень это может быть полезно. Рад от души, и все, что надо, сделаю, напишу и скажу, и подстрою, сколько могу с моей стороны. Только срок дайте, теперь не время мне. А между тем Вы можете кое-что подготовить; особенно было бы полезно Вам почитать о Донецком крае, где можно. Опять укажу на книгу Лепле — перевод Н. Шуровского, — достанете в Москве, если не в продаже, то в библиотеках. Статей-то много, но их где собрать, а такой обстоятельной книги, как Лепле, другой нет. Поищите тоже, что можете достать (много отличных статей о Волге, Доне, Днепре найдете в «Инженере» — журнал Минист[ерства] путей сообщения за последние 4 года), об реках, их уровнях, перекатах, мелях. Есть отличные исследования Гарина о Днестре в журнале М. П. С. Полезно тоже хоть немного поупражняться с нивелированием, барометром и нивелиром, но это не особо важно и скорее стеснит в пути, потому что главное известно, а подробности меняются. Важнее всего узнать кое-что об углях и с геологической, и с химической, и с технической стороны. Это легко найдете. Иностраннных книг много. Возьмите хоть какую-нибудь техническую энциклопедию... К сожалению, здесь у меня ничего нет под руками.

Еду в Питер в воскресенье и оттуда непременно напишу, как Вы желаете, если поеду на Кавказ.

Засим почтение и поклон Вашему папе.

Преданный Вам *Д. Менделеев*.

Видишь, какое милое письмо. Надо нам с тобой встряхнуться и приняться за подготовительные работы».

Сказано — сделано. Мы отправились 28 июля того же 1888 года. К нам присоединился наш приятель, бывший студент, Михаил Николаевич Орлов, молодой человек атлетического телосложения, прямой и энергичный, добрый товарищ и охотник, вичатный племянник декабриста М. Ф. Орлова по отцу и внук декабриста Кривцова по матери. Впоследствии он был земским деятелем в Саратовской губернии.

Согласно совету Менделеева, решено было прежде всего посетить шахты и промышленные предприятия Донецкого края. Это было особенно заманчиво потому, что Дмитрий Иванович дал нам несколько рекомендательных писем и, следовательно, мы имели возможность видеть много из того, что туристы обыкновенно не видят.

Первая шахта, в которую мы спустились, была угольная шахта Шеермана, интеллигента немецкого происхождения, составившего себе состояние на угле. Черные лица шахтеров, с любопытством оглядывавшие нас, блестящие белые белки их глаз, глухие удары кирки, грохот вагончиков, мокрота, копоть от бесстекольных ламп и тяжелый запах — вот впечатление шахты. В сущности работа на шахте в то время была своего рода каторжной работой, а в шахте Шеермана мало что было сделано для облегчения этой работы. Помню, как прерывисто работала машина, опускавшая нас в шахту, как в продольной галерее все время как бы шел мелкий дождь, как было душно и сыро в штреках.

Следующая шахта была крестьянская — кустарная. Я решил спуститься в нее. Лошадь приводила в движение ворот, а ворот опускал на дно шахты кадку и поднимал ее оттуда. Я сел верхом на эту кадку и спустился на глубину семнадцати сажен по узкому колодцу, то и дело хватаясь за стенки шахты, направляя движение кадки. Дно колодца, где брали уголь, было расширено во все стороны. Крепей не было. Вылез я оттуда черный, как трубочист, и мокрый, как губка. Сравнительно с этой

примитивной организацией шахта Шеермана показалась мне комфортабельной.

Затем мы поехали Бахмутские соляные копи и спустились в шахту инженера Летуновского. Какая противоположность угольным шахтам! Исправная паровая машина спустила нас без толчков на стосаженную глубину; нырнув вниз, во мрак шахты, мы не почувствовали, что двигаемся: так плавно мы спускались. Через несколько секунд мы остановились в хорошо освещенном электричеством обширном помещении. Отсюда шли во все стороны высокие сводчатые галереи четырнадцати сажен высоты и двадцати сажен ширины, теряясь во мраке. Соляные своды настолько прочны, что при выработке соли крепи не нужны; выработанные копи не заваливаются, и они остаются на многие годы, если не навсегда, в виде бесконечных галерей; с годами эти галереи образуют многоверстный лабиринт, в котором легко можно заблудиться. В соляных копиях воздух чист, сух и ровен; в Бахмутских копиях держится постоянная температура в 11°. Менделеев говорил, что там мог бы быть устроен санаторий для легочных больных. В главной, ярко освещенной галерее стояла фисгармония. Я сыграл на ней С-мольную прелюдию Шопена: она прозвучала, как орган в соборе. Мы прошли на место выработки соли и присутствовали при взрыве соли динамитом. Спрятавшись в ниши, нарочно для этого устроенные, мы видели, как громадные куски соли с страшной силой летели вдоль по галерее. Звук был так силен, что нам посоветовали открыть рот, чтобы не оглохнуть.

Были мы также на ртутном заводе Ауэрбаха. Интересно возникновение этого предприятия. Однажды инженер Миненко, ища уголь в Донецком крае, увидел в одном селе вкрапленную в каменные стены заборов красную киноварь. Осведомившись, откуда взят этот камень, он нашел место, где были заметны следы каких-то древних раскопок. Его исследования показали, что в этом месте кто-то когда-то выкапывал ртутную руду, но лишь до той глубины, где начинается подпочвенная вода. Ниже руда оказалась нетронутой, хотя не особенно богатой содержанием ртути. Выяснилось, что выработка ртути здесь производилась в средние века венецианцами. Не зная паровой машины, они не могли откачивать воду и брали руду лишь на той глубине, где вода не мешала их работе. Миненко

энергично взялся за дело, привлек своего товарища Ауэрбаха, нашел нужный для дела капитал, выстроил ртутный завод и из сравнительно бедной руды стал добывать $\frac{1}{7}$ всей ртути, ежегодно добываемой на земном шаре.

Пользуясь рекомендательными письмами Менделеева, мы посетили еще некоторые заводы и шахты, знаменитую Юзовку (ныне Сталино), соляные заводы Славянска и др., а также Святогорский монастырь, расположенный в очень красивой местности среди бора, на берегу Донца. Вообще мы вынесли много интересного и поучительного из осмотра Донецкого края и не пожалели, что последовали совету Менделеева.

Согласно предположенному плану, мы должны были после осмотра промышленности Донецкого края проплыть по Донцу от Лисичанска, небольшого города Харьковской губернии, до впадения Донца в Дон, производя приблизительные промеры перекатов, отмечая притоки Донца, мельницы и мосты, селения на берегу, быстроту течения и пр. В Лисичанске мы купили лодку — тяжелый плоскодонный баркас, весла и парус, достали размеченную палку для измерения глубин и наняли одного шахтера, по имени Григорий, на довольно неопределенные дела; ясно было только то, что он должен был плыть и грести вместе с нами. Забегая несколько вперед, скажу, что шахтер этот оказался сумрачным, вечно недовольным и слабосильным человеком.

Днем 15 августа мы поплыли. Дни стояли ясные, небо было темносинее, южное, солнце прожигало нас насквозь, ночью было прохладно, и за все 10 дней нашего плавания дождя не было.

Медленное течение Донца мало нам помогало, ветер был против нас, и мы не могли пользоваться парусом; приходилось все время сильно грести. Мы грести попарно, сменяясь приблизительно каждый час. Берега Донца в некоторых местах красивы; правый берег холмист, кое-где еще сохранились редко растущие развесистые дубы. Но большей частью леса вырублены: на их месте росли густые кусты и высокий бурьян.

В одном месте нас поразила прекрасная пшеница, росшая на чистом песке. Оказалось, что богатый донецкий чернозем был засыпан тонким слоем песка, нанесенного ветром. Урожай последующих годов на таких местах ухудшается очень быстро, так как слой песка утолщается и в

конце концов там, где был чернозем, со временем обрабатывается песчаная пустыня. Происходит это от вырубки лесов. Так хищническое хозяйство губит почву.

От Лисичанска до впадения в Дон Донец считался судоходным, и на нем было запрещено строить мельничные плотины и постоянные мосты. Однако едва ли в то время пароход или даже барка могли пройти по Донцу. Запруд не было, но мельниц было много. Эти мельницы, называемые в тех местах байдаками, были построены в узких местах; часть реки, не занятая мельницей, была загорожена плетневой плотиной, что ускоряло течение воды. Протискиваться даже в лодке около этих мельниц было нелегко, и нередко нам приходилось вылезать из лодки и вплавь или по горло в воде отыскивать проход для лодки, а это было довольно трудно, так как в этих местах течение было быстрое. В других местах мы встречали раздвижные мосты, которые не раздвигались, и нам приходилось переносить свою лодку. Все это очень замедлило наше движение, так что в день мы делали не более 20—25 верст.

Все девять ночей нашего плавания мы ночевали под открытым небом. Мы приставали к песчаной отмели, собирали сухие дрова, разводили костер, варили кашу и рыбу, купленную у рыбаков, и располагались спать на кошме (род войлочного ковра) под бурками. Я с удовольствием вспоминаю эти ночевки. Орлов хлопотал у котелка, шахтер Григорий и я собирали дрова и разжигали костер, а Олсуфьев любовался небом и декламировал стихи.

Мы проплыли мимо только одного города — заштатного города Славяносербска. Олсуфьев и я пошли посмотреть, что это за местечко, а кстати и пообедать. Орлов же раскис от жары и остался в лодке. Солнце жгло немилосердно, ставни во всех домах были закрыты, на улицах — никого. Насилу набрали мы на какого-то сонного прохожего. На вопрос, где здесь можно пообедать, он указал нам на дом с закрытыми ставнями, такой же, как и прочие дома, — никакой вывески на нем не было. Мы постучались. Поднялся свирепый собачий лай, и из-за ворот женский голос спросил: кто это? Мы жалостливо попросили накормить нас обедом; калитка открылась, и мы увидели замечательно красивую женщину, одетую по-малороссийски. Это была как бы живая иллюстрация к «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Она нас ввела в

полутемную прохладную комнату, убранный коврами, и через некоторое время подала простой, но вкусный обед. Все время, кроме нее, никого в комнате не было; только перед нашим уходом вышла довольно безобразная старуха и предъявила нам счет.

В Луганской станице мы решили передохнуть и провести дня два. Здесь мы были уже в Области войска донского. Оставив при лодке нашего шахтера, мы толкнулись наугад в одну беленькую, чистенькую хату. Казак хозяин радушно нас принял, и мы расположились ужинать. Не прошло и получаса, как к нам явился молодой казак в мундире, местный сотник, и потребовал, чтобы мы предъявили ему свои документы, что мы и сделали. Поужинав, мы стали устраиваться на ночлег. Орлов лег на кровать, а мы двое на полу, на кошме. Орлов уже заснул, когда к нам постучались в дверь, и явился сам атаман Луганской станицы, в мундире, застегнутом на все пуговицы.

— Честь имею представиться, атаман Луганской станицы, — сказал он торжественно и официально.

Мы попросили его сесть. Он сел и стал учтиво и осторожно расспрашивать нас — зачем и куда мы едем. Мы постарались ему объяснить, что интересуемся краем, что хотим исследовать — судоходен ли Донец и что, кстати, мы не прочь поохотиться.

— Не посоветуете ли вы нам, — спросили мы его, — куда бы завтра пойти поохотиться?

Атаман выслушал нас со скучающим видом и, очевидно, не поверил ни одному слову из того, что мы говорили, он понял только одно — что мы хотим поохотиться.

— Это я вам устрою, — сказал он, — я завтра пришлю вам нашего сотника, у него есть собака и ружья, и он знает места, где водятся куропатки.

Перед уходом атаман любопытствовал узнать, который из нас Орлов. В это время Орлов, лежа на кровати, сильно храпел. Мы указали на него. Атаман внимательно посмотрел на него и, почтительно простившись, вышел.

Рано утром на другой день к нам пришел тот же сотник, который накануне спрашивал наши документы, с собакой, ружьем для себя и двумя ружьями — для Олсуфьева и меня; у Орлова было свое очень хорошее ружье. Сотник повел нас по пустынным берегам Донца, поросшим мелким кустарником и густой травой. Была ли эта земля покосом, пастбищем или лесом — трудно сказать. Видно, у

казаков земли много, и они могли позволить себе роскошь не обращать в культурную площадь большие пространства.

Куропаток оказалось гибель. Мы подняли не менее двадцати выводков и убили штук двадцать пять. В дальнейшем нашем путешествии эти куропатки очень обогатили наши ужины. Усталые, мы вернулись в нашу хату, купили несколько бутылок донских «выморозков» и вместе с сотником сели ужинать. Сотник оказался добродушным малым, выморозки его подбодрили, и он перестал стесняться. Уходя, он обратился к Орлову с просьбой поговорить с ним наедине. Орлов вышел вместе с ним в сени. Тогда сотник с таинственным видом спросил его:

— Позвольте вас спросить, не вы ли будете великий князь Михаил Михайлович?

Орлов рассмеялся.

— Нет, с чего вы это взяли?

— Ради бога, — умолял сотник, — скажите мне. Я никому этого не открою. Ведь вы — великий князь?

Тогда Орлов вошел в избу, перекрестился перед иконой и сказал:

— Вот вам крест, что я не великий князь Михаил Михайлович.

Сотник с тем и ушел, но, как оказалось, разубедить его не удалось.

Утром мы поплыли дальше. Наш шахтер Григорий рассказал нам, что казаки все допытывали его, кто мы и зачем едем. Они говорили, что, наверное, Михаил Николаевич Орлов это великий князь Михаил Михайлович. Ведь в газетах написано, что Михаил Михайлович проехал на Кавказ; наверное, он проездом заехал на Дон. А один гвардейский казак сказал, что он видел Михаила Михайловича в Петербурге и что у него так же, как у Орлова, нет левого мизинца. Стало быть, Орлов и есть великий князь. Такое утверждение казака было очевидно ложно. Правда, у Орлова левый мизинец отсутствовал — он когда-то нечаянно отстрелил его, держа руку над дулом ружья, — но у великого князя Михаила Михайловича оба мизинца были невредимы, в чем я впоследствии по справке убедился. Но довод был неопровержим.

Некоторые другие обстоятельства могли утвердить казаков в их подозрении. Во-первых, Орлов был большого роста и атлетического телосложения; очевидно, он рода не простого. Во-вторых, у него прекрасное ружье, а у нас

ружей не было. В-третьих, что это за фамилия «Орлов»? Это, очевидно, простой, но внушительный псевдоним. Имя свое менять грешно, своего имени — Михаил — он и не переменял, а фамилию переменял. В-четвертых, кто с ним путешествует? Двое титулованных — Толстой и Олсуфьев; это, очевидно, его свита, они-то свои фамилии не посмели изменить. В-пятых, когда пришел сам атаман, спутники Орлова не решились его разбудить, он спал на кровати, а они расположились у его ног на кошме. Наконец, в-шестых и главное — у него нет левого мизинца. Очевидно, он не Орлов, а великий князь Михаил Михайлович.

Так, по всем вероятностям, рассуждали казаки, и ничто разубедить их не могло.

Проплыв несколько часов, мы застряли у одной мельницы. Мнимый великий князь разделся и в голем виде протасил лодку между мельницей и плетневой плотиной. В это время мы заметили, что несколько казаков, одни пешие, другие конные, наблюдали с берега. Очевидно, слух о нас спукался вместе с нами вниз по Донцу.

На другой день мы доплыли до Гундуrowsкой станицы. На мосту нас ждала кучка молчаливых чинных казаков. Впереди стоял атаман с хлебом-солью. С низким поклоном он пригласил нас к себе обедать. Отказаться было невозможно. Обед был обилен и вкусен, но разговор был все время официально-натянутый, и мы постарались как можно скорее удрать.

Мы поплыли дальше. За нами продолжали следить; не раз мы замечали на берегу верховых, следящих за нами. Так доплыли мы до Каменской станицы.

Каменская станица — окружная станица, что соответствовало уездному городу. В ней в то время было тысяч двенадцать жителей. Атаман этой станицы соответствует исправнику в уезде. Здесь, в более культурном центре, думали мы, на нас иначе посмотрят, и наше невольное самозванство выяснится. Мы ошиблись.

В Каменской станице мы уткнулись в мост, на котором стояла толпа народа. Впереди стоял атаман Каменской станицы, почтенный казацкий полковник, в мундире, с медалями на груди и с хлебом-солью в руках. С ним стояло все казацкое начальство станицы: хорунжий, сотники и пр. Что делать? Орлов принял хлеб-соль, а атаман после низкого поклона предложил нам поместиться у него на квартире. Мы сказали, что не хотим его стеснять, и по-

просили нам указать постоянный двор или гостиницу. Атаман настаивал на своем приглашении, но мы решительно отказались. Тогда казаки живо подхватили наши чемоданы, весла, парус, кошму и прочие вещи, и вместе с толпой казаков мы направились в гостиницу — Орлов с атаманом впереди, а мы с хорунжим и сотниками позади. По дороге хорунжий обратился ко мне с таинственным видом и прошептал, показывая на Орлова:

Скажите мне, пожалуйста, будут *они* станичные бу маги осматривать?

Когда я ему ответил, что нет, он облегченно вздохнул. Гостиница оказалась чище и удобнее, чем мы предполагали, и мы в ней ночевали.

На другой день Олсуфьев пошел к свояченице Менделеева, жившей в Каменской станице, с рекомендательным письмом от Дмитрия Ивановича. Свояченица Менделеева, сама казачка, очень смеялась над нашим невольным самозванством, но предупредила нас: «Будьте осторожны, сегодня казаки вам подносят хлеб-соль, думая, что Орлов великий князь, а завтра, если они убедятся, что это неправда, они вас же обвинят в самозванстве. Тогда отношение к вам может круто измениться. Могут, очень просто, и побить вас. Ведь защекотали же казачки до полусмерти землемера, посланного обмерять казачьи леса».

Эти соображения, несносное любопытство казаков и неподобающие почести, оказываемые Орлову и нам,— все это вместе заставило нас отказаться от дальнейшего путешествия на лодке. Мы продали лодку и, простившись с нашим шахтером, сели в первый проходящий поезд.

На обратном пути домой мы заехали в Грушевку и осмотрели тамошние антрацитовые копи. Я не думаю, что могут быть более тяжелые условия работ, чем те, что мы видели в копиях Кошкина. В этих копиях мощность пласта очень невелика, не более аршина; поэтому штреки там так низки, что рабочим приходилось выбивать киркой уголь лежа на спине и возить тачки на четвереньках; такая работа производилась в спертom, полном копоти и вони, воздухе. Очевидно, обязательные правила для работ в шахтах плохо соблюдались; несчастные случаи, как нам сказывали, происходили нередко.

Из Грушевки через Ростов и Новочеркасск мы вернулись домой. В Новочеркасске за нами все время следили какие-то люди: в гостинице и на вокзале нам не давали

покою любопытствующие казаки. Вероятно, слухи дошли и до кондуктора поезда, на который мы сели: он также проникся подобострастием к Орлову и с готовностью представил нам отдельное купе.

После поездки мы, по совету Менделеева, должны были написать статью о Донецком крае и Донце. И что же? Хотя у нас были кое-какие путевые заметки, даже записи о Донецких перекатах, хотя мы видели много интересного, мы статьи не написали.

Позднее, в 1889 году, я два раза был у Менделеева на его квартире на Васильевском острове. Мне приходилось по часу с ним беседовать или, лучше сказать, слушать его. Он охотно говорил перед таким преданным ему слушателем, каким был в то время я. Он тогда излагал те мысли, факты и цифры, которые потом вошли в его книги: «К познанию России» и «Заветные мысли», суждения его всегда были интересны и обоснованы фактами.

По поводу промышленности в России он говорил:

«Сейчас более 80% населения России занято земледелием, а довольно 30%. Остальные должны заняться промышленностью».

Он хорошо понимал значение образования для нашего отечества. «В России нужно учредить сто университетов», — говорил он.

Менделеев, помимо научной деятельности, много сделал и на других поприщах, например в деле развития промышленности в России.

Он всегда говорил лишь то, что думал, и в старости высказывал те мнения, которые у него сложились уже давно.

Он был убежденным протекционистом.

— Хорошо англичанам стоять за свободную торговлю, — говорил он, — когда у них промышленность организована и существует много лет; английский рабочий многими поколениями приспособлялся к своей работе. Нам же приходится все налаживать вновь, а главное — воспитывать и обучать рабочего.

Под влиянием разговоров с Менделеевым я писал моей матери в октябре 1888 года:

«Вчера я был у Менделеева. Он только что прочел «О жизни». «Ваш отец, — говорил он, — воюет с газетчиками и сам становится с ними на одну доску. Он духа

науки не понимает, того духа, которого в книжках не вычитаешь, а который состоит в том, что разум человеческий всего должен касаться; нет области, в которую ему запрещено было бы вторгаться...» Я ему говорил, что отец, главное, борется против позитивного мировоззрения, по которому, для того чтобы решать насущные вопросы об отношении к людям, нужно пройти через всю контовскую лестницу наук, а нам нужно не это, а ответ на вопрос: что сейчас делать? Менделеев на это ответил, что ведь мы питаемся каждый день, а разве поэтому нельзя рассуждать и исследовать научным путем вопрос о том, чем лучше всего питаться. (Хотя, он говорит, что и об этом мы очень мало знаем.) Зачем же отрицать другие науки — точные? Разве они несовместимы со взглядами Льва Николаевича?»

Можно быть других мнений, чем Дмитрий Иванович, но про него никак нельзя сказать, что он был неискренен в своих убеждениях. Когда я слушал его неровную, но убежденную речь, чувствовалось, что он говорил то, что он продумал и — свое, а не чужое.

ПЕТЕРБУРГ 1888—1890 ГОДОВ

В сентябре 1888 года я был назначен делопроизводителем центрального правления Крестьянского банка. Наступил новый период моей жизни. Я переехал в Петербург и стал редко бывать в нашей семье. Признаюсь, в Петербурге я вел себя распушенно. Куда девался мой студенческий радикализм! Я стал бывать в светском обществе, даже однажды был на придворном спектакле в Эрмитаже. Часто бывал у родственников моей матери, большей частью принадлежавших к высшему чиновничеству — Кузминских, Иславиных, Шидловских, Кириаковых, Фукс. Посещал я также Н. Н. Страхова и А. Ф. Кони. Часто бывал на концертах, особенно на концертах А. Рубинштейна.

Не буду подробно писать о своей петербургской жизни. Упомяну лишь о некоторых эпизодах и встречах. Я близко сошелся со своим сверстником Александром Аркадьевичем Столыпным. Он был неглуп и, как говорится, владел пером. Впоследствии он писал легкомысленные фельетоны в «Новом времени», к сожалению большей частью реакционного направления.

В доме Столыпиных я однажды встретил его брата Петра Аркадьевича, будущего премьера, бывшего в то время ковенским предводителем дворянства.

Другим приятелем нашим был сын знаменитого Антона Рубинштейна — Яков. Это был типичный представитель петербургской богемы. Он был красив, имел большой успех у женщин полусвета и был очень музыкален, пел, играл на фортепиано и на гитаре и даже сочинял, хотя никогда систематически музыке не учился.

В том же году я был на даче у Антона Григорьевича в Петергофе и играл с ним... не на фортепиано, а на бильярде. Могу удостоверить, что он играл на бильярде много хуже, чем на фортепиано. Дома он был любезен и прост.

Летом 1889 года я встретил на Невском А. Ф. Кони, с которым познакомился, когда он приезжал в Ясную Поляну.

Как известно, Кони председательствовал в суде с присяжными во время процесса Веры Засулич, стрелявшей в градоначальника Трепова и оправданной судом.

Однажды я был у Кони в его приемный день. Там ко мне обратился один незнакомый пожилой господин с вопросом: «Вы служите в Крестьянском банке?»

Я ответил утвердительно, но добавил, что Крестьянский банк работал бы лучше, если бы процент, платимый крестьянами за купленные земли, не был так высок. Почему этот процент выше процента, платимого по ссудам Дворянского банка?

На это пожилой господин сказал: «Когда я проектировал устав Крестьянского банка, я думал, что крестьянам будет легко платить этот процент. Ведь они платят большие деньги за арендуемые ими земли».

Я потом спросил Кони, кто этот пожилой господин. Оказалось, что он бывший министр финансов Бунге, по проекту которого был учрежден Крестьянский банк.

Осенью 1889 года я взял отпуск и поехал с сестрой Таней в Париж на выставку.

Вернувшись из-за границы, я тотчас же поехал в наше самарское имение, где умер управляющий Семен Глебов и был назначен новый — некто Рибовский. Это была моя последняя поездка в самарское имение.

В декабре я вышел в отставку и уехал в Ясную Поляну. Там состоялся домашний спектакль — первая постановка «Плодов просвещения». После спектакля я опять

уехал в Петербург. Мне не хотелось его покидать. Там я приписался к Министерству внутренних дел, с тем чтобы участвовать в происходившем в то время Пенитенциарном международном конгрессе. Меня интересовали вопросы о наказаниях и тюрьмах, и я надеялся познакомиться на конгрессе с тем, что делалось по этой части в Западной Европе в сравнении с ужасным в царской России пенитенциарным режимом. Но мне мало пришлось узнать, так как я, как знающий иностранные языки, был прикомандирован к тюремной выставке, где я дежурил. На выставке были показаны главным образом диаграммы и изделия заключенных в тюрьмах, и, разумеется, не были показаны плохие русские тюрьмы, вопиющее их переполнение и ужасы переправ по этапу в Сибирь. Выставка имела целью показать, что русские тюрьмы не так плохи, как их описывали русские эмигранты. Эта цель достигнута не была, и выставка никого не обманула. К тому же иностранцы мало ее посещали.

Во время моего дежурства на выставке я познакомился с главным тюремным инспектором на Дальнем Востоке Каморским. Однажды он предложил подвезти меня до моей квартиры в своей коляске и во время поездки сказал мне:

— Знаете, кто у меня кучером? Это каторжник с Сахалина, убийца, зарезавший целую семью.

Я спросил:

— Разве он имеет право быть в Петербурге?

Каморский усмехнулся моей наивности и сказал:

— Он прекрасный кучер и очень мне предан. Я и взял его с собою.

Отец о моем участии в Пенитенциарном конгрессе сказал А. М. Кузминскому:

«Сережа и Столыпин, вероятно, долго думали, в какой новый кабак им пойти, и надумали — в тюремный конгресс».

Эти слова, в которых была большая доля правды, мне были переданы, и в письме к сестре я жаловался, что отец «иронически» ко мне относится.

На это отец 8 марта 1890 г. написал мне следующее письмо:

«Не думай, Сережа, что я отношусь к тебе иронически, как ты пишешь. Если я пошутил с Сашей Кузминским, то я только пошутил. Я стараюсь помнить и помню свою

молодость и надеюсь и даже почти уверен, что ты делаешь и делал меньше глупостей, чем я даже относительно, т. е. пропорционально времени и условий, в которых я находился и ты находишься. Одно, что прежде меня сердило в тебе (прежде, теперь этого нет), это то, что ты, столь разумный и как бы практический в приобретении знаний научных и практических, умевший всегда пользоваться тем, что сделано прежде тебя людьми, не выдумывавший сам логарифмов и т. п. вещей, которые давно выдуманы, и знающий, куда обращаться за этими знаниями, ты в самом важном знании — что хорошо, что дурно и потому как жить, — хочешь доходить своим умом и опытом, а не пользуешься тем, что давно несомненно и очевиднее всякой геометрической теоремы объяснено и доказано.

Например, ты открыл, что непременно надо быть заняту, и ищешь себе занятия, но хорошенько не знаешь, чем именно тебе надо заниматься: банком, тюрьмами, хозяйством или уездным начальничеством. Но и это не все: почему не музыкой, не литературой, не фабрикой, не путешествиями и т. д.? Очевидно, что положение, что надо быть заняту, не имеет никакого значения и смысла, если не решено, чем надо быть заняту. И вот это-то давным-давно решено людьми, к[оторые] занимались этими вопросами. Заняту надо быть тем — *au risque de te déplaire*¹ — должен повторить тебе то, что тобой давно, по твоему мнению, опровергнуто, — заняту надо быть тем прежде всего в нашем привилегированном положении, чтобы слезть с шеи народа, на которой сидишь, и прежде, чем делать что-либо по своему мнению полезное для этого народа, перестать утруждать его требованиями удовлетворения своих прихотей жизни, т. е. прежде всего делать то, что себе нужно. Сомнения тогда в том, что делать, не будет, и будет спокойная, радостная жизнь. Исключение из этого только тогда возможно, когда есть какое-либо исключительное призвание. Определить же то, что есть это исключительное призвание, никогда не может тот, кто имеет или не имеет призвания, а другие люди, которые в случае такого призвания будут требовать того, чтобы человек отдавался своему полезному или радостному для других призванию.

Пожалуйста, голубчик, не спорь со мною. Я не для

¹ рискуя тебе не понравиться.

спора пишу, а не пригодится ли тебе. А попробуй обсудить то, что я говорю, как серьезно решают уравнения, т. е. предполагая вперед, что x (здесь x — твое положение) может быть и положительною, и отрицательною величиною, и полем. А не так, чтобы вперед решив, что x — положительная величина, придумывать такие штуки, чтобы уравнение решилось и x был бы положительной величиною.

Ведь ошибка в том, что мы — потомки людей и принадлежащие к кругу людей угнетателей, тиранов, — хотим, не изменив своего положения, не признавая его преступность, сразу найти такое занятие, пользой которого мы бы выкупали все прошедшие и настоящие грехи. Надо раз навсегда признать свое положение, и это не трудно. А поняв это, очевидно, что прежде чем думать о пользе, приносимой народу (людям), надо перестать участвовать в его угнетении посредством землевладения, чиновничества, торгашества и пр. И остается одно: как можно меньше брать с произведений труда людей, и как можно больше трудиться самому. И это правило, как оно ни надоело, боюсь тебе, таково, что оно приложимо к самому сложному, запутанному положению, в котором мы часто находимся. Во всяком положении можно стремиться к этому и более и более осуществлять. Никак нельзя извне, с поверхности, определить свое положение. Но непременно надо изнутри, из середины, т. е. не решать: где мне лучше служить или жить, а решить: что я такое? чем я живу? Какие мои отношения к людям и какие мои права и обязанности в отношении их. Ну вот прощай. Целую тебя.

Смотри ж, любя прочти это письмо, так же, как я писал».

На это письмо отца я немедленно ответил:

«Я был очень обрадован твоим письмом. Меня всегда мучает твое молчание, и тогда мне кажется, что ты меня бесповоротно осуждаешь. А твое мнение, какое бы оно резкое ни было, мне всегда чрезвычайно дорого. Последнее, что я бы стал делать, это — спорить. Против чего? Я вполне сознаю, что надо больше давать и трудиться для других и меньше брать. Разве только, что ты как будто считаешь, что нужно начать непременно со второго, т. е. меньше брать. Но я помню, что если кто-нибудь действительно трудится, то ему нужно очень мало брать,

чтобы удовлетворять необходимым потребностям. Я даже думаю, что обе части этого правила связаны: обыкновенно, кто много дает, тот мало берет, и наоборот... Про себя я сознаю, что живу праздно и дурно, много беру и ничего не даю. Но нет худа без добра, и последнее время, когда я особенно предавался животным впечатлениям, я это особенно сильно сознал и совершенно отказался от слабых попыток оправдать себя, которые я раньше делал. Ты спросишь меня: отчего я сознаю свою дурную жизнь и продолжаю так жить? Я об этом думал и должен сам себе искренно ответить, что я слишком люблю свои мелкие страсти и слишком мало люблю то, что считаю хорошим».

Под впечатлением моего письма отец 15 марта написал мне:

«Открываю твое письмо со страхом, но в середине чтения его стал плакать от самого радостного чувства, и теперь пишу и плачу. Помогай тебе бог. Л. Т.».

Это короткое письмо отца мне показало, что, несмотря ни на что, он не отрекается от меня, и я ему близок, если не по моим взглядам и жизни, то просто как сын. И я прочел его письмо, так же как он мое, со слезами на глазах. Однако, признаюсь, оно мало повлияло на мое поведение.

В мае 1890 года в опубликованном в «Новом времени» отчете обер-прокурора Синода за 1887 год было напечатано возмущившее меня сообщение о том, что старшие сыновья Л. Н. Толстого ограничивают его расточительность. Братья Илья и Лев написали мне, что необходимо поместить в газетах опровержение этого ложного сообщения. Я написал следующее письмо редактору «Нового времени» А. С. Суворину с просьбой его напечатать:

«М. г., в «Новом времени» от 8 мая с/г. было помещено извлечение из всеподданнейшего отчета г. обер-прокурора св. Синода за 1887 г. относительно «распространения в Кочаковском приходе мировоззрения и нравственных убеждений графа Л. Н. Толстого», в котором мы прочли, между прочим, что «граф Толстой уже не имел возможности в прежних размерах оказывать крестьянам помощь из своего имения, так как старшие сыновья его

ский уезд, где находилось наше имение Никольское-Вяземское. Отец уже тогда решил передать все свои имения жене и детям, и предполагалось, что часть Никольско-Вяземского достанется мне. В другой части этого имения, на хуторе Протасове, уже поселился недавно женившийся (на Софии Николаевне Философовой) мой брат Илья.

В сентябре 1890 года я вступил в должность и поселился в Никольском.

Я не сочувствовал реакционному законодательству о земских начальниках и впоследствии признавал ошибкой в моей жизни свою службу в этой должности. Поступил же я потому, что хотел быть самостоятельным, интересовался жизнью крестьян и думал, что так как известное управление и суд необходимы в деревне, то я мог бы приносить известную пользу, действуя по возможности независимо от губернских властей и не применяя или смягчая применение одиозных статей нового закона. И я ни разу за время моей службы не применил статьи 61 и 62 положения, дающие земскому начальнику безапелляционное и безответственное право подвергать аресту крестьян, и в вверенном мне участке телесное наказание ни разу не было применено. Как известно, к телесному наказанию приговаривал волостной суд, земский же начальник представлял этот приговор в уездный съезд к утверждению или отмене. Мне ни разу не пришлось это делать, так как в моем участке волостные суды к телесному наказанию не приговаривали, что я приписываю своему влиянию.

В июне 1891 года все мы — братья и сестры — съехались в Ясной Поляне для обсуждения предполагаемого отцом раздела его имений между нами. Отец оценил все свои имения вместе с купленными матерью двумя небольшими имениями Овсянниковом и Гриневкой приблизительно в 500 000 рублей и решил распределить все эти имения поровну на девять человек — нашу мать и восемь его детей. Каждую часть он ценил в 55 000 рублей. После совместного обсуждения этого дела было установлено, согласно предположению отца, следующее распределение долей каждого: Ясная Поляна была разделена на две части — одна часть передавалась матери, другая — малолетнему Ивану, бывшему под ее опекой; Никольско-Вяземское вместе с Гриневкой разделялось на три части:

я получал часть с усадьбой с условием заплатить 28 000 сестре Тане, Маша получала среднюю часть Никольского, Илья — Протасовский хутор вместе с купленной матерью Гришевой, где он поселился; Татьяна — 28 000 от меня и купленное матерью Овсянниково; Лев — московский дом и участок в самарском имении, трое младших, кроме Ивана, опекаемые матерью, получили остальные две самарские имение. Маша, разделявшая убеждения отца, отказалась от своей части, и ее часть была передана матери. Тогда я предложил матери, на что она согласилась, передать мне Машину часть Никольского-Вяземского с обязательством уплатить ее стоимость, то есть 55 000 рублей. Таким образом, я взял на себя обязательство уплатить сестрам $28\ 000 + 55\ 000 = 83\ 000$, что составляло около ста рублей с десятины имения. Эти деньги я надеялся уплатить путем залога имения и продаж лесов. Это очень усложнило мои денежные дела и крепко связало меня с имением. Впоследствии сестра Маша, выйдя замуж (за Н. Л. Оболенского), приняла свою долю наследства, которую я ей понемногу выплатил.

Проект нашего раздела был подписан и формально утвержден 7 июля 1892 года.

Отец, очевидно, не мог сочувствовать моей службе земским начальником, и я это чувствовал, когда видался с ним. Однако он прямо это не высказывал и все-таки дружелюбно ко мне относился. Так, например, он написал мне следующее письмо в декабре 1891 года из Данковского уезда, где он устраивал столовые для голодающих крестьян:

«Вчера второпях приписывал Ильюше и только что хотел обратиться к тебе, как пришли гости, и я отослал письмо. Не подумай, что я забыл о тебе. Напротив, особенно часто о тебе думаю, и хочется узнать о том, как живешь и что делаешь. Напиши мне словечко, если скоро — то в Москву, а то в Чернаву. Мы собираемся 8-го. Все бы хорошо, если бы не здоровье мама. Она добра и разумна и деятельна, как всегда, но просто слаба здоровьем. Смерть Ивана Ивановича была для меня паразитным явлением, особенно для меня, потому что я редко кого так сердечно полюбил вновь, как его. Да и сошлись мы на таком деле, и он был так предан этому делу и так

хорошо его делал¹. Целую тебя. Хочется сказать и... некогда... *Л. Толстой*.

«Напиши, дай понятие о состоянии народа у вас в худших местах».

В 1893 году я написал рассказ «Дело Пыркина», в котором описывал, как крестьянин Яков Пыркин за кражу кольев из изгороди одного помещика присужден был к наказанию розгами и как это наказание было исполнено. Сцену сечения я описал со слов одного очевидца.

В ноябре этого года отец вместе с моей сестрой Машей побывал у брата Ильи в Гриневке, где виделся с ним и я. Маша после этой поездки написала мне:

«Милый друг Сережа, ты, вероятно, знаешь, что мы взяли твой рассказ, по дороге домой все его прочли и очень одобрили. Твой рассказ папа одобрил до такой степени, что взял его сюда в Москву и хочет куда-нибудь его поместить, если ты ничего не имеешь против. Он нашел несколько мелких ошибок, как, например, то, что перед тем, как колья сунуть в печь, надо было их перерубить и т. п. И если ты позволишь, он хочет кое-что поправить. Потом он говорил еще вот что: что в твоём рассказе сечение вызывает больше чувство ужаса перед физической болью, а не перед унижением человека, и это жаль... Папа нашел, что самое действие ужасно сильно действует на читателя и вообще, что рассказ «способен к труду...»² Жаль, что папа мало вас видел и не был у тебя. Он очень остался доволен и вами, и Соней³, и внуками, и вашими соседями⁴, которых видел».

Отец приписал к этому письму: «Маша все написала с женской равномерностью. Все так. Очень рад был всех вас повидать и тебя, хотя слишком мало. Целую тебя и других».

¹ Иван Иванович Раевский (1833—1891) — помещик Данковского и Епифанского уездов, был приятелем моего отца. По его инициативе были устроены столовые для нуждающихся. Он умер от сыпного тифа во время пребывания моего отца у него в Бегичевке.

² Мой рассказ был напечатан в майской книжке «Недели» за 1894 г. под псевдонимом С. Бродинский. Отец, к сожалению, поправок в нем не делал.

³ Соня — Софья Николаевна Толстая, жена брата Ильи.

⁴ Одним из соседей был А. А. Цуриков (1849—1912), чернекий помещик и уездный член суда, человек с оригинальным мировоззрением — православный, либеральный и народник. Отец им заинтересовался.

Я не буду писать о своей службе и моей одинокой жизни в Никольском-Вяземском.

В июле 1895 года я женился на подруге сестры Таш — Марье Константиновне Рачинской, дочери Константина Александровича Рачинского, бывшего в то время директором Сельскохозяйственной академии в Петровском-Разумовском (ныне Тимирязевской академии). О моей женитьбе отец писал П. И. Бирюкову 6 июня 1895 г.:

«У нас в семье новость: Сережа женится на Мане Рачинской. Свадьба 9 июля. Я и рад и страшно мне за них, чаще всего прямо жаль.— Люди, которые женятся так, мне представляются людьми, которые падают, не споткнувшись. Я сам женился так. Не женитесь так. Если упал, то что же делать. А если не споткнулся, то зачем же нарочно падать».

В письме к Н. Н. Страхову 13 июня 1895 года отец писал:

«Нынче приехал к нам на один день Сережа с своей невестой. Они, кажется, очень любят друг друга, но мне всегда страшно за любящих людей, когда они женятся, вроде того, как страшно за родильницу, только в этом случае больше несчастных, чем счастливых родов».

Вскоре после венчания, бывшего 10 июля, я вышел в отставку и вместе с женой поехал за границу.

Мы вернулись в Россию в конце декабря, после чего жена провела месяц у отца в Петровском-Разумовском, а я — в Никольском-Вяземском. Весной 1896 года мы два месяца прожили в Москве, где я начал заниматься композицией. Лето мы провели частью в Никольском, частью в Ясной Поляне, осень — в Никольском. Осенью жена уехала от меня к отцу в Петровско-Разумовское, и вскоре я получил оттуда известие, что она беременна и не хочет ко мне возвращаться. Трудно сказать, по чьей вине произошел наш разрыв. 24 августа следующего 1897 года она родила сына Сергея. Вскоре после родов она заболела туберкулезом легких и, проболев почти три года, скончалась 2 июля 1900 года.

МОЕ УЧАСТИЕ В ЭМИГРАЦИИ ДУХОБОРОВ В КАНАДУ

П. А. КРОПОТКИН

1898—1899 годы

28 августа 1898 года моему отцу минуло семьдесят лет. Приехало довольно много народа. Я приехал накануне и после 28-го остался в Ясной Поляне на несколько дней. В то время отец был очень озабочен переселением духоборов, преследовавшихся царским правительством, из России в Канаду.

В то время в Англии делом духоборческой эмиграции занимались квакеры, В. Г. Чертков и его помощники. Выяснилось, что благодаря посредничеству П. А. Кропоткина и его приятеля профессора в Торонто Джемса Мэвора, канадское правительство принципиально принимало духоборов, но условия переселения не были определены, и канадское правительство настаивало на том, чтобы переселение основной массы духоборов состоялось не раньше весны будущего года: теперь же, осенью, оно соглашалось принять только сто семейств.

Отец спросил меня, в хороших ли я отношениях с Чертковым, и на мой утвердительный ответ поручил мне поехать по духоборческим делам за границу и передать лично Черткову, вынужденно жившему в Англии, «восемь пунктов» (это было его выражение), касающиеся организации переселения духоборов, которые я тогда же записал.

В числе этих пунктов были вопросы: сколько могут дать издатели за переводы двух повестей Л. Толстого — «Воскресение» и «Отец Сергей», гонорар с печатания которых он решил отдать на дело переселения духоборов, при условии, что печатание этих повестей будет происходить в России одновременно с печатанием заграничных переводов? Можно ли получить деньги вперед и сколько? Кто будет переводить?

1/13 сентября я поехал в Англию через Берлин и Флиссинген. Туда же и одновременно со мной отправились духоборы Зибарев и Абросимов, но они поехали более дешевым путем — морем через Ригу — и поэтому прибыли в Англию позднее меня.

Чертков жил в Эссексе, в местечке Перли. Чтобы туда добраться, надо было из Лондона ехать около двух часов по железной дороге до городка Молдон, а оттуда нанять извозчика и проехать еще верст пять.

Я передал Черткову то, что мне было поручено отцом, и узнал о положении дела переселения духоборов.

У Черткова, кроме жены Анны Константиновны и сына Владимира Владимировича, жили мисс Пиккард — старая дева из квакеров, и украинка Анна Григорьевна Морозова (Аннушка), давно уже жившая у Чертковых в качестве прислуги и ставшая теперь членом их семьи. Анна Григорьевна работала целый день, приветлива, весела и подчас остроумна. Она научилась немного говорить по-английски. Недавно в Лондоне был организован конкурс прачек, в нем участвовало около пятнадцати конкуренток, в том числе Анна Григорьевна. Им дали выстирать и выгладить какие-то полотенца: лучше и быстрее других исполнила эту работу Анна Григорьевна. Несмотря на то, что она не англичанка, ей выдали приз — какой-то сервиз.

Вблизи дома, где жил Чертков, жил Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич — социал-демократ и эмигрант, помогавший Черткову в его изданиях.

12/24 сентября Чертков меня познакомил с Петром Алексеевичем Кропоткиным. Мы встретились в квакерской гостинице в Лондоне, где обыкновенно останавливался Чертков; Кропоткин жил где-то около Лондона, но часто бывал в Лондоне.

«Опасный анархист» оказался пожилым человеком среднего роста, с седой русой бородой, бодрым и подвижным, немножко торопливым, скромно одетым, в очках.

Он имел вид доброго профессора. С первой же встречи он расположил меня к себе, и после нескольких минут разговора мне показалось, что я с ним знаком уже давно. Его простое, доверчивое отношение к людям, его безукоризненная благовоспитанность, не только внешняя, но и внутренняя,— все это привлекало к нему.

Конечно, он прежде всего заговорил о духоборах. Ведь первое предположение о переселении духоборов в Канаду исходило от него. Когда он узнал, что выселение духоборов из России — дело решенное, он запросил своего приятеля профессора Мэвора о возможности переселения духоборов в Канаду. Мэвор повел пропаганду о желательности эмиграции духоборов, как людей, пострадавших за веру, трудолюбивых и вообще почтенных, и стал хлопотать перед канадским правительством о принятии их в Канаду.

11/23 сентября Петр Алексеевич, Зибарев, Абросимов и я осматривали Британский музей. К сожалению, этот день было воскресенье и некоторые отделы были закрыты. Лучшего чичероне, чем Петр Алексеевич, трудно было найти для Британского музея. Музей он знал отлично, попутно он сообщал нам разные научные сведения. Помню рукописный отдел, где под стеклом лежало знаменитое древнее Александрийское евангелие, палеонтологический отдел с исполинским скелетом археоптерикса и других допотопных животных, промышленный отдел с разнообразными машинами и т. д. Но времени у нас было мало, и осмотр поневоле оказался поверхностным.

Я высказал Петру Алексеевичу, что меня поражает многосторонность его знаний. Он сказал: «Я поневоле должен иметь точные и многосторонние научные познания. Ведь я уже несколько лет веду научный отдел в «Fortnightly Review». Вы понимаете, как тщательно я должен его вести, всякий мой промах может быть использован теми, кто хотел бы занять мое место в журнале, а таких людей много; кроме того, мне, как иностранцу, приходится быть особенно осторожным».

Наша компания, особенно духоборы, в их своеобразной духоборческой одежде — на них были широкие шаровары, большие сапоги, синие бешметы, бараньи шапки,— обращали внимание публики: многие смотрели на нас с удивлением. Переходя из одного здания музея в другое, мы встретили высокого человека в цилиндре, внимательно

смотревшего на нас. Петр Алексеевич сказал: «Вы заметили этого человека в цилиндре? Это русский шпион. Я уже не раз его встречал. Он следит за теми, которые бывают со мной. Если вы боитесь неприятностей при возвращении в Россию, держитесь от меня подальше».

Вспоминаю отрывки из моих разговоров с Петром Алексеевичем. Незадолго перед тем погиб Кравчинский (Стениняк), убивший шефа жандармов Мезенцова. Кропоткин был с ним дружен и говорил, что Кравчинский не раскаивался в своей террористической деятельности. Кравчинский жил в предместье Лондона и каждый день ходил на службу. Для сокращения пути он проходил по плотном железной дороги по столь узкому месту, что при встрече с поездом сойти было некуда. Обыкновенно он соблаговывался с расписанием поездов, чтобы пройти по этому месту в те минуты, когда поезд там не шел. Но однажды он ошибся временем или поезд прошел не вовремя. Он не успел пробежать опасное место, и поезд его раздавил.

По поводу рассказа Петра Алексеевича об убийстве Мезенцова я спросил его, одобряет ли он подобные убийства, как, например, убийство старой австрийской императрицы, происшедшее незадолго до нашего разговора. Он ответил, что в данном случае ему жаль, что убита ни в чем не повинная старуха, но, как это ему ни тяжело, он по совести должен взять на себя ответственность даже за это убийство, так как принципиально рекомендует террор.

В эту мою заграничную поездку я прочел книгу Кропоткина «*La conquête du pain*» («Завоевание хлеба»), запрещенную в России. В этой книге я искал ответа на вопросы, занимавшие меня еще в юности: нравственное и умственное развитие людей зависит ли от форм их жизни? Если будут разрушены существующие формы жизни, прежде всего государство и собственность, то сложатся ли отношения людей в лучшие формы или нет? Не произойдет ли того же, что и с растворенными кристаллами, когда после выпаривания раствора кристаллы опять слагаются в те же кубы, ромбоэдры и пр., в которые они сложились до растворения их. Когда рабочий класс завладеет всем, то, по мнению Кропоткина, жизнь сложится в лучшие формы, но в какие формы — в его книге остается неясным. Почему он думает, что новый строй сам собой

сложится в лучшие формы? Ведь люди останутся теми же, какими были. На это Петр Алексеевич мне ответил: «Люди лучше, чем формы их жизни. Эти формы сложились исторически, по инерции; они неразумны и обветшали. Ответы на ваши вопросы настолько очевидны, что я не считаю нужным на них останавливаться».

Прощаясь со мной, Петр Алексеевич позавидовал мне, что я возвращаюсь в Россию. Он с грустью сказал: «Едва ли когда-нибудь мне удастся увидеть Россию». Он был так любезен, что прибавил: «Я бы пришел проводить вас на вокзал, когда вы уедете из Лондона, но на вокзале всегда шныряют шпионы, и я боюсь, что если они увидят вас со мной, то в России вас будут ожидать неприятности».

Пришли другие времена, и Кропоткин после Великой Октябрьской революции получил возможность вернуться на родину.

Я несколько раз виделся с ним. В 1919 году он жил в одном особняке на Никитской. Случайно я попал к нему в день рождения. Там играли трио: Шор, Крейн и Эрлих. Было довольно много народа, мне мало знакомого. Был подан ужин, устроенный его друзьями. Петр Алексеевич был приветлив. В другой раз я его видел на квартире у Трубецких, где он занимал две комнаты. В. Д. Философова пела, я ей аккомпанировал и затем сыграл кое-что на фортепьяно. Он слушал внимательно. Вообще он любил музыку. Узнав, что я живу на углу Штатного (ныне Кропоткинского) переулка, он сказал:

— А я родился в доме рядом с вами (Штатный, 26). Недавно я там был и поклонился памяти моей матери. Ее спальня сохранилась, кроме мебели, конечно¹.

Во время моих свиданий с Петром Алексеевичем в Москве я встретил в нем прежнее благожелательное отношение ко мне, но я уже не вел с ним прежних принципиальных разговоров. В одном разговоре он почему-то коснулся вопроса о крестьянской поземельной общине, которую он идеализировал по примеру старых народни-

¹ В настоящее время в этом доме находится филиал Государственного литературного музея — Музей русской литературы XVIII века, Кропоткинский пер., д. № 26а.

ков. Когда я заикнулся о вреде общины, он выразил неудовольствие, и я замолчал.

Два слова об отношении моего отца к Кропоткину. Отец лично не знал его, но интересовался его взглядами и сочувствовал его анархическому идеалу, однако не насильственному проведению этого идеала в жизнь. Многие в книге Кропоткина «Fields factories and work shaps» было для него ново, особенно та глава, где говорится о почти безграничных возможностях интенсивного земледелия. Отец находил, что данные Кропоткина опровергают теорию Мальтуса: земледелие, огородничество и садоводство могут прокормить множество людей; чем больше людей, тем больше рабочих рук; земли же нужно тем меньше, чем интенсивнее она разрабатывается. Отец добавлял, что если люди будут вегетарианцами, земли понадобится еще меньше: не нужны будут пастбища и посевы кормов для мясных животных.

Возвращаюсь к своему пребыванию в Англии осенью 1898 года.

13/25 сентября вечером — митинг в доме Моода. Собрались колонисты в шерстяных рубашках, некоторые босые. Зибарев рассказывал. Привожу рассказ Зибарева.

В ночь на 29 июня 1895 года произошло сожжение оружия. Духоборы подвезли к одному месту свое оружие, кинжалы, ружья и револьверы, два воза угля, двадцать возов дров и керосин. Дрова везли на фургонах, запряженных четырьмя лошадьми. Во время сожжения оружия молились и пели псалмы до двух часов ночи. Некоторые ружья и револьверы были заряжены и выстрелили в землю. Два раза к ним приезжали посланцы от губернатора Шервашидзе с требованием идти к нему. Они отвечали, что придут, когда кончат свою молитву. За четверть часа до окончания богослужения явились казаки и сразу стали бить их нагайками. Так били, так раскровянили лица, что брат брата не узнавал: трава была не видна от крови. Начальник — сотник Прага — особенно досадовал на то, что не мог разбить духоборов на отдельные кучки и одиночки: они смыкались в круг и, взявшись за руки, загораживали женщин, стоявших в середине круга. Казаки старались разомкнуть круг и поэтому долго били. Потом казаки погнало духоборов к губернатору Шервашидзе, бывшему от них верстах в пятнадцати. Шервашидзе выехал к ним навстречу в коляске. Они не сняли перед ним

шапок, и казаки стали сбивать с них шапки. Сам Шервашидзе бил палкой духоборов и тряс их за шиворот.

Чертков после рассказа Зибарева сказал, что вся эта история произошла вследствие безумия одного человека — Шервашидзе. В тот же день у елисаветпольских и карсских духоборов сожжение оружия произошло мирно и благополучно, а в Тифлисской губернии вызвало это ужасное побоище и еще более ужасный постой казаков в духоборческих селениях с грабежом, изнасилованием женщин и последующим выселением духоборов.

Зибарев говорил еще о том, что после поста казаков им поставили старшину-магометанина, который распорядился в три дня всех выселить. В эти три дня их имущество было продано за бесценок. Сам Зибарев продал двадцать две коровы за сто рублей.

Рассказ Зибарева произвел сильное впечатление на всех.

Перед моим отъездом я получил следующее письмо от отца, побудившее меня поехать в Париж поискать там переводчика и издателя его повестей. В Англии этим должен был заняться Чертков. Вот это письмо, написанное мне отцом в сентябре 1898 года: «Спасибо тебе, милый Сережа, за твою готовность служить делу духоборов и, я знаю, — и мне. Я очень ценю это и постоянно радуюсь, как вспомню о тебе. Если ты и не будешь так определенно полезен, как ты бы хотел, поездка твоя, я думаю, будет иметь невидимые, но значительные последствия. Очень хотелось бы, чтобы тебе было хорошо, и почему-то надеюсь, что это будет. Если же ты недоволен неопределенностью, то вот тебе самое определенное дело: выяснить (в Париже или Лондоне у издательских фирм), сколько дадут за две повести, почем за слово или букву и на каких условиях, и сколько вперед денег, и когда все? Прощай, пока у нас все здоровы и благополучны. Л. Т.»

1 или 2 октября по н. ст. я поехал в Париж. На пароходе, во время переезда через Ламанш, ко мне подсел один подозрительный человек, повидимому русский шпион. Вечером, в темноте, увидев, что я вынул папиросу, он предупредительно зажег спичку, осветив мое лицо, и сразу стал меня спрашивать по-русски с еврейским акцентом: «Вы из настоящей России? Едете в Париж? Долго пробудете за границей?» и т. п. Был ли это тот са-

мый человек в цилиндре, на которого обратил мое внимание Кропоткин во время нашего осмотра Британского музея, я установить не мог. Но в Париже, выходя из вагона, я на всякий случай принял меры, чтобы никто меня не проследил.

В Париже, к сожалению, не было ни знакомого мне профессора русского языка Поля Буайе, ни моего приятеля Шарля Саломона. Я обратился за советом к Павловскому-Яковлеву, сотруднику «Нового времени». Он дал мне несколько полезных советов и поехал вместе со мной к издателю Лемерру. Лемерр-сын любезно принял меня, но когда я предложил ему издать перевод повести моего отца, он отказался.

— Нашему издательству,— сказал он,— переводные повести Толстого можно будет продавать только несколько дней после того, как они выйдут по-русски. Литературной конвенции между Россией и Францией нет, и как только появится русский текст, разные господа, вроде Гальперина-Каминского, сейчас же переведут его и, конкурируя дешевизной своих плохих изданий, подорвут наше издание.

Кто-то посоветовал мне обратиться в редакцию «Revue des deux mondes» к Брюнетьеру, бывшему в то время главным редактором этого журнала. Добраться до него было так же трудно, как получить прием у русского министра. Это был бледный, неулыбающийся, изящно, но скромно одетый во все черное, повидимому желчный, сухой человек. Он сказал, что за повести Толстого, если только они годятся для семейного чтения, он заплатит столько же, сколько и за другие переводные статьи, а именно — 1000 франков за лист. Когда я ему сказал, что гонорар пойдет на помощь переселению духоборов, преследуемых русским правительством, он пренебрежительно ответил, что это его не касается.

Я поехал к офранцузившемуся поляку Теодору Визева, сотруднику «Revue des deux mondes». Визева согласился переводить. Я у него завтракал: присутствовали его жена и свояченица. Жена его — русская, рожденная Изгоева. Я говорил, что русские и поляки имеют общего врага — русское правительство, а он хвалил русскую литературу. «Они восхитительны, люди вашей страны,— говорил он.— Я писал Потапенко, прося его указать мне на такое его произведение, которое можно было бы перевести (кроме

его первой повести о священнике, уже переведенной). Он мне ответил, что у него ничего, стоящего перевода, нет. В том же скромном тоне писал о своих романах и Гончаров».

Визева перевел «Обыкновенную историю» Гончарова и «Об искусстве» Л. Толстого. Он был немного музыкант и собирался писать биографию Моцарта.

Итак, я нашел в Париже переводчика повестей отца, но издателя было трудно найти, потому что я не мог показать предлагаемый материал. И я решил возвратиться в Россию.

29 сентября (11 окт.) я был в Ясной Поляне. Я передал отцу все, что выяснилось по духоборческому делу, и о моих не совсем удачных переговорах с переводчиками и издателями в Париже. Мне было радостно, что мои отношения с отцом, бывшие в последнее время несколько натянутыми, теперь стали более сердечными. Общее дело — духоборческое переселение, которому я вполне сочувствовал, сблизило меня с ним. В его дневнике от 2 ноября 1898 года есть такая пометка: «Сережа вполне близок делом и чувством. Нарочно не трогаю словами».

Отец был занят «Воскресением». Тогда же он записал в своем дневнике: «Я весь поглощен Воскресеньем, берегу воду и пускаю только на Воскресенье. Кажется, будет недурно. Люди хвалят, но я не верю». Было уже заключено условие с издателем «Нивы» Марксом, предполагалось, что получится 12 000 рублей. Эти деньги, как известно, назначались духоборам. Вторая повесть, гонорар с которой он также предполагал отдать духоборам, была «Отец Сергей», но «Воскресение» так разрослось, что он за переработку «Отца Сергея» и не принимался. Он поручил Н. Л. Оболенскому пригласить в Ясную Поляну моего приятеля, юриста А. А. Сурикова (члена суда по Чернскому уезду) проверить, насколько верно описан суд над Катюшей Масловой, и поправить, что неверно. Утром 25 октября Суриков приехал для этого в Ясную Поляну. В своем неизданном дневнике он так писал о своих поправках:

«Прямо принялся за чтение черновиков повести «Воскресение». Старик все подходил, смотрел, где я читаю, какое место. Просил прямо в тексте делать поправки, под-

черкивать и подписывать. Крупные ошибки в статье закона: обвинение должно быть по 4 и 5 пп. 1453 ст. Уложения, вопросы по этим признакам преступления, а у него отдельно кража денег и отдельно отравление и в обвинительном акте, и в вопросах присяжным, и в их прениях в совещательной комнате, и в их ответах. Пришлось переделывать. Наказание Катюше осталось то же: 4—6 лет каторжных работ. Нелогичность приговора осталась та же, т. е. отсрочки 4 п. 1453 статьи и по ошибке признали 5 пункт. Кассационные поводы те же. Все остальное так, как прежде. Одежду арестантки пришлось изменить. Светлую заутреню — также. Слова церковных песнопений неточно были переданы, как например, «Радуйтесь людие» вместо «Людие веселитесь» и т. д. Третьей части еще не читал и обещал вернуться в Ясную на этих днях, дочесть и написать обвинительный акт. Ужасно страшно, и робость берет так относиться к тексту, написанному рукой самого Толстого. Он все подходил и смотрел, как и что. Просил без стеснения зачеркивать и подписывать. Я было хотел на отдельном листе писать заметки, а он просил прямо в тексте. Надо было некоторые места вычеркнуть, как напр., что председатель на другой день не разъяснил присяжным их обязанностей. (Между тем как этот закон обнародован в 90-х годах, а дело слушается в 80-х и т. п. подробности.) Очень был ласков и любовен. Много рассказывал, много спорил, так и сыпал ослепительными молниями».

1 ноября Цуриков опять был в Ясной Поляне и, как он пишет в своем дневнике, переделал всю десятую главу «Воскресения». На другой день утром прочел Льву Николаевичу. Он весьма одобрил и отдал в переписку набело, а там на ремингтоне, и глава пошла в печать.

В конце октября неожиданно приехал в Ясную Поляну Л. А. Суллержицкий. Оказывается, его выпроводили с Кавказа, где он хлопотал о найме парохода для перевозки духоборов, тамошние жандармы.

Отец хорошо понял положение дел и решил энергично действовать. Он посоветовал Суллержицкому вернуться на Кавказ, а мне предложил ехать вместе с ним. В то время от «главноначальствующего» на Кавказе кн. Григория Сергеевича Голицына зависело допустить меня и Суллержицкого до содействия духоборам. И отец

надеялся, что Голицын разрешит, если не нам обоим, то в крайнем случае мне одному. И как отцу ни противно было обращаться с просьбой к властям, он написал и дал мне для передачи Голицыну следующее письмо:

«Ваше Сиятельство князь Григорий Григорьевич.

Согласно разрешению Вашего Сиятельства г-н Суллержицкий заведовал в Батуме выселением духоборов за границу. Совершенно неожиданно, однако, в середине его занятий по отправлению второй партии в 2 000 душ в Канаду чины жандармского управления объявили ему, что он не имеет права заниматься этим делом, и в канцелярии Вашего Сиятельства ему ответили то же, советуя ему уехать с Кавказа. Дело посадки на пароходы, приготовления провизии, помещения, врачебной помощи переезжающим 2 000 душ есть дело большой сложности и трудности, и всякое упущение может повлечь за собой самые тяжелые для переселенцев последствия: от ненужной траты их последних средств до болезней и смертей.

Совершенно уверенный в том, что для правительства нежелательны те печальные последствия, которые неизбежно должны произойти, если переселяющиеся духоборы будут лишены руководителей, и что запрещение Суллержицкому продолжать начатое им дело есть следствие какого-нибудь недоразумения, я покорно прошу Ваше Сиятельство допустить Суллержицкого до исполнения начатого им дела, а также имеющего передать Вам это письмо сына, графа Сергея Толстого, который предполагает заменить Суллержицкого после отъезда его со второй партией и заведовать отправкой третьей, тоже в 2 000 душ, партии, имеющей отправиться в нынешнем году, на нанятом уж для этой цели пароходе. В надежде на благоприятное решение Вашего Сиятельства остаюсь с совершенным уважением

Ваш покорный слуга *Лев Толстой*».

8 ноября 1898 г.

Как видно из этого письма, отец ошибся в отчестве Голицына. Он помнил, что его светское прозвище было «Гри-гри Голицын», откуда заключил, что его зовут Гри-

горий Григорьевич. К счастью, эта ошибка, как потом оказалось, не повлияла на решение Голицына. Может быть, даже он ее и не заметил.

Я поторопился и неожиданно для себя собрался ехать. Я не думал, что уеду в Америку и вернусь только через полгода, и предполагал пробыть на Кавказе только до отплытия духоборов в Канаду и затем вернуться домой. Однако на Кавказе выяснилось, что для эмигрантов, отправляющихся на втором пароходе, нужен проводник, а кроме меня, проводника не было. Я в то время нигде не служил и, уже будучи на Кавказе, решил отправиться в Канаду.

9 ноября 1898 года я и Леопольд Антонович Суллержичский выехали из Ясной Поляны. После полутора суток езды по железной дороге и двух суток по Военно-Грузинской дороге мы присехали в Тифлис. В Тифлисе мы решили, взяв номер в гостинице, сейчас же прописаться в полиции и вообще действовать только легально и открыто. Затем я предполагал найти своего давнишнего приятеля, редактора газеты «Кавказ» Ю. Н. Милютину, и просить у него помощи и совета для сношений с кавказскими властями. Суллержичский пришел в беспокойство и очень боялся, что сейчас же к нему явится полиция и опять выпроводит его с Кавказа. Мы прописались; полиция не явилась.

14-го утром я поехал к Милютину. Он довольно равнодушно отнесся к духоборческому делу. Признавая, что с ними поступили очень несправедливо, он, однако, говорил, что духоборы хотели пострадать, поэтому вызвали на себя гонение, что Шервашидзе только сделал ошибку, но всегда желал им добра, что государство не может их не преследовать, так как они не признают государства, что они любят деньги и пр. Милютин вообще очень критиковал все кавказское начальство. Кавказские администраторы, между прочим, потому, по его мнению, были плохи, что они не знали местных языков и поэтому находились во власти переводчиков. Администраторы же из местного населения плохи и, кроме того, делают, что хотят, так как их вследствие опять-таки незнания местных языков нельзя контролировать. Милютин, когда издавал «Кавказ», писал ряд статей, иллюстрирующих это положение дел, но Александр III был этим недоволен и написал где-то на полях:

«Пусть грузины и армяне учатся русскому языку, а не русские местным наречиям».

Милютин посоветовал мне: 1) расписаться у кн. Голицына, 2) обратиться к начальнику его канцелярии Мицкевичу, изложить ему наше дело и просить его устроить мне с Голицыным особое свидание ранее понедельника — его приемного дня и 3) предупредить Голицына через его адъютанта Свечина; это Милютин брался сам сделать.

15-го утром я расписался у кн. Голицына и отправился к Мицкевичу. Суллержицкий скрылся в Тифлисе у своей знакомой, г-жи Пащенко, так как боялся, что полиция выводит его с Кавказа раньше, чем я буду иметь возможность ходатайствовать перед Голицыным о представлении нам свободы действий.

15-го Суллержицкий опять не ночевал в номере, продолжая скрываться. Утром 16-го он, наконец, явился. Сейчас же хозяин гостиницы сообщил об этом в полицию по телефону, и через пять минут явился пристав и пригласил его явиться к полицеймейстеру. Через полчаса по телефону меня пригласили «во дворец» к Голицыну. Я сейчас же поехал. Через четверть часа меня ввели к князю... Говорили, и впоследствии я в этом убедился, что кн. Голицын каждого, у которого есть до него дело, не оставляет без начальнического окрика; однако на этот раз он совсем учтиво меня принял. Он прочел письмо отца (кроме обращения) вслух и потом начал говорить и говорил очень много, так что мне почти не пришлось говорить. Он сказал, что он все готов сделать для облегчения переселения духоборов; что он желает всяческих благ духоборам в Канаде, где он сам, между прочим, был, и что разрешит Суллержицкому и мне заниматься переселением духоборов, только пусть Суллержицкий немедленно уезжает в Батум, а затем отправляется с первой партией духоборов и более уже не возвращается в Тифлис. Затем он стал говорить о влиянии моего отца на духоборов, предполагая, что чуть ли не во всем последнем движении духоборов причинен он. Я старался его разубедить, но безуспешно.

От Голицына я вернулся в гостиницу, куда явился и Суллержицкий. Оказалось, что вскоре после того, как он явился к полицеймейстеру, последнего по телефону спросили от главнначальствующего, где Суллержицкий, на что полицеймейстер ответил: — Здесь. — Где? — У меня в кабинете. — Это вышло удачно: оказалось, что Суллер-

жицкий не только не скрывается, но даже сидит в кабине полицеймейстера.

Мы сейчас же отправили телеграмму отцу: «Обоим разрешено, завтра едем в Батум».

Вечер мы провели у Пашенко, которая у духоборов была известна под именем «бабушки». Она много сделала для них — писала прошения, передавала деньги и т. п., за что власти постановили ее выслать из Тифлиса, несмотря на то, что такая мера лишила бы ее всяких средств к существованию; только в виде особой льготы она была оставлена на год, пока ее сын-гимназист не кончит курс.

17 ноября мы выехали в Батум. По дороге мы решили остановиться часа на три в Скра, где жила часть ссыльных духоборов. Тихим лунным вечером мы в Скра сошли с поезда. В темноте слышим, кто-то спрашивает: «Алеша, ты это?» Это был духобор Чернеков, который вышел встречать другого, но не встретил, а встретил нас; он узнал Суллержицкого и очень обрадовался ему. Мы прошли с ним сажень сто — к хате Зибарева; другой духобор остался караулить наши вещи. В зибаревской землянке, построенной из сырого кирпича, без потолка, жило тридцать шесть душ. Когда духоборы узнали о нашем приезде, туда собралось еще множество народу; пришли «старички». «Старичком» духоборы называли домохозяина — главу семьи. Духоборы называют друг друга по уменьшительному имени: Алеша, Вася и пр., даже дети так называли своих отцов, и только когда дети делаются старше, «начинают понимать», как мне впоследствии объяснил один духобор, они называли отца «родитель» или «старичок». Мать они называли «няней».

Нас посадили в угол, под висячую лампу. Кругом — крупные, с резкими чертами, усатые, бритые лица, волосы напущены на лоб; женщины в каких-то казакинах и шапочках с бантами; в одежде преобладают синий и красный цвета. Все были очень рады Суллержицкому, который большинству знаком и на которого смотрели как на избавителя.

В зибаревской хате оказался один почти столетний старик Гриша Боковой, бывший севастопольский солдат. Он тоже хотел посмотреть «Канадию». Над ним добродушно шутили. 2 декабря было получено письмо от отца нам обоим.

«19 ноября 1898 г.

Здравствуй, Сережа и Л. А., ничего не знаю про вас со времени телеграммы. Хочется знать и про дело и про тебя лично, Сережа. Не рано ли ты приехал? Есть ли дело? ¹ А если нет, то есть ли интерес и хорошо ли тебе? Как с Голицыным? По делу новостей никаких нет, которые бы вы не знали...»

6 декабря вечером Суллержицкий впал в мрачное и апатичное настроение, что иногда с ним бывало. Вдруг в окно мы увидели зарево пожара в городе. Суллержицкий всегда любил тушить пожары. Он вскочил и побежал на пожар. Видя его в каком-то странном возбуждении, я побежал за ним. На месте пожара Суллержицкий кинулся вперед, оттолкнул пожарного, взял у него пожарную кишку и полез прямо на огонь. Я, зная, что ему завтра предстоит большая работа — построить нары и погрузить 2 000 человек, принял решительную меру: бросился на него, силой отнял кишку и потребовал, чтобы он немедленно вернулся в гостиницу. Я даже выругался. Он удивленно посмотрел на меня, не обиделся и покорился.

8 декабря был солнечный теплый день. В порту стояла великолепная императорская яхта «Держава». На ней проезжала через Батум императрица Мария Федоровна. Кн. Голицын приехал ее встречать. Я этим воспользовался и, после того как он проводил императрицу, пошел к нему. Адъютант Свечин доложил обо мне, и я на несколько минут получил «аудиенцию». Только что я заикнулся ему о том, что я пришел по делу паспортов для елисаветпольских духоборов, как сразу забил фонтан крика и красноречия — это был обычный прием кн. Голицына. «Да что вам нужно? Оставьте меня в покое. Это, наконец, надоело, это переселение на совести вашего отца; ни вы, ни ваш отец духоборам не нужны. Зачем вы подучиваете телеграммы какие-то посылать? И какие это камеральные списки. Все это «*ce sont de comptéges*» ² и т. д.

9 декабря в ясный день началась посадка и размеще-

¹ Дела было много: надо было установить сроки переезда духоборов в Батум, вести переговоры о сроках прихода парохода, сноситься с русскими властями о своевременной выдаче паспортов, заготовить доски и рейки для постройки нар на пароходе, закупить провизию и пр.

² Непереводимый каламбур.

ние духовоборов на пароходе «Гурон». Суллержицкий заранее написал мелом на столбах, сколько где мест. По жребью определили, кто где поместится, так как места неодинаково хороши. Половина мест, вся нижняя палуба (верхний трюм) — без иллюминаторов, куда свет проходит только через люки, а во время сильного волнения люки будут закрыты.

Разместиться двум тысячам человек не так просто, и посадка продолжалась всю ночь до раннего утра. Духоборы вообще учтивы и не терпят грубости. Между духоворами ругани я не слышал: самое плохое слово, которое я слышал, это «какой ты негодящий». Они все просты и доверчивы. Особенно приятно было видеть молодых подростков: у них открытые, здоровые лица.

С утра 10 декабря шла проверка паспортов полицеймейстером.

Уже после полудня проверка кончилась; все духовоборы погружены, пароход дал свисток, загремел якорь, и пароход стал отходить.

Весь народ, стоя на верхней палубе, запел свои однообразные, протяжные псалмы. На берегу провожала пестрая толпа: аджарцы, повязанные башлыками, кое-кто из русских и человек пятьдесят духовоборов, остающихся в России или едущих с следующим пароходом. С парохода несколько раз выстрелили ракетой, что полагается у английских моряков, когда они отвозят эмигрантов. Суллержицкий, бывший моряк, залез на рей и махал оттуда шляпой. Все это было красиво, но мне было грустно и страшно за эти 2 000 человек. Впереди почти месяц пути, холод, болезни, может быть, недостаток или плохое качество воды, недостаток хлеба и горячей пищи, а главное качка, морская болезнь, и все это в тесных, полутемных, плохо вентилируемых помещениях. Некоторые, вероятно, умрут дорогой: даже при очень низкой смертности (18 человек на 10 000 в год) в месяц должно умереть не менее трех человек из двух тысяч.

Так жалко, что эти хорошие люди уходят из России из-за глупости и жестокости каких-нибудь Шервашидзе или Горемыкина, и так страшно, что там, куда они уедут, им будет нехорошо.

11 декабря Батум опустел после отхода «Гурана». 12 декабря вечером приехал духовобор Семен Чернов, благополучно съездивший в Тулу к Л. Н. Толстому. С тем же

пароходом из Новороссийска приехали фельдшерицы Е. Д. Хирьякова и М. А. Чехович, с тем чтобы ехать вместе с духоборами на пароходе и дорогой оказывать им медицинскую помощь. Они привезли мне письмо отца от 4 декабря, в котором он писал:

«Хирьякова и ее подруга едут для сопровождения духоборов, первая или вторая партия. Хирьякова известна всем нашим друзьям своей выносливостью и самоотверженностью. Она была у Чертковых во время голода и холеры. Такова же и ее подруга... Во всем им можно и должно верить...»

К вечеру 14 декабря пришел пароход «Лейк Супериор», выдержавший под Батумом снежную бурю.

После обеда пароход стал к пристани; я отправился на него, познакомился с капитаном Тейлором и его помощниками и осмотрел те помещения, в которых нам придется жить. «Лейк Супериор» несколько больше и новее «Гурона». Он также имел ниже верхней палубы два межпалубных помещения. Под ними трюм.

Хотя «Лейк Супериор» был нанят с тем, чтобы он привез с собой весь материал для нар, однако по расчету оказалось, что этого материала не хватит. Таким образом, не только приходилось строить нары, но и покупать материал для них. Поэтому мы пошли со старичками по лесным дворам покупать рейки. Цена на лес в Батуме сильно поднялась, отчасти потому, что покупка леса для первого парохода отозвалась на лесном рынке.

Прасковья Щербакова, у которой два сына были посланы в Якутскую область, спрашивала меня, есть ли надежда, что ее сыновей отпустят в Канаду, когда все духоборы туда переедут, и обращалась ко мне за советом, ехать ли ей в Канаду или в Якутскую губернию. Я уклонился от такого серьезного совета. Каково это решать, куда ехать: в Якутск или в Канаду!

21 декабря, наконец, началась посадка. Целый день духоборы, как муравьи, подходили к пароходу, нагруженные своими пожитками. Потом старички собрались и по жребию распределили места. Для этого они разделили всех по деревням на одиннадцать партий. Всего на пароходе должны были разместиться, по счету самих духоборов, 1989 душ.

Вечером я расплатился со своей гостиницей и переехал в отведенную мне в первом классе каюту.

23 декабря с утра началась поверка документов полицеймейстером. Для этого всех духоборов перевели на берег, а затем полицеймейстер и таможенное начальство поместились у схода и пропускали людей обратно на пароход, отбирая у каждого проходные свидетельства и сверяя их с паспортами, присланными батумскому градоначальнику от местных губернаторов. Затем полицеймейстер бросал те и другие в простой холщовый мешок. Насколько мало целесообразны были эти меры, выяснилось потом: некоторые духоборы прошли под чужими именами; один молодой человек, подлежавший набору, прошел наряженный в женское платье как член другой семьи — девушка, вместо которой он прошел, незадолго перед тем умерла, а об этом начальство не было осведомлено.

Так как духоборы жили дома далеко от начальства и вообще начальство не входило в их жизнь, а только брало с них взятки, то путаницы при этой проверке оказалось порядочно, а времени она взяла много — почти целый день. Некоторые паспорта совсем не были присланы от местных властей, в некоторых было написано не то, что в проходных свидетельствах. Однако поверка паспортов на этот раз производилась гораздо строже, чем при отплытии «Гуруна». К четвертому часу дня поверка кончилась. Сходни сняли, загремели цепи, и пароход стал отходить.

Погода стояла солнечная и ясная. Когда мы вышли в море, уже вечерело. Выстрелом ракеты наш отъезд не ознаменовался, так как батумские власти, возмущенные прощальным выстрелом «Гуруна», запретили это «Супериору».

Итак, нам предстояло теперь три или четыре недели безостановочного морского путешествия. Признаюсь, я уезжал не без некоторого волнения и страха.

Наше плавание было сравнительно благополучно: мы шли только 24 дня те 5350 миль, которые отделяют Батум от Галифакса, и в пути умерли только трое. Одно плохо — мы засели в карантине.

Всем прививали оспу. Доктора никого не пускали на остров с парохода, пока всем не была привита оспа. Я один получил позволение выйти погулять. И вечером в первый раз вышел на берег. Я прошел вглубь острова по замерзшей дорожке между елками. Елки здесь не те, что в России (их англичане называют spruce). Лежал мелкий снег, было тихо, никого не было видно и слышно, вечернее

небо было ясно. В первый раз после двухмесячной суетливой жизни в толпе я был один с природой; в первый раз после месячного пребывания на море я был на суше, и в первый раз я ступал на берег Америки. Я испытал сильное, но трудно выразимое словами настроение. Чувствовалось и облегчение после переезда, и тревога за будущее, и сознание отдаленности от обычных условий жизни и близких людей.

Газеты были полны известиями о духоборах и разными перевернутыми и вымышленными историями о них, о Толстом, о Суллержицком, о Хилкове и др.

Я телеграфировал домой о нашем благополучном прибытии.

Из Америки я уехал в конце марта, перед отъездом побывав в эмиграционных помещениях Виннипега и Селькирка. Те духоборы, которые еще там оставались, выразили мне трогательную благодарность за мое участие в их переселении и на прощание спели для меня свои духовные песни. Эти песни гораздо красивее их однообразных псалмов: некоторые песни поются в оживленном ритме и не все время в унисон, как псалмы. Духоборы подарили мне дюжину платков со своими вышивками.

Я поехал через Монреаль и Торонто в Нью-Йорк. По дороге я провел два дня в Торонто, где виделся с профессором Мэвором, много сделавшим для духоборов. Затем я остановился на несколько часов в Ниагаре, чтобы полюбоваться водопадом. В Нью-Йорке я пробыл только три неполных дня. Там виделся с американцем Эрнестом Кросби. Под влиянием писаний моего отца он оставил службу и пришел к взглядам, близким к мировоззрению Толстого. Он приезжал из Америки в Ясную Поляну нарочно для того, чтобы видеться с моим отцом. Там познакомился с ним и я. В Нью-Йорке он был со мною очень любезен, пригласил меня обедать в своем скромном особняке и проводил меня на пароход. Через него я познакомился также с сыном Генри Джорджа и сыном Ллойда Гаррисона. Оба они горячо отзывались о моем отце.

4 апреля (1899) я приехал в Москву, в хамовнический дом, где в то время жила наша семья. Здоровье матери поправилось.

Л. Н. ТОЛСТОЙ В КРЫМУ В 1901—1902 ГОДАХ. ВСТРЕЧИ С ЧЕХОВЫМ И ГОРЬКИМ

Последнее пятилетие XIX столетия было тяжелым периодом в жизни моего отца.

В 1895 году умер мой младший брат — семилетний Ванечка, очень способный мальчик, не по годам развитой, сердечный и чуткий. Его нежно любили как мать, так и отец, и любовь к нему соединяла их в одном чувстве. А со смертью Ванечки моя мать временно как бы потеряла смысл жизни, и ее истеричность, к которой она была склонна и раньше, теперь обнаружилась с большей силой.

В продолжение того же пятилетия мои две сестры Татьяна и Мария вышли замуж и уехали. Отец, особенно любивший своих дочерей, тяжело переносил их отсутствие, хотя не высказывал этого и старался бороться с этим своим чувством. Отец чувствовал себя одиноко; в доме преобладало мрачное настроение.

В эти годы разные события требовали от него усиленной нервной работы.хлопоты по переселению духоборов, ссылка его друзей Черткова, Бирюкова и Трегубова, разлад с женой, срочное писание романа «Воскресение», отлучение от церкви Синодом (22 февраля 1901), породившее в одних горячее сочувствие, в других резкую враждебность; наконец, начавшееся в то время освободительное движение — все это волновало отца.

В то же время кажущееся несоответствие жизни отца с его убеждениями продолжало угнетать его. Я говорю «кажущееся», потому что, начиная с 80-х годов он во многом изменил свой образ жизни; едва ли он мог пойти

много дальше в упрощении своей жизни, продолжая жить в Ясной Поляне. Он сам убирал свою комнату, работал в поле, был строгим вегетарианцем и, кроме верховой езды, не позволял себе никаких развлечений, требующих труда других людей. Конечно, он мог бы уехать из Ясной Поляны, обойтись совсем без прислуги и вполне отдаться физическому труду. Но в его возрасте и с его неудержимой потребностью духовного творчества это было трудно, и тогда он едва ли мог бы писать. Где бы он ни жил, его близкие друзья, разумеется, оставили бы его жизнь так, чтобы он мог продолжать мыслить и писать.

Тяжелые переживания отца в конце XIX столетия отразились на его здоровье. В 1901 году он неоднократно и тяжело болел. У него появлялись то боли в области печени, то расстройство пищеварения, то стеснение в груди при частом и неровном пульсе, то подъемы температуры. Врачи определяли хроническую болезнь печени, малярию и расстройство деятельности сердца. Они посоветовали ему перемену места и южный климат. Тогда графиня С. В. Панина, богатая землевладелица, предложила ему пожить на ее даче в Гаспре, в двенадцати верстах от Ялты. Он принял это предложение, и 5 сентября 1901 года он с моей матерью уехал в Крым. Я провожал отца, когда он уезжал из Ясной Поляны; меня поразило суровое выражение его измученного лица, когда он, едучи на станцию, сел в коляску.

В то время я часть года проводил в своем имении при селе Никольском-Вяземском, занимаясь хозяйством, часть года — в Москве, где я состоял гласным Московской городской думы; жил я также подолгу и в Ясной Поляне.

В начале октября я поехал в Гаспру, где провел около месяца. Южная природа сделала свое дело. В первые три месяца здоровье отца поправилось, настроение также улучшилось; только сердце нередко переутомлялось; врачи говорили — от восхождений на горы. Он любил ходить от дачи Паниной к морю, где подолгу сидел. Идти туда было неустойчиво, но для возвращения ему приходилось пройти около версты в гору по довольно крутой тропинке, и тогда его пульс начинал усиленно биться, и у него появлялась одышка.

В то время в Крыму жили и бывали у отца Антон Павлович Чехов, Максим Горький и ряд других лиц.

Чехов довольно часто приезжал из Ялты. Помню его внимательное, умное, неулыбающееся лицо, его учтивое, благожелательное отношение к людям, его узкую фигуру. Уже тогда у него был вид нездорового человека: он был очень худ, цвет лица его был матово-бледен.

Отец с ним разговаривал о литературе, о земельном вопросе, о современном положении России. Он высоко ценил некоторые рассказы Чехова, но его драматические произведения не одобрял и говорил: «Ваши пьесы, Антон Павлович, слабее даже шекспировских». Как известно, отец не любил Шекспира и критически относился к нему. Антон Павлович кротко его выслушивал и выказывал к его речам почтительный, но скептический интерес. Сам он говорил мало и не спорил. Отец чувствовал, что Антон Павлович, хотя относится к нему с большой симпатией, не разделяет его взглядов. Он вызывал его на спор, но это не удавалось; Антон Павлович не шел на вызов. Мне кажется, что моему отцу хотелось ближе сойтись с ним и подчинить его своему влиянию, но он чувствовал в нем молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их дальнейшему сближению.

— Чехов — не религиозный человек, — говорил отец.

Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) жил в Оленино, в полутора верстах от Гаспры, и несколько раз приходил к отцу. После тех оваций, которые ему оказали в Москве и которые в то время почему-то вызывали в нем досаду, ему, повидимому, было приятно, что в Гаспре к нему относятся просто как к хорошему знакомому, а не как к восходящему литературному светилу. Он вел себя скромно, рассказывал кое-что про свою прежнюю жизнь, хотя в общем был молчалив. Иногда он играл с жившей у нас молодежью в городки, играл с увлечением, бил сильно и метко.

Отец приветствовал Горького, тогда только начинавшего писать, как писателя, принадлежавшего к рабочему народу и пишущего о рабочем народе, но он говорил: «Горький открыл новый клад в литературе: это — босяки, и жизнь босяков он знает и хорошо описывает, но людей из другой среды он знает плохо и, описывая их, выдумывает»¹.

¹ С последней частью оценки Толстым творчества Горького, конечно, нельзя согласиться.

Многое из тогдашних своих впечатлений Горький внес в свои воспоминания о Толстом. Они живо и интересно написаны. Видно, что Толстой произвел на него сильное впечатление.

Вел. кн. Николай Михайлович приходил в Гаспру пешком из близкого соседнего Ай-Тодора. Черный, лысый, большого роста, в кавалергардской тужурке, он быстрыми шагами всходил прямо на верхний этаж к моему отцу. Он как бы подчеркивал, что приходит именно к нему, а не к его семье. Я не присутствовал при его разговорах с отцом, но слышал о них от отца. Одной из тем был старец Федор Кузьмич. Николай Михайлович исследовал все материалы по вопросу о том, кто был Федор Кузьмич, даже посылал своего секретаря в те места Сибири, где Кузьмич жил, но убедился, что он не был Александром I. Отец был такого же мнения. Рассказ «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» — художественный вымысел; отец сам знал, что этот рассказ исторически не подтверждается.

Другой темой разговоров отца с Николаем Михайловичем были те люди, портреты которых Николай Михайлович собирал. Кроме того, он советовался со Львом Николаевичем о своих семейных делах. Известно также, что Николай Михайлович передал Николаю II письмо Льва Николаевича о земельном вопросе.

24 декабря я опять приехал в Гаспру с намерением подольше там прожить. Здоровье отца ухудшилось. Он жаловался на стеснение в груди, изжогу, расстройство пищеварения и боли в области печени; пульс его был неровен, с перебоями.

Погода была плохая. Гаспра стоит на ветреном месте, и зимой сильный холодный ветер дул откуда-то с Ай-Петри и гудел во всем доме. Настроение в доме было невеселое. Моя мать бранила Крым и стремилась в Москву, сестра Маша Оболенская, жившая в Ялте вместе с мужем, болела. И всех нас угнетала болезнь отца. Новый 1902 год мы встречали уныло.

Сохранилась записка Т. Л. Сухотиной на листке отрывного календаря 3 января 1902 года:

«Папа не совсем хорош: болит печень, слаб, вечером температура немного поднялась: 37,1. Духом бодр и хорош. Пишет... Маша переписывала его статью о религии, а Лиза Оболенская — статью о веротерпимости. Утром был Горький: очень милый, мягкий и добрый человек. Он

все любит, всем интересуется и как ребенок радуется на искусство и восхищается им. Сегодня с папа заспорил, защищал Скитальца, которого папа бранил. По выходе от папа сказал: «Ох, сам чувствую, что правду говорит Л. П.». Спор закончился по поводу рассказа Скитальца, который Волков рекомендовал папа прочесть в «Мире божием» под заглавием «Сквозь строй».

Лечил отца ялтинский врач Исаак Наумович Альтшулер и земский врач мисхорской больницы Константин Васильевич Волков. Приезжал также врач и писатель С. Я. Елпатьевский. Кроме того, в конце января исследовали отца два приезжих известных врача: петербургский — лейб-медик Бертенсон и московский — В. А. Щуровский.

23 января собрался консилиум, и врачи выработали подробную программу лечения. Однако едва ли они ожидали того, что случилось на другой день. В этот день, 24 января 1902 года, с утра по всему дому раздавались громкие стоны отца. У него сделался приступ грудной жабы. Он жестоко страдал; слышать его стоны было невыносимо тяжело. Лишь к вечеру вызванный из Ялты по телефону Альтшулер облегчил его страдания, впрыснул ему морфий.

Вечером температура сразу поднялась до 39° с лишним, а на другой день выяснилось, что у него плеврит и начинается воспаление легких. Доктор Щуровский, предполагавший уехать в Москву, по нашей просьбе остался еще на несколько дней.

Наступили тревожные дни. С каждым днем положение ухудшалось. Температура то поднималась, то падала, сердце работало плохо, с перебоями; отец стонал, задыхался, метался и слабел с каждым днем. Врачи давали ему дигиталис и строфант, впрыскивали морфий и камфару, дежурили по ночам, вообще делали все, что возможно. Они потратили безвозмездно много времени и труда. Несмотря на все свое скептическое отношение к медицине и врачам, отцу пришлось им покориться и исполнять их предписания.

Установились ночные дежурства. Дежурило по двое: кто-нибудь из женщин и кто-нибудь из мужчин. Женское дежурство исполняли: моя мать, моя двоюродная сестра Елизавета Валерьяновна Оболенская и подруга моей сестры Юлия Ивановна Игумнова, иногда также мой

сестры. Мужское дежурство исполняли: Павел Александрович Буланже, я и вызванные по телеграфу мои братья Илья и Андрей. Приезжал также брат Михаил. Брат Лев был за границей.

Моя старшая сестра Татьяна Львовна Сухотина, вместе с мужем и пасынками, приехала еще осенью. Они поселились во флигеле гаспринской усадьбы, но она сама болела и не могла много ухаживать за отцом. Моя вторая сестра Марья Львовна Оболенская также по болезни не могла ухаживать за отцом. Она жила не в Гаспре, а в Ялте.

Каждую ночь ночевал в Гаспре кто-нибудь из врачей: Альтшюлер, Елпатьевский, Сивицкий или Волков. Щуровский, поселившийся в Ялте, приезжал в Гаспру почти ежедневно.

Чехов, узнав о болезни Льва Николаевича, сильно встревожился и постоянно по телефону и у врачей спрашивался о его болезни. Он говорил мне: «Я бы тоже по очереди дежурил у постели вашего отца, но я не могу, я сам больной».

Через несколько дней отец настолько ослабел, что без посторонней помощи не мог повернуться на бок. Он лежал на спине; его тело постепенно сползало книзу, так что его ноги упирались в стенку кровати, а колени сгибались все больше и больше. Время от времени кто-нибудь брал его за плечи и подтягивал кверху: это требовало физической силы и делалось кем-нибудь из дежурных мужчин. А иногда он перебирал пальцами одеяло, что, как известно, делают лишь очень тяжело больные. Трудно было допустить, чтобы человек, дошедший до такой слабости, мог остаться в живых.

Насколько серьезно было положение, видно из отзыва Щуровского. Я его спросил:

— Скажите мне откровенно, Владимир Андреевич, находите ли вы положение моего отца безнадежным? Мне это надо знать как его старшему сыну.— Щуровский ответил:

— Мы, врачи, не можем утверждать, что положение безнадежно, но мы называем подобное воспаление легких у стариков — *pneumonia terminalis* (конечным воспалением легких).

При высокой температуре отец бредил, но когда он был в сознании, он продолжал умственно работать. Он

даже пробовал диктовать свои мысли и поправки к своей статье о свободе слова.

Приведу некоторые слова, сказанные им во время болезни¹.

Однажды он спросил доктора Волкова, лечат ли в земской больнице больных стариков так же, как его. Ему сожалею было, что за ним так тщательно ухаживают и что столько причей его лечат. Волков ответил, что у него в мисхорской больнице употребляются те же приемы, а ухаживают либо фельдшерицы и сестры, либо родные больных.

Про смерть отец повторял изречение, вычитанное им из какого-то романа: «Умереть — значит присоединиться к большинству».

Он с умилением вспоминал слышанные им слова одного старого мужика: «Надо летом помирать: летом легче могилу копать».

Он говорил сестре Тане: «Рассказывали про Адама Васильевича Олсуфьева, что он легко умирал. Совсем не легко умирать; очень трудно сбросить с себя эту привычную оболочку, т. е. свое тело».

Однажды он сказал: «Ценность бриллиантов возрастает не просто пропорционально увеличению числа каратов, а пропорционально квадрату числа каратов. Также и старческая мудрость возрастает не просто пропорционально времени, а — пропорционально квадрату времени. И надо спешить ее раздавать».

Помню, что он сказал: «Пусть мои близкие спросят меня, когда я буду умирать, считаю ли я свою веру истинной. Если я не смогу ответить словами, я кивну или помотаю головой».

Не помню, когда именно он решил, что умирает, и мы по очереди ходили прощаться с ним. В том числе был и брат Лева, приехавший из-за границы. Я, однако, почему-то был уверен, что отец выздоровеет.

1 февраля Щуровский уехал в Москву. Лечение и уход продолжались тем же порядком.

6 февраля моя мать записала в своем дневнике: «Озноб, т.— 39,7. Боль в груди. Приехали Елпатьевский и Альтшулер. Говорят — кризис, воспаление вдруг стало разрешаться со всех сторон».

¹ Для этого я отчасти пользуюсь дневником моей матери, изданным издательством «Север», 1932.

— Все балансирую,— сказал Л. Н.»

7 февраля был крайне тяжелый день. Из следующей записи матери видно, что мы в этот день пережили.

«Положение почти безнадежное. Пульс с утра не слышен, два раза впрыскивали камфару. Ночь без сна, тоска. Густой снег, сильный ветер, 8° мороза.»

Если я не ошибаюсь, в этот же день в начале февраля приехали в Гаспру мать и отчим Софьи Владимировны Паниной — Иван Ильич и Анна Павловна Петрункевичи. Они приехали в качестве хозяев дачи распорядиться в случае смерти Льва Николаевича, а также для того, чтобы оградить его от ретивых ревнителей православия. Мы боялись, что полиция опечатает и конфискует рукописи отца и что к умирающему без спроса войдет священник с дарами, для того чтобы потом поведать миру, что Толстой вернулся в лоно православной церкви.

Во время болезни отец просил, чтобы его похоронили там, где он умрет; поэтому Петрункевичи сообщили нам, что они предоставляют для могилы Льва Николаевича место в гаспринском парке. Это — холмик над нижним шоссе.

Несмотря на свои страдания и слабость, отец постоянно думал о своих работах и даже диктовал. В конце декабря он написал письмо Николаю II с призывом «уничтожить тот гнет, который мешает народу высказать свои желания и нужды», отменить «те исключительные законы, которые ставят рабочий народ в положение пария», дать «свободу передвижения, свободу обучения и свободу исповедания веры» и путем обложения земельной ренты налогом уничтожить частную земельную собственность по теории Генри Джорджа. 16 января была закончена последняя редакция этого письма и отослана через вел. кн. Николая Михайловича. 28 января Николай Михайлович телеграфировал, что письмо передано царю. В феврале Лев Николаевич диктовал поправки к своей статье «Что такое религия и в чем ее сущность?»

Незадолго перед болезнью он написал «Солдатскую» и «Офицерскую» памятки. 8 февраля он продиктовал П. А. Буланже предисловие к ним, где он указал на неизбежность революции. Это — следующие слова: «Есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный, — кровавая революция, второй — признание правительством их обязанности не идти против закона прогресса, не от-

стаивать старого, или, как у нас, возвращаться к древнему — поняв направление пути, по которому движется человечество, вести по нем свои народы. Ввиду неизбежности первого выхода, т. е. революции, предоставляю к распространению теперь эти две памятки, надеясь на то, что мысли, содержащиеся в них, уменьшат братоубийственную бойню, к которой ведут теперь правительства свои народы».

12 февраля вернулся Щуровский и на этот раз высказал надежду на выздоровление.

15 февраля моя мать получила письмо от петербургского митрополита Антония с просьбой воздействовать на мужа в смысле примирения его с православной церковью. Она передала эту просьбу Льву Николаевичу, на что он сказал:

— О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла. А что такое церковь? Какое может быть примирение с неопределенным предметом?

По его совету моя мать Антонию не отвечала.

20 февраля отец почувствовал, что ему лучше. Он сказал доктору Волкову:

— Видно, опять жить надо.

Моя мать его спросила:

— А что, скучно?

Он вдруг оживленно сказал:

— Как скучно? Совсем нет. Очень хорошо.

После этого у него были временные ухудшения, температура капризно прыгала то вверх, то вниз, сердце временно ослабевало, но он постепенно выздоравливал. Впрочем, он еще не вполне верил в свое выздоровление, и 28 февраля моя мать записала его слова:

«Хороша продолжительная болезнь. Есть время к смерти приготовиться».

Около того времени я посетил Чехова на его тихой аутской даче. Он был один, был приветлив, но молчалив. По двору ходил ручной журавль. Вокруг двора и в доме цвели цветы. Небольшая собачка Каштанка приветливо виляла хвостом.

— Эту собаку мне подарили за мой рассказ «Каштанка», — сказал он. — Видите, она каштановая. Но не я ее назвал Каштанкой.

Разговор, естественно, зашел о здоровье моего отца. Я спросил его:

— Скажите мне откровенно, Антон Павлович, как врач, думаете ли вы, что отец может выздороветь?

Он ответил:

— Ваш отец может выздороветь, но он стар, он очень стар... — Антон Павлович не договорил, но, очевидно, мысленно добавил: «но он долго не проживет».

Впоследствии я не раз вспоминал этот разговор. После этого отец прожил восемь лет, а Антон Павлович меньше чем три года.

4 марта моя мать записала: «День ото дня лучше. Доктора нашли еще крупные хрипы.

10 марта. Совершенная весна. У Л. Н. аппетит, пьет кефир.

13 марта. Л-у Н-у все лучше и лучше. Т. 36 — утром и 36,6 — вечером. Пульс 83—92».

12 марта был Горький.

Отец выздоравливал. Какая это была радость для всех нас! И мы были горды: общими силами мы его выходили. Настроение его также улучшилось. Помню одну его шутку. Доктор Альтшулер ездил в Москву, где слушал известную певицу М. А. Оленину-д'Альгейм и, вернувшись в Крым, с восхищением рассказывал про ее пение. Отец, в то время как Альтшулер выслушивал его легкие, спросил его:

— Кого вы предпочитаете слушать, меня или Оленину-д'Альгейм?

Альтшулер нашелся и ответил:

— Каждый в своем роде, Лев Николаевич.

— Смотрите, когда будете слушать Оленину, не скажите ей, как мне: кашляните разочек.

В то время я каждый день ходил гулять по так называемой горизонтальной дорожке, проведенной для царской семьи между Ай-Тодором и Ливадией. На эту дорожку публику не пускали, но нам через вел. кн. Николая Михайловича дали особое разрешение ходить по ней. Поэтому я там никого не встречал и в одиночестве наслаждался солнцем и видами на Ялту, море и горы. Я чувствовал, что вместе с весной, солнцем и выздоровлением отца оживаю и я от своей неврастении, которой был подвержен в те годы.

10 марта я записал следующий мой разговор с отцом. Он сидел у окна и любовался на Ай-Петри. На мой вопрос о здоровье он сказал как бы с сожалением:

— Мне лучше, возвращаюсь к жизни.

Мне послышалась грустная нотка в его голосе, и я спросил:

— Разве ты не рад?

— Да, рад, но немножко скучно. Думаю, что еще могу послужить людям. Без этого не хотел бы жить. Радует меня разве природа. Я много и серьезно думал во время болезни о боге, жизни и смерти. Все мысли о смерти чужды только для жизни. Мы ограничены пределами жизни, и не можем их переступить. Мы можем только сказать: да будет воля твоя.

В марте приехал из Москвы приглашенный нами доктор Дмитрий Васильевич Никитин, который поселился в Гаспре и оставался там до отъезда отца из Крыма. Впоследствии Дмитрий Васильевич был другом нашей семьи, жил долгое время в Ясной Поляне, а затем при каждом заболевании отца с готовностью приезжал в Ясную Поляну из Москвы или Звенигорода, где он был старшим врачом земской больницы. Он лечил отца и в предсмертной его болезни.

31 марта был Чехов. 22 апреля моя мать уехала на десять дней в Ясную Поляну и Москву.

Однако недолго мы радовались. Почти поправившись, отец в конце апреля опять заболел, на этот раз брюшным тифом, правда, в легкой форме, но при его возрасте и слабости и особенно после перенесенного воспаления легких эта болезнь была, пожалуй, опаснее прежней. Дали знать Щуровскому, и он с большой готовностью приехал из Москвы. Опять началось лечение и установили дежурства. Отец вторично дошел до такой же слабости, до которой он доходил при воспалении легких.

Опять я дежурил по ночам у постели отца. Лишь к концу мая он стал поправляться, чему способствовала прекрасная крымская погода. Мы его вывозили на кресле на воздух, и он часами сидел, любуясь на Ай-Петри или на роскошную растительность гаспринского парка. Он даже два раза ездил по окрестностям.

В начале июня предполагалось, что все мы уедем из Гаспры в Ясную Поляну, но отъезд пришлось отложить, и это было к лучшему: в тот год в средней России весной и в начале лета стояла необычно холодная и сырая погода. Мы покинули Крым лишь 26 июня. Отец доехал до Ялты в коляске, оттуда — пароходом до Севастополя. На

пароходе он встретился с писателем Куприным. В Севастополе он пересел на ялик, на котором его довели до вокзала железной дороги, где стоял вагон, специально для него заказанный. Тут произошло незначительное, но характерное происшествие, о чем рассказал в своих записках П. А. Буланже. В вагоне было очень жарко, поезд отходил через четыре часа, и Лев Николаевич вместе с Буланже пошел в соседний с вокзалом небольшой садик. Едва они там посидели несколько минут, как с балкона дома, к которому прилегал садик, сошла дама и потребовала, чтобы они ушли. Буланже запротестовал, но дама настойчиво продолжала требовать:

— Это сад начальника дистанции. Здесь не позволено никому шататься. Если вы не уйдете, я позову сторожа.

Буланже продолжал протестовать, но Лев Николаевич поднялся и сказал:

— Оставьте, зачем ей причинять неудовольствие.

И вместе с Буланже вышел из сада.

За несколько минут до отхода поезда две дамы стали умолять проводника пустить их в вагон к Толстому. Оказалось, что одна из них была та самая, которая удалила его из сада. Теперь она, узнав, что это был Толстой, умоляла дать ей возможность попросить у него прощения. Но пройти в вагон ей не удалось, в вагоне была суета, в проходах лежали вещи, стояли провожающие, и даме пришлось удовольствоваться тем, что ее покаяние, а также букет, ею принесенный, были переданы Льву Николаевичу.

27 июня отец благополучно вернулся в Ясную Поляну.

Крымская болезнь была переломом в жизни моего отца. Приехав из Крыма, он уже не переезжал на зиму в Москву и стал постоянно жить в Ясной Поляне. Моя мать перестала настаивать на переезде в Москву. Теперь он поселился отдельно от нее в тех двух комнатах, в которых прожил до того рокового дня — 28 октября 1910 года, когда он навсегда уехал из Ясной Поляны.

Насколько я мог заметить, его характер после крымской болезни несколько изменился. В нем стало меньше суровости, меньше недовольства собой и своей жизнью, меньше молчаливого осуждения людей, особенно своих семейных. Он стал более снисходителен к себе и к людям. Во время его крымской болезни я раз слышал, как он в

бреду проговорил громко: «Все люди, все человеки». Позднее я ему сказал, что слышал эти слова: он не помнил, но не отрицал, что сказал.

А я думаю, что в нем в то время уже зарождалась та мысль, которую он высказал позднее, в последний год своей жизни: «Пет в мире виновных», считая, что настоящими виновниками являются условия и среда, их породившие, и набросал рассказ под этим заглавием.

Я видел А. П. Чехова в последний раз в феврале 1904 г., когда только что началась японская война. В то время в Москве настроение было мрачное: темные тучи нависли над городом; было ветрено, и что-то моросило — то ли не то дождь, не то снег; а по рыхлому и грязному уличному снегу черносотенцы ходили пьяной толпой с портретами царя и кричали «ура». Было разбито несколько ресторанов и избито несколько студентов.

Антон Павлович незадолго перед тем приехал из Крыма и остановился где-то в Петровских линиях. Я пошел к нему. Вид Антона Павловича был очень болезненный. Он часто кашлял и во время разговора несколько раз уходил в другую комнату, где выплевывал мокроту в стеклянную полоскушку. При нас ему, повидимому, этого не хотелось делать.

Ольга Леонардовна была дома. Я говорил ей: «Антону Павловичу надо бы поскорее ехать на юг, в Москве такая отвратительная погода». Она отвечала: «Да. Мы скоро едем за границу, но Антон Павлович хорошо себя чувствует в Москве».

Я подумал: может быть, Антону Павловичу приятно быть в Москве; на аутской даче скучно. Но только на юге Антон Павлович мог бы прожить несколько лет, а теперь — недолго ему остается жить.

Вскоре после этого нашего свидания Антон Павлович уехал за границу, в Баденвейлер, где и умер.

Отец мой сильно почувствовал смерть Антона Павловича. Перечитывая его рассказы, он рассортировал их по достоинству так, как с своей точки зрения понимал их, написал предисловие к «Душечке» и причислил некоторые рассказы к первому сорту, некоторые — ко второму, а самого Чехова — к большим писателям.

ОСЕНЬЮ 1905 ГОДА

В начале октября 1905 года я на три дня уехал из Москвы в Ясную Поляну, где жили мои родители и сестры. В это время началась первая большая железнодорожная забастовка, и я застрял в деревне.

Станция железной дороги Засека находится в трех верстах от Ясной Поляны. Там я не раз справлялся, когда же опять пойдут поезда, но ничего узнать не удавалось. Служащие с значительным и таинственным видом давали понять, что они что-то знают, но знали они не больше меня.

— Вот, — говорили они, — в Москву поедут депутаты от железнодорожных служащих в Туле, на другой день вернутся и сообщат нам, как и что.

Депутаты действительно поехали в Москву, но не вернулись.

— Вот, — говорил начальник станции, — придет из Москвы поезд с железнодорожным батальоном.

Но такой поезд не пришел.

Станция была необыкновенно оживлена. На ней был задержан курьерский севастопольский поезд.

В общем курьерский поезд на станции, на которой он по расписанию совсем не останавливается, простоял две недели.

В Ясной Поляне настроение с каждым днем делалось тревожнее. Незнание волновало. Что делается в Москве, в Петербурге? Без почты, железной дороги и телеграфа нам казалось, что мы отрезаны от всего мира. Говорили, что в Москве стреляют из пушек, что во многих

— Чего ты там кудахчешь? Какие такие отцы да хозяева? Нынче все — отцы, все — хозяева.

В этих словах и в том тоне, каким это было сказано, чувствовалось новое настроение рабочих.

Под Подольском, проезжая около полотна железной дороги, мы заметили обогнавший нас пассажирский поезд на Москву. Как это было странно: по рельсам шел настоящий поезд. У будки на переезде я спросил сторожа, кончилась ли забастовка.

— Как же, кончилась, — ответил он радостно, — манифест вышел.

— Какой манифест?

— Стало быть, царь всех убоготорил. В Подольске ходят с образами и с царским портретом.

Так я впервые узнал о царском манифесте 17 октября.

Я поспешил на станцию Подольск. Там было очень оживленно. Все между собой разговаривали, точно кто-то вдруг снял со всех уст многолетний обет молчания.

На станции была только одна газета с манифестом. За нее было заплачено полтора рубля, и она быстро переходила из рук в руки.

Скоро подошел другой пассажирский поезд, на котором я и поехал. Под Москвой поезд шел очень медленно: в этом месте не успели еще закрепить рельсы, снятые забастовщиками. Обер-кондуктор нас предупредил, что на вокзал идти нельзя, но почему нельзя — не объяснил. Вероятно, там в то время собралась сходка железнодорожников.

Поезд пришел в Москву в 11 часов ночи. На улицах прохожих почти не было. Было темно, и только кое-где горели керосиновые фонари. С вокзала по пустым и таинственным улицам я поехал в Литературно-художественный кружок на Б. Дмитровку, где, как мне казалось, должен был происходить митинг или банкет. В клубе было очень много народа; еще больше народа, как мне сказали, было там накануне. После двухдневной тряски, холода и темноты на улицах мне показалось, что в зале было особенно светло и шумно. Когда я вошел, играли марсельезу. Затем говорились непривычно смелые речи, провозглашались тосты за борцов освобождения. Настроение было неподдельно праздничное.

Двадцатые числа октября 1905 года. Чувствовалось, что жизнь вступает в новое русло.

В первые дни преобладало радостное настроение. Казалось, что обещающие свободы будут немедленно облечены в форму закона и осуществлены, что усиленная охрана будет отменена, что враждебные народу администраторы будут удалены, что Государственная дума будет вскоре созвана, и тогда конец старому строю. Казалось также, что революционные действия должны прекратиться, или что эти действия и впредь будут иметь тот же сравнительно мирный характер, какой они имели до тех пор.

Вскоре после 17 октября радостное настроение стало все больше уступать место чувству недоверия к осуществлению обещаний, выраженных манифестом.

20 октября хоронили Баумана, убитого во время одной манифестации. Известно, как внушительна была процессия этих похорон; порядок, поддерживаемый самой толпой, был образцовый. Много было красных знамен, на некоторых было написано: «Вооруженное восстание».

Как известно, вечером того же дня было произведено избиение возвращавшихся с похорон. В Городской думе я слышал доклад гласного Н. П. Шубинского, присутствовавшего на следствии по этому делу (согласно постановлению Городской думы) в качестве представителя от города. Напуганность властей в то время была такова, что такой представитель был допущен. Шубинский рассказывал, что избиение было подготовлено. Часть толпы после похорон Баумана пошла к Университету, так сказать домой, — там помещались люди, организовавшие в то время вооруженную оборону, а впоследствии — вооруженное восстание. Это была преимущественно учащаяся молодежь. Когда они, пройдя по Никитской, повернули на Моховую, на них двинулась стоявшая у манежа толпа черносотенцев. Увидев толпу, они выстрелили из револьверов в воздух, никого не ранив. В ответ на это в них стали стрелять — сперва кто-то из толпы, а затем казаки. Казаки стреляли по собственному почину, сговорившись с черносотенцами. Сигнал был дан рожком казацкого урядника. Офицер же, бывший при казаках, был не с ними, а где-то на другом конце манежа. Сколько человек было при этом убито и ранено — тогда не удалось выяснить; говорили, что убито было пять человек, а ранено около двадцати. Это было первое черносотенное избиение. Следующие три дня — 21, 22 и 23 октября — остались

в моей памяти как кошмар; в эти дни черная сотня хозяйничала по всей Москве. Тогда многие думали, что эти черносотенные избиения были кем-то подготовлены и что к ним были причастны охранные отделения. Об этом свидетельствует то, что они с поразительным однообразием внезапно начались и так же внезапно кончились, одновременно во многих городах. Можно спросить — кому и зачем это было нужно? На это можно ответить: во-первых, так как после 17 октября казалось, что охрана будет упразднена, и сами охранники так думали, то, для того чтобы не быть упраздненными, им надо было показать, что они еще нужны, и показать, что население якобы враждебно относится к развертывающемуся революционному движению. Во-вторых, у всех тех сомнительных личностей, которые были причастны к охранным отделениям, поднялась — у одних бессознательная, у других сознательная — злоба ко всему тому, что привело к манифесту 17 октября, и ко всем тем, кто этому способствовал. Я видел одну прокламацию, где говорилось, что господчина — дворяне, одворянившиеся купцы и прелая интеллигенция вместе с жидами хотят свергнуть царя и опять отдать народ в крепость, а делается это студентами и курсистками. Эта провокационная прокламация, как мне говорили, исходила из Пречистенской полицейской части.

В эти три дня — 20, 21 и 22 октября — мне пришлось много ходить и ездить по Москве. 21 октября часов в пять вечера я ехал от Каменного моста к Ильинским воротам на конке. У Каменного моста в вагон вошел пьяненький, невзрачный человек в поддевке. Он тотчас же начал не умолкая что-то говорить, ни к кому в частности не обращаясь. Он говорил себе под нос, несвязно и невнятно, но из его слов выходило что-то такое странное и страшное, что сперва я этому не поверил.

— Мы сейчас проучили студента, — хвастал он, — бросили его под Каменный мост. Они против царя, так их и надо.

Как потом оказалось, то, что он говорил, была правда: под мост был брошен студент Лопатин.

Я стал его спрашивать, правда ли то, что он говорит, то есть что студента убили.

— А то нет? Зачем мне врать? Надо всех их перебить, таких-сяких... — и он разразился ругательствами.

Я стал ему говорить, что убивать вообще нехорошо,

что если кто виноват, так на это есть суд. Он и слышать не хотел.

— Как похорошо убивать? Как же иначе? Позволить им народ мутить, что ли? Что суд? А если судьи за них? Тогда как? Они — против бога, они — против царя. Они... — и он опять стал ругаться. Он, повидимому, хотел сам себя убедить, что он поступил так, как надо.

Тут же в вагоне сидел один немолодой человек в картузе и пальто, повидимому приказчик или мелкий торговец. Он молчал, изредка со страхом поглядывая то на меня, то на пьяненького в поддевке, и истово крестился на все церкви, мимо которых мы ехали. Мы вышли в одно время с ним. Он осмотрелся и, видя, что никто, кроме меня, его не слышит, таинственно сказал мне:

— Напрасно вы с ними разговоры разговариваете. Сегодня ихний день. Я вот все на церкви крещусь, чтобы не посмели троунуть.

У Арбатских ворот я остановился у палатки, где продавались фрукты. Туда же подошел рыжий мужчина в потертом пальто и картузе и стал говорить с продавцом. Кругом собралась кучка народа. Мужчина этот говорил почти то самое, что было написано в виденной мною прокламации.

— Их, студентов, надо на куски рвать, — говорил он, — да не одних студентов, забирай повыше, есть между ними и генералы. Они — против бога, против царя, хотят народ в крепость вернуть. Мы доберемся до них! Сегодня народ их на улицах бьет, придет время, мы по домам будем ходить, там их отыщем. Я знаю, в одном доме есть четыре таких человека, мне полицейский говорил. Мы до них доберемся. Вот еще курсистки...

И по поводу курсисток он стал говорить такие непристойности, выдумывая для них казни и истязания, что единственная бывшая при этом женщина в платочке поспешила уйти.

За эти три дня я наслушался многого.

22 октября вечером в одном дорогомилловском трактире убили двух мелких чиновников, кажется, из контрольной палаты. Утром я случайно видел их. Они надели красные галстуки и были в восторженном настроении. В трактире они говорили что-то такое, что не понравилось там сидевшим черносотенцам. Их за это убили.

Один мой знакомый рассказывал мне, что с имперьяла

конки он видел, как у Смоленского рынка кого-то били. Он видел только, как над движущейся толпой то поднималась, то опускалась чья-то беспомощная рука. Ужасно было то, говорил он, что уличная жизнь тут же рядом шла своим чередом: извозчики охотились за седоками, конка звонила, прохожие проходили. Потом мы узнали, что действительно на этом месте был убит студент. Он кинулся было от толпы в булочную Севастьянова, но булочники его вытолкали оттуда, и он был растерзан.

Такой же случай был на Долгоруковской. Толпа черносотенцев остановила вагон трамвая, вошла в него, вытащила из него студента в мундире и растерзала его.

13 ноября настроение в Городской думе было повышенное и тревожное. Дума обращалась к правительству и властям с разными требованиями, просьбами и пожеланиями. Предлагалось, между прочим, удаление Трепова. Специальная городская комиссия под председательством М. Я. Герценштейна, в которой участвовал и я, занялась прибавками к заработной плате городских рабочих. Перед этой комиссией прошли представители рабочих всех городских предприятий: железнодорожных, канализационных, водопроводных, боен, типографий и пр. Все эти представители рабочих, приходя в комиссию, требовали права решающего, а не только совещательного голоса в комиссии. М. Я. Герценштейн настойчиво торговался с ними. Соглашение с рабочими привело к установлению минимального жалования простому рабочему в 18 рублей, мастерскому — в 25 рублей, за выслугу лет была принята периодическая прибавка. В общем увеличение заработной платы рабочих увеличило расход города больше чем на миллион рублей в год.

В городе во время забастовки и после нее не было крупных грабежей или убийств с целью ограбления. Это объясняется отчасти тем, что забастовщики сами следили за порядком и охраной жизни и имущества жителей. Уличное движение, однако, сильно сократилось.

После 20 октября, вплоть до декабрьского восстания, власти продолжали пассивно относиться к событиям, и в Москве организовалась в противовес черной сотне боевая дружина. Она заседала в Университете.

На собраниях даже умеренных партий непременно кто-нибудь призывал к оружию и к восстанию. На митингах же левых партий — в Университете, в Народном доме

и в театре «Аквариум», — чем революционнее была речь, тем больший успех она имела. После ярких речей, приглашавших к активным действиям, ничего другого никто слушать не хотел.

Молодежь поспешно вооружалась, тратя на это иногда последние деньги. Револьверы поднялись в цене. На оружие открыто собирали деньги. Вооружившаяся, но непривычная к ношению оружия, молодежь горела желанием применить его к делу.

Боевая дружина засела в Университете, делая оттуда вылазки и вступая в стычки с черносотенцами. Случалось также, что боевая дружина командировывала свои отряды для охраны тех лиц, на которых предполагались нападения черносотенцев.

1910 ГОД. О ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦАХ И ДНЯХ ЖИЗНИ Л. Н. ТОЛСТОГО

ОСЕНЬ 1910 ГОДА, ПЕРЕД УХОДОМ ОТЦА

Осенью 1910 года в моей жизни произошла «история», не имевшая отношения к жизни Ясной Поляны, но помешавшая мне принять в ней более деятельное участие, чем я мог и хотел. Эта история стала известной моему отцу и огорчила его. Поэтому я пишу о ней: к тому же она характерна для быта помещиков прежнего времени.

В начале девятисотых годов некий молодой дворянин Константин Владимирович Сумароков, сын богатого московского домовладельца, решил купить себе имение в таком уезде, где помещики были бы наиболее реакционно настроены. Одним из таких уездов был наш Чернский уезд. Там он и купил имение с великолепным домом, винокуренным заводом и мельницей. Это имение, Алябьево, находилось в пяти верстах от Никольского-Вяземского, где я жил. В 1910 году Сумароков состоял председателем тульского отделения «Союза русского народа». Несмотря на то, что направление Сумарокова было мне антипатично, мне пришлось с ним все же познакомиться как с соседом и чернским предводителем дворянства, на какую должность он был избран.

Он был страстным псовым охотником, особенно на волков, а в Никольском, в так называемом Каменном лесу, каждый год жил выводок волков. Этот лес — в версте от усадьбы, и хотя волки не шkodили у нас, — они обыкновенно не трогают скот в ближайшем соседстве, — но мы их часто встречали. Однажды волк вблизи усадьбы пересек дорогу жене, в другой раз я видел, как волчата

играли на лугу, раз вечером на опушке леса я встретил трех волков и т. д. Я давал Сумарокову разрешение на охоту в моем лесу, и он несколько лет охотился там. В 1910 году брат Миша, тоже страстный охотник, просил меня дать разрешение на охоту ему, а не Сумарокову, на что я и согласился, посоветовав ему, однако, пригласить на охоту Сумарокова. Последствием этого был крупный разговор Миши с Сумароковым в Туле и дерзкое оскорбительное письмо к нему Сумарокова.

15 сентября я получил от брата Миши письмо с приложением письма Сумарокова. Он спрашивал меня, как я хочу поступить с этим письмом; сам же он ответил Сумарокову лично, что с таким господином не желает иметь никакого дела. Я ничего не ответил брату, но нашел, что он правильно ответил Сумарокову, и также решил больше не знаться с этим господином. Однако он сам скоро о себе напомнил. 22 сентября лесной сторож пришел мне сказать, что Сумароков с несколькими охотниками охотится в Каменном лесу, несмотря на запрещение. Я немедленно велел запрячь тройку лошадей и поехал на место охоты с моим приятелем художником Н. В. Орловым, жившим летом в Никольском, и выпроводил Сумарокова с компанией из леса, причем Сумароков, увидя меня, позорно бежал, не вступая со мной в объяснения.

30 сентября я поехал в г. Чернь на ярмарку, которая бывала там 1 октября. Вечером в чернском клубе ко мне подошел Сумароков и протянул мне руку. Я не подал ему руки и сказал:

— Извините меня, я с вами не желаю быть знакомым.

Через несколько минут ко мне подошли два чернских помещика и передали мне вызов на дуэль со стороны Сумарокова. Я этого не ожидал и ответил, что сейчас ничего сказать не могу, но что вскоре доверенные мною лица дадут ему ответ. Положение мое было неприятно. Разумеется, я как с принципиальной, так и с житейской точки зрения вовсе не желал драться с Сумароковым. Из-за чего? Из-за его грубого письма, написанного не мне, из-за самовольной охоты или из-за того, что он был в «Союзе русского народа»? Однако просто отказать было рискованно. По нелепому неписаному кодексу дворянской чести за отказ от дуэли Сумароков мог меня серьезно оскорбить. Надо было дело уладить миром. Я поехал в Тулу искать секундантов.

Чтобы не возвращаться к этой истории, я теперь же расскажу, чем она кончилась. Весь октябрь и ноябрь надо мной висел дамоклов меч. Для приглашения секундантов и переговоров с ними мне пришлось не раз ездить в Тулу и Москву. В то же время дела меня призывали в Никольское-Вяземское. А мне надо было и хотелось пожить в Ясной Поляне.

Позднее переговоры моих секундантов, Стаховича и Шатилова, с секундантами Сумарокова возобновились. Им удалось уладить дело миром, за что я им крайне признателен. Это было не совсем легко, потому что Сумароков очень настаивал на дуэли.

Добавлю несколько слов для характеристики К. В. Сумарокова. В 1916 году он растратил более 70 000 рублей, принадлежавших тульскому дворянству, и учел несколько векселей с подделанной подписью своей матери. Он был предан суду и посажен в тюрьму, а позднее, кажется в 1928 году, он занимался изготовлением фальшивок в Берлине, о чем в то время писали в газетах.

2-го, 3-го и 4 октября я провел в Ясной Поляне. Тогда же приехал П. И. Бирюков.

2 октября я рассказал отцу об охоте Сумарокова, умолчав о его вызове. О вызове он узнал позднее. Отец спросил меня с иронической улыбкой:

— А волки ничего не знают?

Я рассмеялся и устыдился глупости всей моей «истории». В. Ф. Булгаков, передавая этот разговор, заметил, однако, что Л. Н. даже ахал на Сумарокова. Заинтересовало его и описание того, как я выпроводил из своего леса великосветскую охоту... Кто этот Сумароков? — спрашивал он.

Я рассказывал отцу о картинах, задуманных Орловым. Одна картина: мужик едет на телеге, к нему подходит человек интеллигентного вида — бежавший и скрывающийся революционер, с просьбой дать ему есть или приютить. Вторая картина: раннее утро; сквозь туман солнце дает свой первый луч. Мужик, инвалид японской войны, с деревяшкой вместо ноги, сидит на лавке перед избой; свешивается рукав солдатской шинели. С инвалидом дети; одного ребенка он кормит кашей. А баба стоит перед ним, держа на плече косу с крюком. Муж — инвалид — нянчит детей, а баба идет на мужицкую работу — косить.

Третья картина: поп приехал на дрожках на покос и угощает народ водкой. Вокруг попова работника, разливающего водку, стоят с улыбающимися лицами мужики с косами и бабы с граблями.

Орлов много и долго работал над этими картинами, но они оказались ему непосильны. Он хорошо передавал выражение человеческих лиц, но до этого никогда не писал картин на plein air, а здесь он хотел передать красоту пейзажи; во второй картине он даже старался поймать первый луч восходящего солнца и чуть свет бегал к реке со своим мольбертом.

Из одной из этих картин Орлов не окончил. Я его уговаривал брать более простые сюжеты, и по моему совету он написал два хороших этюда: женщину с коромыслом и портрет одной девушки в своей домотканной одежде.

Отец очень заинтересовался картинами Орлова и одобрил его сюжеты, особенно солдата-инвалида. Он всегда с любовью вспоминал об Орлове.

События дня 3 октября, свидетелем которых я был, описаны В. Ф. Булгаковым и П. И. Бирюковым. Отец ездил верхом с Д. П. Маковицким. Вернувшись, он жаловался, что у него окоченели ноги от холода. Он лег отдыхать, не снимая сапог. Он спал долго, так что мы, не дожидаясь его пробуждения, в седьмом часу сели обедать. Мать, разлив суп, пошла к нему. Вернувшись, она сказала, что он сидит на кровати, спрашивал, который час и едят ли. Но его глаза показались ей странными, как перед припадком.

В своем дневнике моя мать записала о происшедшем 3 октября следующее: «3 окт. Утром Лев Николаевич прогулял, потом поехал верхом ненадолго; вернувшись, жаловался, что ноги окоченели от холода и, не снимая сапог, лег. Во время нашего обеда я вошла к нему и с ужасом увидела, что он все забыл и заговаривается, и клонит его ко сну. Потом началось что-то ужасное. Судороги в лице, страшное дерганье ног, которые нельзя было удержать. Ужас, отчаяние и раскаяние овладели мной. К ночи судороги прекратились. Всю ночь я просидела на стуле у Льва Николаевича. Он спал и иногда стонал»¹.

¹ «Дневник Софьи Андреевны Толстой», 1910, изд. «Советский писатель», М. 1936, стр. 209.

На этот раз отец выздоровел. Разумеется, его болезнь была результатом тяжелых переживаний последних дней.

Непосредственно же причиной обморока, я думаю, было то, что отец заснул, не снявши своих тяжелых высоких сапог, что затруднило кровообращение. Утром 4 октября отец после глубокого сна проснулся в сознании, но очень слабым и спросил: где его маленький дневник, хранившийся в кармане его блузы. Я передал дневник, взятый мною на сохранение во время обморока отца, и сказал: «Я его не читал». Мне было радостно услышать, что он мне на это сказал: *«Ну, ты мог бы прочесть»*.

5 октября отец встал. Мать согласилась, чтобы Чертков вновь приезжал в Ясную Поляну¹.

В этот свой приезд в Ясную Поляну я резко говорил с матерью, в чем меня поддерживала сестра Таня. Я говорил матери, что если она считает себя больной, то ей надо лечиться, если же она считает себя здоровой, то ей надо опомниться и иначе себя вести. Если она будет продолжать так же мучить отца, то мы соберем семейный совет, вызовем врачей, устроим ее от ведения дел по изданию и от хозяйства и заставим разъехаться с отцом.

После всех этих событий и разговоров отношения между моими родителями немного улучшились, но ненадолго.

Для того чтобы понять жизнь в яснополянской усадьбе в 1910 году, необходимо обратиться к далекому прошлому. Разлад между моими родителями произошел от непримиримого противоречия между людьми, стремящимися к идеалу, и людьми, признающими счастье в материальном благополучии.

Начало разлада между отцом и матерью относится к 80-м годам.

Еще 18 июня 1884 года отец записал в своем дневнике: «Мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу».

Я не буду входить в обсуждение душевных переживаний моих родителей, могу только сказать, что чувствовалась необходимость того или иного выхода из создавшегося положения.

¹ В. Г. Чертков, живя рядом с Ясной Поляной в Телятенках, по требованию С. А. Толстой, не бывал в Ясной у Толстого.

Отец пошел на компромисс. 21 мая 1883 года он дал матери полную доверенность на ведение всех своих имущественных дел. Тогда же он передал ей право издания своих произведений, напечатанных до 1881 года. Это право он предоставил ей сначала на словах, а затем по формальной доверенности.

Однако этого компромисса оказалось недостаточно. Имения еще принадлежали ему, и он был ответственен за дела, связанные с владением ими. Чтобы освободиться от этой ответственности, он решил передать все свои имения жене и детям, что и было оформлено раздельным актом в июне 1892 года. В то же время он объявил в газетах (в 1891 году), что предоставляет всякому желающему издавать все его произведения, написанные после 1881 года. Авторское же право на произведения, напечатанные до этого года, попрежнему он оставил Софье Андреевне.

Многие упрекали Л. Толстого в том, что он не раздал свои имения, а передал семье. Но он считал, что раздача своих имений была бы с его стороны враждебным, даже насильственным актом по отношению к семье. Передачу жене права на издание его сочинений до 1881 года, то есть собственности, нажитой его личным трудом, можно было бы назвать слабостью с его стороны. Но он руководствовался тем соображением, что до 1881 года он был другим человеком, что этот человек как бы умер, оставив свое наследство семье, а приблизительно с восьмидесят первого года родился новый человек, не признающий никакой собственности: с этого времени все им написанное не должно быть частной собственностью, а принадлежать всем. Этот новый человек надеялся, что со временем его семья последует за ним, и остался жить вместе с ней.

8 и 9 августа 1909 года отец написал оставшееся неотправленным письмо, неизвестной, скрывшейся за псевдонимом «Е. Ш.», где высказал свое отношение к собственности, ему принадлежавшей. Он писал: «Когда в 1880 году я пришел к убеждению, что христианин не должен владеть собственностью, я отказался от нее и просил распорядиться с нею так, как будто я умер, вследствие чего все мои семейные получили то, что следовало им по наследству, на что они рассчитывали, имели право рассчитывать... Я вызвал бы в них естественное чувство неспра-

ведливого лишения того, на что они считали себя вправе, и недобрые ко мне чувства.— Так что, если бы мне пришлось теперь вновь распорядиться с моим имуществом, я не думаю, чтобы я поступил иначе. Одно, что я мог сделать, это то, чтобы отказаться и не для каких-нибудь отдельных лиц, а безразлично для всех, от своего права на вознаграждение за все мои писания с того времени, 80 года, когда я предоставил поступать с моим имуществом, как с имуществом умершего лица.— И отказ этот... должен бы, казалось, быть достаточным доказательством того, что... я никак не мог быть руководим корыстной целью, так как литературное вознаграждение за сотни печатных листов, написанных мною после 80-го года, составило бы, по меньшей мере, сотни тысяч рублей и в десятки раз превосходило бы то, что мною оставлено семейным».

Передав семье имения и право издания своих произведений, написанных до 1881 года, а право на свои произведения после этого года, на общее пользование, отец, однако, сознавал, что не разрешил вопроса о несоответствии между своими убеждениями и своим образом жизни. Обстановка зажиточных помещиков, хозяйничание жены в Ясной Поляне, требовавшее охранительных мер, издание и продажа его произведений женой — все было прямо противоположно мировоззрению Льва Николаевича; а живя с семьей в Ясной Поляне, он поневоле участвовал в этой жизни. Отсюда — его страдания и упреки как самому себе, так и своим семейным. Люди, мало его знавшие, говорили, что он лицемерно отказался от собственности, переведя свое имущество на имя семьи. Он это чувствовал и постоянно мучился противоречием между своей жизнью и своим мировоззрением. Но как ни тяжело ему было это противоречие, он не мог сделать большего, то есть отказаться от своего авторского права на все свои произведения и не жить в Ясной Поляне. Он встретил бы такое противодействие со стороны своей семьи, что семейная жизнь его была бы разрушена, а он не считал себя вправе оставить жену и детей. Уехать из Ясной Поляны? Это он также не считал выходом из своего положения. «Где родился, там и годился», говаривал он. Лев Николаевич не считал внешней перемену в жизни — перемену места жительства — шагом вперед на пути к нравственному совершенствованию.

А моя мать не только не разделяла отрицательного отношения отца к собственности, но, наоборот, продолжала думать, что чем богаче она и ее дети, тем лучше. Она была не только женой, она была матерью, а матерям особенно свойственно мечтать о земных благах для своего потомства. Они ни на какой компромисс не шла, а старалась как можно выгоднее издавать «Сочинения Л. Н. Толстого» и имела доход не только из его произведений, написанных до 1881 года, но и из написанных позднее. Она убеждалась, что это необходимо еще потому, что ее сыновья нередко обращались к ней с просьбой помочь им в их денежных делах, что она большей частью и делала.

Можно ли ее винить в том, что она заботилась о земных благах для своих детей? Обвиняющие ее могут ли указать на мать, любящую своих детей и не желающую им материального благополучия? А с годами она все больше утрачивала свое душевное равновесие, чему способствовала и ее истеричность, к которой она была склонна и которая усилилась после смерти обожаемого ею младшего сына Ванечки в 1895 году, затем после тяжелой операции, которой она подверглась в 1906 году, и особенно обострилась во второй половине 1910 года.

Хозяйство в Ясной Поляне велось матерью. Но она не любила и не умела хозяйничать. Дело велось плохо, и трудно сказать — убыточно или доходно.

Хозяйство во всяком имении, как бы оно ни велось, требует охраны его. Иначе никакое хозяйство невозможно: кражи, потравы и порубки парализуют всякую работу. Охрана же влечет за собой обращение к власти, наказания за правонарушения или по крайней мере угрозу наказаний. И моей матери приходилось волей-неволей охранять имение, следовательно, нанимать сторожей и обращаться к властям.

А каждый раз, как управляющему или Софье Андревне приходилось прибегать к охранительным или принудительным мерам, отец испытывал жестокое нравственное страдание. Виновные приходили к нему с просьбой заступиться за них, что он и делал.

Вследствие такого положения дел жизнь в Ясной Поляне была ненормальна и тяжела как для отца, так и для матери. Однако она мало изменялась в продолжение многих лет и, может быть, не изменилась бы до конца дней

Из этих записей видно, что отец, во-первых, выражал не требования, а пожелание о том, чтобы после его смерти все его произведения были бы общественной, а не частной собственностью его семьи, и, во-вторых,— чтобы В. Г. Чертков *вместе с Софьей Андреевной* занялся их обработкой и изданием. Он особенно доверял Владимиру Григорьевичу, как своему другу и единомышленнику, но в то же время не хотел обидеть жену исключением ее из своих значительных распоряжений. Не знаю, как у отца возникло намерение написать формальное завещание, знаю только, что В. Г. Чертков вполне сочувствовал этому намерению. Формальное завещание с подписями свидетелей было впервые написано отцом во время его пребывания в Крёкшине (под Москвой) у Черткова. В нем он писал: «Чтобы все мои сочинения, литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще не изданные, написанные или впервые напечатанные с 1 января 1881 года, а равно и все написанные мною до этого срока, но еще не напечатанные, не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет»¹. Редактором и издателем всех своих писаний он назначал одного Черткова. Здесь он уже не упомянул о своей жене, однако исключил из своих произведений, подлежащих общему пользованию, те из них, которые были напечатаны до 1881 года; следовательно, авторское право на эти произведения он оставил семье. Завещательные пожелания отца *не были принудительны для его наследников*: они были только нравственно обязательны. Наследники могли пренебречь ими, но раз эти пожелания были высказаны, их *нельзя было уничтожить и скрыть*. Дневниковая запись 1895 года хранилась в трех копиях — у сестры Маши, Черткова и у меня. Если бы даже запись в дневнике и все копии были уничтожены, то для обнаружения воли Льва Николаевича достаточны были бы показания лиц, прочитавших эту запись.

Другое дело — формальное завещание. Оно было *юридически* обязательно для наследников, *но его можно было уничтожить*.

¹ См. «Дневник Льва Николаевича Толстого», т. I, 1895—1899, изд. Сытина, М. 1916, стр. 245 и 259.

В. Г. Чертков не мог удовлетвориться завещательными пожеланиями Льва Николаевича, высказанными в дневнике. Он был убежден в том, что передача Львом Толстым своих произведений на общую пользу имеет громадное общественное значение, так как это должно способствовать удешевлению и доступности этих произведений для широких масс. В то же время он знал, что если не будет формального завещания, то его роль после смерти Толстого будет иная, чем при его жизни, что, может быть, он будет даже устранен от дела, составлявшего главный интерес его жизни. И потому ему нужно было формальное завещание, передающее в его руки редактирование и издание всех произведений Л. Толстого. Он считал, что он продолжатель дела Льва Толстого и он один компетентен как редактор и издатель его сочинений. А когда завещание было уже написано, он особенно боялся, что Софья Андреевна уговорит Льва Николаевича его уничтожить, и принимал все меры для сохранения его в тайне. Последствием этого было то, что его поведение в 1910 году крайне обострило отношения между моими родителями и было одной из причин мучительных переживаний отца в последний год его жизни. Это признает и В. Г. Чертков. Он говорит: «Вокруг этого центрального вопроса [т. е. вопроса о завещании] сходятся, собственно говоря, все нити тех сложных условий и обстоятельств, которые послужили причиной самого ухода»¹.

По поводу завещания отец сказал Ф. А. Страхову:

«Тяжело мне все это дело... Да и не может пропасть бесследно слово, если оно выражает истину и если человек, высказывающий это слово, верит в истинность его. А эти внешние меры обеспечения — только от неверия нашего в то, что мы высказываем»².

Из этих слов очевидно, что инициатива по составлению формального завещания исходила не от него, иначе он не говорил бы, что оно не нужно, что ему тяжело это дело.

Завещание еще не раз было переправлено и переписано. Окончательно оно было собственноручно написано отцом 22 июня 1910 года. 31 июля отец подписал «сопроводительную записку» к формальному завещанию, которая

¹ В. Г. Чертков, Уход Толстого, М. 1922, стр. 44.

² Ф. А. Страхов, Две поездки из Москвы в Ясную Поляну — «Петербургская газета», 1911, № 305 от 6 ноября.

определенно передавала все дело редактирования и издания литературного наследия Льва Толстого и все его рукописи в руки В. Г. Черткова. Чертков же должен был передать право издания на общую пользу.

Болезненное состояние моей матери значительно ухудшилось, начиная со второй половины июня. Это видно как по дневникам отца и воспоминаниям всех знакомых, так и по ее дневникам. В конце июня ее взволновало сравнительно незначительное обстоятельство, а именно то, что Лев Николаевич отложил на два дня свой отъезд из Мецкерского, где он гостил у Черткова. Начиная с этого времени, не проходило дня, когда она не жаловалась бы в своих разговорах и дневниках на бессонницу, невралгические боли в разных частях тела, усталость, раздражительность и т. п. Поводами для ее истерических припадков служили как крупные, так и мелкие факты. Действительность ей представлялась как бы в кривом зеркале, а временем она теряла самообладание, так что в некоторых ее словах и поступках ее нельзя было признать вменяемой.

Ее старшая дочь, Т. Л. Сухотина, писала ей 1 июля: «Я вижу, что вы страдаете истерией, что болезнь эта заставляет вас видеть все в преувеличенном и извращенном виде, и поэтому вам надо постараться от этой болезни излечиться... Ведь все знают, что женские недомогания очень сильно действуют на нервную систему».

Последствием ненормального состояния моей матери были некоторые навязчивые идеи, приводившие ее к безвыходному и безотрадному настроению и болезненному отношению к своей жизни.

Во второй половине 1910 года такими навязчивыми идеями были: боязнь прослыть Ксантиппой, подобной сварливой жене Сократа, стремление удалить В. Г. Черткова из жизни своего мужа, неприязненное отношение к нему и страстное желание обнаружить завещание своего мужа и добиться его уничтожения.

Привыкнув в первые годы своей замужней жизни читать все дневники и письма своего мужа, переписывать ему и знать, что он пишет, она считала обидным для себя то, что ее отстраняли от участия в его писательской деятельности и что его дневники последних лет ей были неизвестны и хранились у Черткова. Она не без основания

подозревала, что в этих дневниках есть неблагоприятные отзывы о ней, и всеми силами добивалась изъятия их от Черткова и передачи их ей. Она надеялась, что по ее настоянию Лев Николаевич вычеркнет эти отзывы, что он отчасти и сделал (в дневниках 1888—1895 годов). Добилась она только того, что Лев Николаевич согласился взять у Черткова свои дневники, но он их не передал ей, а поместил в тульский банк на хранение. Так как, по мнению Софьи Андреевны, Чертков был виновником отстранения ее от участия в деятельности мужа, от заботы о его рукописях, от хранения дневников и пр., и он же был виновником составления завещания, то самой острой ее навязчивой идеей было устранение Черткова от Льва Николаевича и неприязненное отношение, даже ненависть, к нему.

До половины 1910 года она относилась к нему терпимо, даже дружелюбно. Так, в марте 1909 года она писала письмо для напечатания в газетах, где она называет насильем запрещение Черткову жить в Тульской губернии, говорит, что вина его — лишь близость к Л. Н. Толстому и что, хотя она во многом не согласна с ним и Львом Николаевичем, пропаганда Черткова была направлена на проповедь любви и высокой нравственности. Летом 1910 года ее отношение резко изменилось. Отчасти причиной этому было дурное отношение к ней самого Владимира Григорьевича. 6 июля между ним и Софьей Андреевной был неприятный разговор. Об этом есть запись у Гольденвейзера¹ и об этом пишет сам Чертков в письме к С. А. Толстой².

Вообще отношение В. Г. Черткова к моей матери было далеко не добрым. Это выразилось в его письмах, поступках (особенно после смерти Льва Николаевича) и в его статьях («Уход Толстого», Предисловие к посмертным сочинениям и др.).

В своих письмах к Льву Николаевичу Чертков постоянно в самых мрачных тонах говорит о его семейной жизни. Например, осенью 1909 года он писал ему об «ужасе, который вот уже столько лет происходит вокруг вас»³. В августе 1910 года, когда после разговора с

¹ «Вблизи Толстого», II, стр. 101 и 103.

² Там же, стр. 278—284.

³ Бирюков, Биография Л. Н. Толстого, т. IV, стр. 222.

П. И. Бирюковым Лев Николаевич усомнился в том, хорошо ли он сделал, написав формальное завещание, Чертков написал длинное письмо, в котором преувеличенно описывал отношение к Льву Николаевичу его семейных. Хотя моя мать не читала его писем (его письма немедленно ему возвращались), она не могла не чувствовать его враждебного к ней отношения.

Это враждебное отношение особенно ясно выразилось в письме В. Г. Черткова к Досеву. Болгарин Христо Досев, уехавший из Болгарии, для того чтобы не отбывать военную службу, сблизился с Чертковым и писал ему:

«Я не знаю ничего хуже, чем рабство перед глупой, грубой бабой... Не такова ли С. А., и не в рабстве ли у нее Л. Н.?»

Выписав эти слова в своем письме, Чертков ответил на это:

«Ты ошибаешься, полагая, что Л. Н. находится в рабстве у С. А. и делает все, что она ни захочет. Напротив того, у него есть предел, дальше которого он не уступает. Не уступает он тогда, когда требует от него того, что несомненно противно его совести». Затем он пишет, что «если Лев Николаевич не ушел от жены, то это единственно потому, что он недостаточно уверен в том, что ему действительно следует уйти, что воля божия в том, чтобы он ушел... Тихая и свободная жизнь (вне Ясной Поляны, вдали от жены) в сравнении с *тем адом*¹, в котором ему сейчас приходится жить, была бы именно настоящим раем... Очевидно, если он не делает этого, то никак не из слабости или малодушия, не из эгоизма, а, напротив, из чувства долга, из мужественного решения оставаться на своем посту до самого конца». В доказательство своих слов Владимир Григорьевич приводит выписки из дневника самого Льва Николаевича.

Далее Владимир Григорьевич говорит, что никто больше его и Анны Константиновны не страдает от отношения Льва Николаевича к Софье Андреевне и что в минуты душевной слабости ему (Владимиру Григорьевичу) «становится очень больно от сознания того, что над личным общением между Л. Н-ем и нами, его ближайшими,

¹ Подчеркнутое мною набрано курсивом.— С. Т.

беззаветно преданными его друзьями, как бы командует шальная воля нелюбящей его и ненавидящей его душу женщины, обезумевшей от эгоизма, злобы и корысти»¹. Ему кажется, что и Л. Н., при удивительной чистоте своего собственного сердца, не в состоянии видеть Софью Андреевну такую, какая она есть на самом деле.

В том, что Лев Николаевич продолжал жить в Ясной Поляне, вместе с Софьей Андреевной, Чертков видит подвиг: «Ему, выставившему заповедь любви в ее единственно истинном, ничем не ограниченном смысле, — именно ему нужно было в жизни своей иметь возможность проявить на деле действительную достижимость для человека такой неограниченной, ничем не нарушимой любви. А для этого ему и необходим был тот неумолимо жестокий тюремщик, с которым, в лице С. А., вся жизнь его связана»².

А. Б. Гольденвейзер, из книги которого я цитирую письмо Черткова к Досеву (стр. 324—353), говорит, что письмо печатается им в редакции несколько отличной от напечатанной в книге Черткова «Уход Толстого». В самом деле, в книге Черткова письмо к Досеву короче и изменено в некоторых местах. Так, вместо «перед глупой, грубой бабой» напечатано: «перед безрассудной, своевольной женщиной»; вместо «адам» — «тюрьмой»; абзац, начиная со слова «становится» до слова «корысти», выпущен; фраза «а для этого» до слова «связана» также выпущена. Вероятно, редакция Гольденвейзера и есть подлинное письмо к Досеву, которое В. Г. Чертков смягчил для опубликования.

Письмо к Досеву имело бы значение только как личное мнение Черткова, оставшееся между ним и его «другом», если бы это письмо не было переслано Чертковым самому Льву Николаевичу.

Прочтя это письмо, отец мой записал в своем интимном «Дневнике для одного себя»: «Все очень хорошо, но неприятно нарушение тайны дневника»³.

Моя мать догадывалась о завещании уже с конца июля, но наверное о нем не знала. Незнание мучило ее и возбуждало недобрые чувства, а ее истеричность облекала эти чувства в самые уродливые формы. Она чув-

¹, ² Подчеркнутое мною набрано курсивом.— С. Т.

³ Юбилейное изд., т. 58, стр. 142.

ствовала себя обиженной: как мог ее муж, проживший с ней сорок восемь лет, скрывать от нее свои завещательные распоряжения. Она была пристрастна и далеко не всегда правдива, что свойственно истеричкам. Конечно, у нее были корыстные цели, но не для себя, а для детей и своих «двадцати пяти внучат», как она любила повторять. И она была убеждена в своей правоте: наследие Льва Толстого должно было, по ее мнению, принадлежать его семье. Поэтому, догадываясь, что есть какое-то завещание, она всеми средствами, свойственными истерической женщине, стала стремиться к обнаружению и уничтожению завещания.

Наоборот, Черткову надо было сохранить завещание, поэтому он принимал меры к сохранению его в тайне от Софьи Андреевны, так как, обнаружив его, она могла угрожать Льву Николаевичу его уничтожить. Отсюда — борьба между ними.

Оних двух лиц окружают сочувствующие им.

Софья Андреевна пристает ко Льву Николаевичу с вопросом, есть ли завещание, он отвечает уклончиво; она устраивает истерические сцены, грозя самоубийством. Мой брат Андрей прямо требует от отца ответа, отец говорит, что не считает нужным ему отвечать. К Софье Андреевне приезжает Альмедингер и нащупывает почву для покупки всех произведений Толстого издательством «Просвещение», сулит миллион; Софья Андреевна ищет способа это осуществить, Лев Николаевич возмущается и, конечно, не соглашается и т. д.

А Чертков и сочувствующие ему развивают усиленную деятельность для сохранения тайны завещания. Чертков пишет Льву Николаевичу письма, в которых старается доказать, что жена его — изверг, что она и некоторые сыновья его обуреваемы корыстью; А. Б. Гольденвейзер и В. М. Феофитова вмешиваются в семейные дела Льва Николаевича и осведомляют его о полубезумных речах Софьи Андреевны и т. д.

Таково было положение дел в Ясной Поляне в 1910 году. Лучшим же доказательством правильности моей точки зрения служит маленький интимный дневник отца. Начиная с конца июля он одновременно вел два дневника: большой и малый. Большой дневник Чертков отдавал переписывать чуть ли не на другой день после его написания. Его читали сам Чертков и все те, кому

Чертков давал его читать; маленький же дневник или «Дневник для одного себя», как он его называл, отец никому не давал читать, в том числе и Черткову.

Что отцу было неприятно, когда кто-нибудь читал его дневник, видно из следующей записи его дневника 14 октября 1897 г.: «Нет у меня того религиозного чувства, которое было, когда прежде писал дневник ни для кого. То, что его читали и могут читать, губит это чувство. А чувство было драгоценное и помогало мне в жизни. Начну сначала с нынешнего 14-го числа писать опять попрежнему — так, чтобы никто не читал при моей жизни»¹. То же видно по воспоминаниям В. Г. Черткова; 9 мая 1910 года он писал: «В первый же день приезда Лев Николаевич представил мне свой дневник для переписки. При этом он сказал, вспомнив, что я буду его читать, что сначала почувствовал некоторое стеснение, записывая в него, но потом решил, что будет писать, как будто никто читать не будет»².

Уже самое ведение дневника «для одного себя» доказывает, что отцу было неприятно, что Чертков и другие читали его дневники. А из этого дневника топором не вырубишь слова: «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела и противна мне. Буду стараться любя (странно сказать, я так далек от этого) вести ее»³.

«От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех»⁴.

Я отношусь отрицательно к завещанию отца потому, что, возбудив враждебные отношения между близкими ему людьми, оно отравило последний год его жизни, и потому, что оно противоречило его убеждениям, как косвенное обращение к властям. В одном из писем к Черткову он писал: «Едва ли распространенность моих писаний окупит недоверие к ним, которое должна вызвать непоследовательность в моих поступках». Но я думаю, что мне, моей матери и братьям завещание принесло большую пользу в нравственном отношении. Оно возложило

¹ «Дневник Льва Николаевича Толстого», изд. Сытина, М. 1916, стр. 95.

² «Толстовский ежегодник», 1913, III, стр. 64.

³ Юбилейное изд., т. 58, стр. 129.

⁴ Там же, стр. 138.

ответственность за литературное наследие отца на Чертова и освободило от этой ответственности и от всяких нареканий почти всех членов нашей семьи. Если бы не было формального завещания, вероятно, некоторые из нас захотели бы извлечь из писания отца материальные выгоды, несмотря на его пожелания, выраженные в дневниках. Но тогда как совесть мучила бы тех из нас, которые пошли бы на это, и как шельмовало бы их общественное мнение! Газеты с восторгом обливали бы помоями семью Толстого. Теперь же никто не вправе сказать, что его воля не была исполнена: доверенность, данная присяжному поверенному П. К. Муравьеву на утверждение завещания, была подписана мною и моими братьями Ильей и Михаилом, и завещание никто не оспаривал.

Замечу, что завещание едва ли способствовало лучшему распространению произведений Л. Н. Толстого. Предположим, что завещания не было бы и что некоторые наследники литературного наследства Льва Толстого захотели бы воспользоваться своим правом. Но ведь не все члены семьи были бы согласны с ними. Неужели те из нас, которые хотели бы исполнить волю отца, не воспротивились бы требованиям остальных? Так, например, сестра Татьяна предполагала после смерти отца выговорить себе право на издание некоторых его произведений и отдать их на общую собственность; об этом она говорила отцу. Вероятно, было бы принято какое-нибудь среднее решение.

В первой половине 1910 года, несмотря на разлад между моими родителями, с внешней стороны все обстояло благополучно. Установился известный *modus vivendi*, и жизнь в Ясной Поляне протекала так, как она сложилась уже давно.

День отца распределялся так: он вставал около восьми часов утра, умывался, одевался, убирал свою комнату, выносил ведро с нечистотами, уходил на короткое время в сад или в Чепыж и, выпив кофе, садился заниматься. Около двух часов он завтракал (отдельно от прочих жителей Ясной Поляны), после чего уходил или уезжал вертелом на прогулку; возвратившись, он отдыхал, в шесть часов обедал вместе со всеми, после обеда читал, разговаривал, иногда играл в винт или в шахматы или слушал игру А. Б. Гольдешвейзера. В десять часов пил чай и около двенадцати ложился спать.

В. Ф. Булгаков, живший то в Ясной Поляне, то по содействию в Телятенках, секретарствовал, помогая отцу в его обширной переписке и в составлении «На каждый день». Д. П. Маковицкий следил за здоровьем отца, ежедневно ходил на деревню в небольшую амбулаторию, нередко ездил к больным за несколько верст или верхом сопровождал Льва Николаевича в его прогулках. Софья Андреевна занималась хозяйством — домашним и по имению, держала корректуры по новому изданию сочинений Л. Н. Толстого и писала свою подробную автобиографию «Моя жизнь».

Редкий день проходил без посетителей и гостей. Особенно часто бывали соседи — жители Овсянникова и Телятенки. В Овсянникове — небольшом имении сестры Татьяны, в пяти верстах от Ясной Поляны, жила М. А. Шмидт, а летом — семья Горбуновых. В Телятенках жили летом А. Б. Гольденвейзер с женой и семья В. Г. Черткова. В большом деревянном доме, построенном на этом участке Чертковым, помещались его жена Анна Константиновна, его сын Владимир Владимирович, несколько крестьянских парней, сверстников Владимира Владимировича, занимавшихся вместе с ним сельским хозяйством, посетители и гости Чертковых. Сам же Владимир Григорьевич с марта 1909 до июля 1910 года не жил в Телятенках, так как по нелепому распоряжению властей ему было запрещено жить в Тульской губернии якобы за то, что он там вел пропаганду «лжеучения» Льва Толстого. Вскоре это запрещение было снято. Со второй половины июля он поселился опять в Телятенках и стал почти ежедневно бывать в Ясной Поляне, до 26 июня, когда этому воспротивилась моя мать.

В 1910 году я и моя семья — жена и сын — жили часть года в Москве, в Хамовническом переулке, в доме, принадлежавшем в то время моей матери, а часть года — в Никольском-Вяземском, имении, доставшемся мне по разделу. В Москве жена занималась педагогической деятельностью, а сын учился в частной гимназии Поливанова. В Никольском я вел хозяйство и бывал не только летом; мне приходилось нередко там бывать по делам хозяйства и в остальные времена года, когда семья жила в Москве. Так как Ясная Поляна находится между Москвой и Никольским, то при частых поездках в имение я обыкновенно заезжал в Ясную Поляну, иногда на не-

сколько дней. Из дневника матери и воспоминаний моих, Булгакова и Гольденвейзера я могу восстановить, в какие дни я был в Ясной Поляне в 1910 году. Между прочим, я пробыл в Ясной Поляне с 28 мая до 8 июня. Отец ко мне относился холодно и сдержанно. 3 июня он записал в своем дневнике: «Недоброе чувство к Сереже, с которым (не с Сережей, а с чувством) недостаточно борюсь. Но зато очень хорошее чувство к Соне...»

5 июня. «...То же к Сереже чувство, но я держался. Невыносимая самоуверенность. Поучительно. Как из-за этой самоуверенности люди лишают себя лучшего блага любви?»¹

Не помню, чем было вызвано недоброе чувство отца ко мне; может быть тем, что я в разговоре высказывал несогласные с ним мнения, а может быть, он был вообще недоволен моим образом жизни.

Во время моих частых посещений Ясной Поляны в 1910 году я чувствовал, что там что-то изменилось, что рознь между моими родителями углублялась все более и более, что истеричность матери усилилась и что отцу жизнь в яснополянской усадьбе стала невыносимой. В этом году ему минуло восемьдесят два года. В этом возрасте ему необходим был покой. Вместо этого ему постоянно приходилось быть мишенью истерических припадков моей матери, в которых много раз повторялось одно и то же: упреки, сетования на свою якобы несчастную судьбу, болезненные подозрения, враждебные выходки по отношению к Черткову, требование отдать дневники, обнаружить завещание, угрозы самоубийства и т. д.

Я тогда не знал о завещании и только предполагал, что отец сделал какое-то распоряжение на случай смерти. Но я замечал, что со стороны В. Г. Черткова и А. Б. Гольденвейзера возникло какое-то враждебное отношение к матери, а отцу приходилось постоянно выслушивать от них неблагоприятные отзывы о ней и сообщать о том, что она говорит, что делает и что предполагает делать. Замечали это и другие посетители Ясной Поляны, например, П. И. Бирюков и Н. Н. Ге.

Не знаю, ушел ли бы отец из Ясной Поляны, если бы не было завещания. В своем дневнике он писал, что его роль «юродство»; под этим словом он понимал осужде-

¹ Юбилейное изд., т. 58, стр. 60 и 61.

ние людской молвой человека за видимое, но не действительное противоречие между верой и образом жизни; а перед своим уходом из Ясной Поляны он сознавался Марье Александровне Шмидт о своем желании уйти из дома, как о слабости. И может быть, он бы не ушел, если бы не создалось в Ясной Поляне интриги вокруг завещания. Но его «разрывали на части», как он написал в своем дневнике. В то же время он почувствовал, что основная причина его пребывания с семьей потеряла свой смысл. Всплыла давнишняя мечта об иной жизни. Эта мечта была им высказана не только в его дневниках; она выразилась и в некоторых его произведениях (замысел о декабристе, ушедшем с переселенцами, «Отец Сергей», «Молодой царь», «Записки старца Федора Кузьмича» и др.).

И вот 28 октября, возмущившись поведением Софьи Андреевны, шарившей в его кабинете, он тайно среди ночи уехал. Открыто он не мог уехать — моя мать приняла бы всевозможные меры, для того чтобы его удержать, а если бы он все-таки уехал, поехала бы за ним.

ОТЪЕЗД ОТЦА ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ. НАША ПЕРЕПИСКА С НИМ ПОСЛЕ УХОДА

Странное создалось настроение в Ясной Поляне. До отъезда отца крупных событий или несчастий в яснополянском доме не произошло; в то же время все — не только моя мать, и главное сам отец, но также и их дети и Чертков — чувствовали себя глубоко несчастными. Когда я уезжал из яснополянского дома, я как будто выходил на воздух из душной комнаты. То же испытывала сестра Таня. Она писала матери 13 октября 1910 года: «Милая маменька, по вашему письму вижу, что вы не спокойны и поэтому ни вы, ни окружающие не могут быть счастливы. Когда немного отойдешь от вас, то со стороны кажутся особенно нелепыми ваши тревоги. Можно было бы смеяться, если бы не любить и поэтому не жалеть вас.— Папа любит Черткова, так и на здоровье! Слава богу, что на старости лет у него есть друг — единомышленник, который кладет все свое сердце, все свои силы и деньги на распространение его мыслей... Ведь вы примирились с тем, что сочинения папа после 1881 г. принадлежат всем.

А Чертков только передаточная инстанция от папá к публике... Бросьте вы это безумие: ничего, кроме плохого, из этого выйти не может...»

Создавшееся положение дел было настолько тяжело, что не могло долго длиться: должна была наступить развязка. Отец стал уже определенно думать о том, чтобы тайно уехать из Яспой Поляны. Однако еще накануне своего отъезда он сомневался. На вопрос, хорошо или дурно он поступит, покинув свою жену, он не находил в себе ответа. 26 октября он записал в своем «Дневнике для одного себя»: «Все больше и больше тягочусь этой жизнью. Марья Александровна не велит уезжать, да и мне совесть не даст. Терпеть ее, терпеть, не изменяя положения внешнего, по работая над внутренним»¹. Как известно, толчок, побудивший его уехать, случился ночью 28 октября. В дневнике записано:

«28 окт. Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежде почти, услышал отворяние дверей и шаги... Визжу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С. А. что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запираюл дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем, и ночью все мои движения, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, проворочался около часа, зажгел свечу и сел. Отворяется дверь и входит С. А., спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать»².

И он уехал...

28 октября днем в Москве я получил короткую телеграмму из Яспой: «Приезжай немедленно». Не зная об отъезде отца, я недоумевал: что случилось? Я сообщил телеграмму брату Илье, и мы с ним поехали в тот же день

¹ Юбилейное изд., т. 58, стр. 143.

² Там же, стр. 123—124.

с ночным поездом. 29-го утром на станции в Засеке мы встретили нашего слугу Ивана Шураева, от которого узнали, что отец уехал неизвестно куда вместе с Душаном Петровичем. Мать послала Шураева на розыски, узнав, что отец и Душан Петрович взяли билеты до Горбачева. Дома я узнал, что отец внезапно уехал в ночь на 28-е, что мать вчера кидалась в пруд, откуда ее вытащили; не спит и не хочет ничего есть. Мы прочли письмо отца к матери от 28 октября 1910 г., написанное перед самым уходом:

«Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится — стало невыносимо. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста, — уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не ездь за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я, от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства...»¹

Мать вышла к нам в залу. Она была неодета, непричесана, в каком-то капоте. Меня поразило ее лицо, вдруг постаревшее, сморщенное, трясущееся, с бегающим взглядом. Это было новое для меня выражение. Мне было и жалко ее и жутко. Она говорила без конца, временами плакала и говорила, что непременно покончит с собой, что ей не дали утонуть, но что она уморит себя голодом. Я довольно резко сказал ей, что такое ее поведение произведет на отца обратное действие, что ей надо успокоиться и полечить свои нервы; тогда отец вернется. На это она сказала: «Нет, вы его не знаете, на него можно подей-

¹ Юбилейное изд., т. 58, стр. 563—564.

ствовать только жалостью» (то есть возбудив в нем жалость). Я подумал, что это правда, и хотя возражал, но чувствовал, что мои возражения слабы. Впрочем, я говорил, что раз отец уехал, он не может скоро вернуться, что надо подождать, а через некоторое время он, может быть, вернется в Ясную. Особенно тяжело было то, что все время надо было держать ее под наблюдением. Мы не верили, что она может сделать серьезную попытку на самоубийство, но, симулируя самоубийство, она могла не учесть степени опасности и действительно себе повредить.

Не помню, в этот ли день, или на другой день приехали братья Андрей и Миша и сестра Таня. Лева был за границей. К счастью, мы все пришли к единодушному решению. Мы решили всячески удерживать мать от поездки к отцу или за поисками его, выписать из Москвы доктора-психиатра и двух сестер милосердия для ухода за матерью и безотлучного наблюдения за ней. Мы сознавали, что должны были быть жестоки с матерью, но вместе с тем понимали, что иначе мы не можем поступить. И Андрей совершенно верно говорил, что отыскать отца ничего не стоит, что губернатор и полиция, вероятно, уже знают, где он, что намню думать, что Лев Толстой может где-нибудь скрывается. Газеты тоже, очевидно, сейчас же это пронюхают. Установится даже особого рода спорт: кто первый найдет Льва Толстого.

Мы решили написать отцу письма.

Написали письма братья Илья и Андрей, сестра Татьяна и я. Миша не написал. Привожу эти письма и письма отца, написанные нам.

Мое письмо:

«29 октября 1910 г. Милый папа, я пишу потому, что тебе приятно было бы знать наше мнение (детей). Я думаю, что мама нервно больна и во многом невменяема, что вам надо было расстаться (может быть, уже давно), как это ни тяжело обоим. Думаю также, что если даже с мамой что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход. Прости, что так откровенно пишу. *Серезжа*».

Письмо Татьяны Львовны:

«Милый, дорогой папенька, ты всегда страдал от большого количества советов — поэтому я и не даю советов. Ты, как и всякий, поступаешь так, как можешь и как считаешь нужным. Никогда тебя осуждать не буду. О мамá скажу, что она жалка и трогательна. Она не умеет жить иначе, чем она живет. И, вероятно, никогда не изменится в корне. Но для нее нужен страх или власть. Мы все стараемся ее подчинить, и думаю, что это будет к ее пользе. Прости меня. Прощай, друг мой. Твоя *Таня*. 29 окт. 1910».

Письмо Ильи Львовича:

«Милый папá, я чувствую, что в это тяжелое для всех нас время я должен тебе написать. И мне хочется сказать тебе правду, и я думаю, что и ты этого хочешь... Мы не хотели входить в оценку твоего поступка. На всякий поступок есть тысяча причин и поводов, и даже если бы мы могли знать все эти поводы и причины (а мы знаем только часть), то и тогда разобраться в их соотношении мы бы не могли. Говорить нечего, что осуждать кого-нибудь из вас мы не хотим и не можем. Прежде всего мы должны сделать все, чтобы сохранить и насколько возможно успокоить мамá. Она до сих пор, вторые сутки, ничего не ест и только вечером выпила глоток воды. Все время говорит о том, что жить ей незачем, и жалка до того, что никто из нас не мог говорить с ней без слез. Как всегда это бывает, многое — напускное, отчасти — сентиментальность, но вместе с тем так много искренности, что нет сомнения в том, что ее жизнь в большой опасности. Страшно и за насильственную смерть и за медленное угасание от горя и тоски. Я так думаю, и мы должны это сказать тебе, чтобы быть правдивыми. Я знаю, насколько для тебя была тяжела жизнь здесь. Тяжела во всех отношениях. Но ведь ты на эту жизнь смотрел, как на свой крест, и так и относились люди, знающие и любящие тебя. Мне жаль, что ты не вытерпел этого креста до конца. Ведь тебе 82 года и мамá 67. Жизнь обоих вас прожита, но надо умирать хорошо. И мне страшно подумать, какая это была бы смерть, если бы мамá осталась в пруду, или если с ней сделается что-нибудь. Прости меня, что я, может быть, резко говорю

правду, и знай, что я люблю и понимаю тебя во многом и только хочу помочь. Я не зову тебя сейчас вернуться сюда, и, ч. знаю, что ты этого сделать не можешь, но ради спокойствия мамá надо не прекращать с ней сношений, писать ей, дать ей возможность окрепнуть нервно, и дальше — дальше бог даст. Если захочешь написать мне, я буду очень рад. Твой *Илья*. 29 окт. 1910».

Письмо Андрея Львовича:

«Меняя поляна. 29 окт. 1910.

Милый папа, только самое доброе чувство, о котором я тебе говорил в последнее наше свидание с тобой, принуждает меня сказать тебе мое мнение о положении матери. Здесь собрались Таня, Сережа, Илья, Миша и я, и, сколько мы ни судили, никакого выхода, кроме одного — это огридить мать от самоубийства, на которое, я уверен, она в конце концов окончательно решится. Способ единственной — это охранять ее постоянным надзором наемных людей. Она же, конечно, этому всеми силами противится и, я уверен, никогда не подчинится. Наше же, братьев, положение в данном случае невозможно, ибо мы не можем бросить свои семьи и службы, чтобы находиться неотлучно при матери. Я знаю, что ты решил окончательно не возвращаться, но по долгу своей совести должен тебя предупредить, что ты своим окончательным решением убиваешь мать. Как тебе был тяжел гнет последних месяцев, я знаю, но также знаю, что мать больна нервно и жизнь последнее время друг с другом была непосильна для вас обоих, и если бы ты собрал нас для того, чтобы мы повлияли на мать, чтобы вы расстались с ней на неопределенное время по хорошему, с надеждой, что она успокоится нервно, то не было бы тех ужасных страданий, которые мы переживаем вместе с тобой и матерью, хотя ты далеко от нас. Относительно же того, что ты говорил мне о роскоши и материальной жизни, которой ты окружен, то думаю, что если ты мирился с ней до сего времени, то последние годы своей жизни ты бы мог пожертвовать семье, примирившись с внешней обстановкой. Прости мне, мой милый папаша, за то, что мое письмо тебе покажется полно советов, но мне больно и жалко как тебя, так и мамá, которую невозможно видеть без глубочайшего страдания. Твой сын *Андрей*».

На письма мое и сестры Тани, доставленные отцу, он еще в Шамардине в ночь с 30 на 31 октября, перед самым отъездом оттуда, ответил следующим письмом:

«Благодарю вас очень, милые друзья — истинные друзья — Сережа и Таня, за ваше участие в моем горе и за ваши письма. Твое письмо, Сережа, мне было особенно радостно: коротко, ясно и содержательно и, главное, добро. Не могу не бояться всего и не могу освобождать себя от ответственности, но не осилил поступить иначе. Я писал через Черткова о том, что я прошу сообщить вам — детям. Прочтите это. Я писал то, что чувствовал и чувствую, то, что не могу поступить иначе. Я пишу ей — мамá. Она покажет вам тоже. Писал, обдумавши, и все, что мог. Мы сейчас уезжаем, еще не знаем куда. Сообщение всегда будет через Черткова.

Прощайте, спасибо вам, милые дети, и простите за то, что все-таки я причина вашего страдания. Особенно ты, милая голубушка Таничка. Ну вот и все. Тороплюсь уехать так, чтобы, чего я боюсь, мама не застала меня. Свидание с ней теперь было бы ужасно. Ну прощайте. Л. Н. 4-й час утра. Шамардино».

Из Оптиной Пустыни, куда уехал Лев Николаевич, 29 октября он писал с приехавшим к нему от Черткова А. П. Сергеенко: «Я ничего не решил и не хочу решать. Стараюсь делать только то, что не могу не делать, и не делать того, чего мог бы не делать... Очень надеюсь на доброе влияние Тани и Сережи. Главное, чтоб они поняли и постарались внушить ей, что мне с этими подглядыванием, подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мной, как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к *самому* близкому и нужному мне человеку, с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви,— что такая жизнь мне не неприятна, а прямо невозможна, что если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне, что я желаю одного — свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо. Разумеется, этого они не могут внушить ей, но могут внушить, что все ее поступки относительно меня не только не выражают любви, но как будто имеют явную цель убить меня, чего она и достигнет, так как надеюсь, что в третий припадок, который грозит мне, я избавлю и ее и себя от

этого ужасного положения, в котором мы жили и в которое я не хочу возвращаться.

Едем Шамардино.

Душан разрывается, и физически мне прелестно».

Письмо Льва Николаевича к С. А. Толстой, о котором он писал нам — «пишу ей — мамà», написанное, очевидно, одновременно с письмами к нам, было следующее: ¹ «Свидание наше и тем более возвращение мое *теперь* совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния, стало бы, если только это возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом на время положении, а главное — лечиться.

Если же ты, не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение; если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне устоять над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твои желания и попытки самоубийства, более всего другогото, показывают твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самое себя никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою жизнь не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь, т. е. теперь на мое возвращение, а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь.

Я провел два дня в Шамардине и Оптиной и уезжаю. Письмо пошло с пути. Не говорю, куда еду, потому что считаю и для тебя и для себя необходимым разлуку. Не думай, что я уезжаю потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Письмо твое — я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнять то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний, требований, а

¹ Было еще письмо, написанное, очевидно, перед этим, но оставшееся непосланным. Опубликовано в т. 58 Юбилейного издания, стр. 575.

только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой невысказана. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя вправе сделать это. Прощай, милая Соня, помоги тебе бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права и мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прежних годов, и надо прожить их хорошо. *Л. Т.*».

Привожу также письмо, написанное Львом Николаевичем 29 октября в Оптиной Пустыни моей жене Марье Николаевне Толстой:

«У вас, милая Маша, воображаемые беды, чему очень радуюсь, а у нас самые настоящие, и очень, очень тяжелые. Ты, верно, уж знаешь все. Я теперь в Оптиной. Еду к сестре в Шамардино. Очень хочу не возвращаться. Много надеюсь на влияние Сережи и Тани, но ничего не могу предвидеть. Главное, как бы не согрешить. А что будет, не могу и предвидеть. Я рад случаю сообщить тебе о нашем горе, потому что знаю, что ты своим добрым сердцем принимаешь в нем участие. Случай же, по которому я пишу, это сейчас пришедшая ко мне женщина вдова, у которой 6 человек детей и которая просит о помещении ее детей хоть сколько можно — одной в приют. Она придет к тебе, вот ее имя. Прости за то, что утруждаю. Знаю, что ты сделаешь, если можно. Целую тебя. *Лев Толстой.* 29 октября. Оптина Пустынь».

Последнее по времени написания письмо, которое мы получили от отца, написанное под его диктовку, было:

«1 ноября 1910 г. Астапово.

Милые мои дети, Сережа и Таня, надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня, что я призвал вас, — призвание вас без мамá было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность

для всех людей и для вас в том числе. Благодарю вас за хорошее отношение ко мне, не знаю, прощаюсь ли, или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что вы сказали. Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать свой разумный человек. Те, усвоенные тобой взгляды дарвинизма и эволюции и борьбы за существование не дадут тебе смысла твоей жизни и не дадут руководства в будничных делах, и жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из него неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом, любя тебя, верно и, накануне смерти говорю это.

Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви. [Своей рукой]. Любящий вас отец *Лев Толстой*».

Письмо было передано нам в Астане.

Отец принимал мне «взгляды дарвинизма», «эволюции и борьбы за существование», вспомнив далекое прошлое — мои разговоры и споры с ним во время моего студенчества.

В 1910 году, когда мне было уже 47 лет, мои взгляды во многом изменились. Они были ему мало известны, так как я, во избежание споров, мало говорил с ним о принципиальных вопросах. Но мое расхождение с ним не было так резко, как он предполагал. Здесь не место мне излагать свое мировоззрение. Скажу только то, что я меньше всего мог согласиться с его критикой той области чистого познания, которую принято называть наукой. Я думаю, что наука может и должна всего касаться, что нет области, в которую человеческому разуму запрещено было бы вторгаться. Поэтому наука не может не заниматься вопросами об отношениях между людьми — социологией, правом, историей, экономическими вопросами и т. п.

29-го вечером я поехал обратно в Москву, для того чтобы пригласить психиатра в Ясную Поляну. Здесь я через врачей Беркенгейма и Никитина узнал, что в Ясную мог бы поехать их товарищ по университету, некто Растегаев, бывший главным врачом психиатрической больницы, кажется в Екатеринославе. Растегаев был у меня, и я с ним уговорился, и он в тот же вечер поехал в Ясную.

Вместе с Растегаевым в Ясную поехала медичка 5-го курса, фельдшерница и сестра милосердия Скоробогатова.

В Москве ко мне приходил Михаил Петрович Новиков. Он показал мне письмо отца к нему и рассказал свой разговор с ним, когда он был в последний раз в Ясной.

Отец говорил Новикову, что хочет переменить образ жизни и поселиться у него в избе (в деревне Боровкове близ станции Лаптево Московско-Курской ж. д.), что ему тяжело положение помещика, тяжело пользоваться услугами прислуги.

Новиков сказал ему: «Л. Н., ваш возраст — предельный возраст, вам поздно изменять образ жизни. Вы живы, так сказать, искусственно. Вы можете жить только в привычных вам удобных условиях жизни. Вы не выживете в более суровых условиях».

Отец настаивал и стал жаловаться на свое семейное положение, на разнь с женой.

Тогда Новиков сказал ему: «По-нашему, по-мужицкому, над вами, Лев Николаевич, посмеялись бы. Бабу надо учить».

И Новиков рассказал ему, как его брат поучил вожжами свою жену, пившую запоем, и она перестала пить.

Я решил поехать в Никольское на один или на два дня, с тем чтобы затем освободиться на время от хозяйственных дел, вернуться в Ясную и поступать сообразно с обстоятельствами. Я разделял опасение врачей в том, что отец в новых, непривычных условиях жизни заболит, но, зная, что за последнее время здоровье отца было недурно, преуменьшал опасность. И странно: почему-то я думал, что за лето отец набрался довольно сил, чтобы дожить до конца зимы, но что опасность ему грозит именно в феврале.

Итак, 1 ноября в ночь я поехал прямо в Никольское, решив в Ясную теперь не заезжать. На другой день, проезжая станцию Лазарево, я на поезде, около 10 часов утра, получил следующую телеграмму от жены из Москвы: «Получила телеграмму из Астапова... положение серьезное, привези немедленно Никитина. Желал известить тебя и сестру, боится приезда остальных».

Справившись в взятом у соседа путеводителе, где находится Астапово, и узнавши, что туда надо ехать через узловую станцию Горбачево, я в Горбачеве свернул с Курской дороги на Данково-Смоленскую и вместо Никольского поехал в Астапово. Туда я приехал 2 ноября в 7 часов вечера.

Отец с близкими сопровождавшими его лицами и приехавшими в Астаново В. Г. Чертковым и А. П. Сергеенком помещались в домике начальника станции Ивана Ивановича Озолина. Домик состоял из четырех небольших комнат, маленькой передней и кухни.

Когда я вошел, то все, кроме отца, сидели в первой комнате вокруг стола. Отец лежал в третьей комнате, в первой и второй комнатах в этот день еще помещались Озолины, то есть эти комнаты были полны их вещами, но к вечеру они уже перебрались в очень тесное помещение сторожа в том же доме. За чаем Душан Петрович рассказывал о путешествии в Шамардино и оттуда в Астаново. Из Козельска билеты были взяты до Двориков (около Волова), а в Волове — до Батайска, за Ростовом. Это было сделано, чтобы замести свои следы. Точно страус, прячущий свою голову. В вагоне обсуждался вопрос, куда ехать. Решено было ехать в Новочеркасск к Денисенкам¹, а оттуда или поехать на Кавказ и там поселиться, или, пожив у Денисенок в Новочеркасске и достав заграничные паспорта, поехать в Болгарию. Отец надеялся, что его пропустят через границу без паспорта.

Все мы смотрели на будущее хотя и с тревогой, но и с надеждой. Доктора нашли воспаление обоих легких, главным образом, левого легкого. Вечером температура была высокая, около 39°. Но пульс, говорили врачи, был не плох.

Мне рассказали, что отец спрашивал врачей, можно ли ему будет встать дня через два. Ему ответили, что едва ли можно будет и через две недели. Тогда он огорчился, повернулся к стене и ничего не сказал.

Мы раздумывали, пойти ли мне к отцу, или нет. Ведь он все еще думал, что никому из нас не известно, где он. Увидав меня, он мог взволноваться. Душан Петрович настойчиво советовал мне пойти, и я с ним согласился. Часов в десять я пошел к отцу. Он лежал в забытьи. Я постоял в комнате. Тут еще оставались некоторые озолинские вещи, ненужные для больного. На простом деревянном столе стояли лекарства. Горела небольшая керосиновая лампа с абажуром.

¹ Дочь сестры Льва Николаевича, Марья Николаевна Толстой, Елена Сергеевна жила в Новочеркасске, где ее муж, Иван Васильевич Денисенко, был председателем судебной палаты.

Душан Петрович сказал: «Лев Николаевич, здесь Сергей Львович». Отец открыл глаза и посмотрел на меня удивленным и беспокойным взглядом. Я поцеловал его руку (чего мы обыкновенно не делали). Он спросил меня:

— Сережа? Как ты узнал? Как ты нас нашел?

Я сказал, тут же выдумавши: «Проезжая через Горбачево, я встретил кондуктора, который ехал с вами, он мне сказал, где вы». Это было только отчасти правдой: я спрашивал кондуктора, не знает ли он, где отец, уже получив телеграмму о том, что он в Астапове. Кондуктор мне это подтвердил. Тогда отец спросил меня:

— А как кондуктор тебя узнал? Он разве знал, кто ты?

Я сказал: «Да, меня знают многие кондуктора Курской дороги».

После этого разговора он опять закрыл глаза и уже ничего не говорил. Судя по голосу, я не нашел, что он в очень плохом состоянии.

На другой день мне передали слова отца: «Сережа-то каков? Как он нас нашел! Я ему очень рад, он мне очень приятен. Он мне руку поцеловал!» И он всхлипнул.

Около 12 часов ночи пришел экстренный поезд, заказанный матерью в Туле. С ним приехали мать, братья Илья, Андрей и Миша, сестра Таня, доктор Растегаев, фельдшерница Скоробогатова, В. Н. Философов и доктор Семеновский, подсевший на поезд в Данкове. В эту ночь никто к отцу не пошел.

3 ноября утром сестра Таня пошла к отцу. Она написала об этом своему мужу следующее: «Он (отец) позвал меня, так как ему проговорились, что я приехала. Ему принесли его подушечку, и тогда он спросил, откуда она... Душан (Д. П. Маковицкий) не мог солгать и сказал, что я ее привезла. Про мамà и братьев ему не сказали. Он начал с того, что слабым прерывающимся голосом с передыханием сказал: «Как ты нарядна и авантажна». Я сказала, что знаю его плохой вкус, и посмеялась. Потом он стал спрашивать про мамà. Этого я больше всего боялась, потому что боялась сказать ему, что она здесь, а прямо солгать ему, я чувствовала, что у меня не хватит сил. К счастью, он так поставил вопрос, что мне не пришлось сказать ему прямой лжи.

— С кем она осталась?

— С Андреем и Мишей.

— И Мишей?

— Да. Они все очень солидарны в том, чтобы не пускать ее к тебе, пока ты этого не пожелаешь.

— И Андрей?

— Да, и Андрей. Они очень милы, младшие мальчики, очень замучились, бедняжки, стараются всячески успокоить мать.

— Ну расскажи, что она делает? Чем занимается?

— Папенька, может быть, тебе лучше не говорить: ты выслушаешься.

Тогда он очень энергично меня перебил, но все-таки срываясь, прерывающимся голосом сказал:

— Говори, говори, что же для меня может быть важнее этого? — И стал дальше расспрашивать, кто с ней, хорош ли доктор. Я сказала, что нет и что мы с ним расстались, а очень хорошая фельдшерница, которая служила три с половиной года у С. С. Корсакова и, значит, к таким большим привыкла.

— А полюбила она ее?

— Да.

— Ну дальше. Ест она?

— Да, ест и теперь старается поддержать себя, потому что живет надеждой свидеться с тобой.

— Получила она мое письмо?

— Да.

— И как же она отнеслась к нему?

— Ее, главное, успокоила выписка из письма твоего к Черткову, в котором ты пишешь, что не отказываешься вернуться к ней под условием ее успокоения.

— Вы с Сережей получили мое письмо?

— Да, папенька, но мне жалко, что ты не обратился к младшим братьям. Они так хорошо отнеслись ко всему.

— Да ведь я писал всем, писал: «Дети».

В то же утро (3 ноября) приехали из Москвы наш друг доктор Д. В. Никитин, А. Б. Гольденвейзер и Ив. Ив. Горбунов. Я провел все утро в вагоне с матерью, сестрой и братьями. На общем совете мы решили всячески удерживать мать от свидания с отцом, пока он сам не позовет. Главной причиной этого решения была боязнь, что их свидание может быть для него губительно. Мы решили так: прежде всего будем исполнять волю отца, затем — предписания врачей, затем — наше решение. И главное, будем действовать единодушно. Мать крепя сердце согласилась с нами, говоря, что она не хочет быть причиной

смерти отца. Мы, однако, боялись, что она все-таки пойдет к нему, и решили следить за ней. Трудно себе представить, что произошло бы, если бы она пошла к отцу. Братья также решили не ходить к отцу, так как, если бы они пошли, невозможно было бы удержать мать.

В озолинский дом я попал только днем. Вход в этот дом был обставлен трудностями. Сперва надо было постучать в окно; кто-нибудь отворял форточку, и через нее шел разговор. У двери же, почти безотлучно, находился Алеша Сергеенко и впускал только избранных; лишь изредка его сменял кто-нибудь другой.

Когда я вошел к отцу, он спал или, скорее, лежал в забытии. Когда отец очнулся, он торопливо спросил меня: «Сереза, ты сегодня уезжаешь?»

Я сказал, что еще не уезжаю.

— Уезжай, уезжай, непременно уезжай.

Мне кажется, что он надеялся скоро выздороветь, и велел мне уезжать, чтобы я не помешал ему ехать дальше. Впрочем, он говорил это в полужабыти.

К вечеру отец очень утомился, и в самом деле было от чего утомиться. В этот день он взволновался, окончательно убедившись в том, что его местопребывание всем известно; еще более его взволновал разговор с Таней; затем ему читали газеты; он говорил с Гольденвейзером и Горбуновым; в последний раз писал свой дневник; наконец, Чертков читал ему последние полученные на его имя письма.

4 ноября утром, когда у отца никого не было, кроме Черткова и меня, он сказал: «Может быть, умираю, а может быть... буду стараться...» Потом Чертков ушел, и я довольно долго оставался один с отцом. В это время я невольно подслушал, как отец сознавал, что умирает. Он лежал с закрытыми глазами и изредка выговаривал отдельные слова из занимавших его мыслей, что он нередко делал, будучи здоров, когда думал о чем-нибудь, его волнующем. Он говорил: «Плохо дело, плохо твое дело...» И затем: «Прекрасно, прекрасно». Потом он вдруг открыл глаза и, глядя вверх, громко сказал: «Маша! Маша!»

У меня дрожь пробежала по спине. Я понял, что он вспомнил смерть моей сестры Маши, которая была ему особенно близка (Маша умерла тоже от воспаления легких в ноябре 1906 года). Вскоре после этого я ушел и вернулся часов в пять.

Когда ему дали пить, он сказал: «Не хочу теперь; не мешайте мне». Он, вероятно, продолжал думать о смерти.

В тот же день отец продиктовал следующую телеграмму: «Телеграфируйте сыновьям, чтобы удержали мать от приезда, потому что мое сердце так слабо, что свидание будет губительно, хотя здоровье лучше». Эта телеграмма была передана матери тут же в Астапове, в вагон, где она жила.

В ноября утром я сидел у отца. Потом пришла Таня. Он все говорил: «Как вы не понимаете. Отчего вы не хотите понять... Это так просто... Почему вы не хотите это сделать». И он, видимо, мучился и раздражался оттого, что не может объяснить, что надо понять и сделать. Мы так и не поняли, что он хотел сказать.

Вечером отец стал медленно водить руками по груди, притягивать и отпускать одеяло — словом, делать то, что называется, по-народному, «прибираться» или «обираться». А иногда он быстро водил рукой по простыне, как будто писал.

6-го утром приехали Усов и Щуровский. Я не пошел с ними к отцу. Таня мне сказала, что утром отец говорил: «Вот конец и ничего...», потом он привстал и сказал: «Только советую вам помнить одно: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого,— а вы смотрите на одного Льва».

Мне приходилось во все эти дни бывать в трех местах — в озолинском домике, в вагоне, где помещались мать и остальная семья, и на вокзале, где приходилось питаться. В вагоне тяжело было видеть мою мать, переносившую ужасные муки. Она понимала, хотя, может быть, не сознавалась самой себе, что послужила последним толчком для отъезда отца, последствием чего была его болезнь; она знала, что он не хочет ее видеть, и чувствовала свою беспомощность и непоправимость совершившегося.

На тесном астаповском вокзале, вокруг большого стола и стойки, постоянно толпились корреспонденты разных газет — человек двенадцать. Они пили водку, громко разговаривали и постоянно нас спрашивали. Тут же были жандармы и сыщики, и по вокзалу и платформе гулял о. Варсонофий, настоятель Оптиной Пустыни с тайным поручением причастить Льва Толстого. Он как будто ждал, что его позовут. Такова была атмосфера астаповского вокзала. Это, однако, совсем не относится к железно-

дорожным служащим. Они были в высшей степени предупредительны и деликатны.

Перед тем как расстаться с доктором Растегаевым, я просил его дать мне характеристику болезни моей матери, что он и сделал в следующем письме:

«Милостивый государь Сергей Львович. Дать согласно Вашей просьбе полную клиническую картину болезни матери Вашей гр. Софии Андреевны представляется затруднительным, так как срок моего наблюдения и изучения ее психической индивидуальности был довольно короток. Это обстоятельство послужит для меня извинением, если вы почему-либо останетесь неудовлетворенным.

Приглашенный к Софье Андреевне в момент тяжелого приступа ее болезни, я не мог, да и не считал это крайне необходимым, произвести физическое исследование ее организма. Не считал же этого необходимым потому, что могущие быть изменения в физическом состоянии графини не могут объяснить болезненных изменений ее нервно-психической организации. Поэтому я прямо перехожу к последним.

Восприятие внешних впечатлений не нарушено, ориентирование в месте и времени сохранены вполне. Сознание совершенно ясное и остается таковым даже во время возбуждения. Внимание в общем не расстроено; но у Софьи Андреевны резкое стремление сделать себя, свою личность, свои интересы центром, на который были бы обращены взоры не только ее близких родных, друзей, но и случайных лиц, с кем ей приходится сталкиваться. Память сохранена очень хорошо, и она припоминает факты близкого и далекого прошлого не только в их общих очертаниях, но припоминает и мелкие детали их. Со стороны суждения и критики у Софьи Андреевны наблюдаются известные расстройства. Эти расстройства выражаются в слабости критики и особенно самокритики. Считая свои взгляды, стремления справедливыми, она не обращает внимания на доводы окружающих, и в стремлении отстаивать свои взгляды она нередко уклоняется от правдивой передачи виденного или слышанного. Будучи настойчива в достижении намеченной цели, она может совершать поступки, опасные для жизни. Но нельзя отрицать, что степень опасности ею учитывается, конечная же цель — достижение желаемого. Все ее действия и поступки

вытекают из определенного эмоционального состояния. В суждениях Софьи Андреевны проглядывает непоследовательность и отсутствие связи между изложением и выводом. В момент возбуждения она настолько слабо может подавлять проявления этого, что в состоянии выйти из рамок обычных повседневных отношений.

Вот в самых общих чертах те выводы о психической индивидуальности графини, которые дают мне право заключить, что Софья Андреевна страдает психопатической организацией (истерической), под влиянием тех или иных условий может представлять такие припадки, что можно говорить о кратковременном преходящем душевном расстройстве. О том, как надо смотреть на таких больных, как лечить Софью Андреевну, я высказал в беседе с Вами на станции Астанова. Врач-психиатр *Растегаев*.

Во время моего пребывания в Астанове я несколько раз писал и телеграфировал моей жене Марье Николаевне, оставившейся в Москве, о болезни отца и о настроении матери.

3 ноября я телеграфировал жене, чтобы она купила и выслала в Астанова хорошую кровать с матрацем для отца, что она немедленно же и сделала: кровать скоро дошла, и отца переложили на нее.

6 ноября я писал жене:

«Мама все время под наблюдением сестры Е. И. Скоробогаевой, очень почтенной женщины, к которой мама относится очень хорошо. Она стала спокойнее, но взгляды и мысли ее не изменились. Тот же эгоизм и постоянная мысль только о себе. Она постоянно говорит и любит говорить на вокзале, где все корреспонденты жадно ее слушают, а мы сидим как на иголках. Отсюда вся та грязь, которая появилась в газетах. Она покоряется, но только по необходимости, нам, ее детям. Мы действуем все единодушно и решительно. Мы не пускаем ее к отцу и не пустим, пока он ее не позовет и врачи скажут, что это не опасно. Теперь врачи находят, что это невозможно. Ее же мы уверяем, и это она сама понимает, что свидание с ней убьет его».

Около часа дня, когда я вошел к отцу, в комнате находился один только Никитин. Усов и Щуровский уже окончили свой диагноз и ушли. Отец лежал в забытьи и

часто дышал. Я со страхом насчитал около 50 дыханий в минуту. Дмитрий Васильевич впрыснул камфару и стал давать вдыхать кислород. Однако отец долго не оправлялся, лицо посинело, нос заострился, дыхание осталось очень частым. Мне казалось: вот сейчас конец. Я потерял всякую надежду на выздоровление. Это был сердечный припадок, вызвавший сильный цианоз. Кислород и впрыскивание камфары в конце концов подействовали, и понемногу сердце справилось.

Снова в озолинский домик я пришел после десяти часов. Отец метался, громко и глубоко стонал, старался привстать на постели. Раз, присев, он сказал: «Боюсь, что умираю». В другой раз отхаркнул мокроту, сделал гримасу и сказал: «Ах, гадко». Раза два он говорил: «Тяжело». Дыхание, как я считал, было более 50 в минуту. Не помню, когда именно он сказал: «Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал. Оставьте меня в покое». Тяжелое, даже, скажу, ужасное впечатление на меня произвели его слова, которые он сказал громко, убежденным голосом, приподнявшись на кровати: «Удирать, надо удирать».

Вскоре после этих слов он увидел меня, хотя я стоял поодаль и в полутьме (в комнате горела только одна свеча за головой отца), и позвал: «Сережа». Я кинулся к кровати и стал на колени, чтобы лучше слышать, что он скажет. Он сказал целую фразу, но я ничего не разобрал. Душан Петрович потом говорил мне, что он слышал следующие слова, которые тут же или вскоре записал: «Истина... люблю много... все они...» Я поцеловал его руку и в смущении отошел.

К 12 часам он стал метаться, дыхание было частое и громкое, появилось хрипение, икота участилась. Усов предложил впрыснуть морфий.

Я сидел в углу около стеклянной двери, против кровати, в ногах отца; Чертков сидел у изголовья; врачи тихо входили и выходили. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Там сидели несколько человек, среди них И. И. Горбунов, А. Б. Гольденвейзер и другие. Потом пришли братья. Я впал в какое-то мучительное оцепенение. В комнате была полутьма, горела одна свеча, было тихо, только из соседней комнаты слышался сдавленный шепот, изредка кто-нибудь входил или выходил, слышалось только это тяжелое, равномерное дыхание.

Около двух часов, по предложению Усова, позвали мою мать. Она сперва постояла, издали посмотрела на отца, потом спокойно подошла к нему, поцеловала его в лоб, опустилась на колени и стала ему говорить: «Прости меня» и еще что-то, чего я не расслышал.

Около трех часов отец стал двигаться и стонать. Но пульса уже почти не было, и сознание к нему уже не вернулось. Врачи сделали впрыскивание раствора. Душан Петрович подошел к нему и предложил ему пить. Отец открыл глаза и выпил. Кто-то поднес к его глазам свечу, он поморщился и отвернулся. Через полчаса пульс стал еще хуже. Врачи решили опять дать ему пить. Душан Петрович подошел к нему и сказал торжественным тоном: «Овлажните свои уста, Лев Николаевич». Отец сделал глоток. Было около пяти часов утра. После этого жизнь в нем проявлялась только в дыхании, но и оно скоро стало реже и не так громко. Вдруг оно остановилось. Щуровский и Усов сказали: «Первая остановка». Затем была вторая остановка... еще несколько вздохов, опять остановка и негромкий последний хрип.

Минут за десять до кончины моя мать опять подошла к отцу, стала на колени у кровати, что-то тихо говорила. Услыхать ее, конечно, он уже не мог.

Несколько секунд после последнего вздоха продолжалась полная тишина. Ее нарушил кто-то из врачей словами: «Три четверти шестого». Душан Петрович первый подошел к кровати отца и закрыл ему глаза. Не помню, кто и что говорил и когда именно все ушли, кроме Никитина, Маковицкого и меня. Мы раздели покойного, Никитин и Душан Петрович обмыли его и опять одели в серую блузу. Тело мне показалось и сильным и гораздо моложе своих лет. Отец так мало времени болел, что не успел еще похудеть. Выражение лица было спокойное и сосредоточенное.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Весь день 7/20 ноября прошел в хлопотах и суете. Около восьми часов мы открыли двери озолинского домика, и народ потек поклониться праху Льва Толстого. Это были железнодорожные рабочие и служащие, окрестные крестьяне, корреспонденты газет и друзья Толстого, приехавшие из Москвы. Перебывало несколько тысяч

человек. Моя мать почти весь день сидела у изголовья покойного. Мне было мучительно смотреть на ее нервно подергивающееся лицо и трясущуюся голову. Каково ей было сознавать, что она дала повод к уходу отца, не видала его во время его болезни и простилась с ним только тогда, когда он был уже в бессознательном состоянии.

Студент-медик пятого курса, Н. А. Дунаев, впрыснул формалин в тело покойного. Формовщик Агафьин и скульптор Меркуров, приехавшие из Москвы, сняли маски с его лица, художник Пастернак и другие зарисовали его, фотографы сделали несколько снимков, кто-то обвел на стене карандашом тень лица покойного, даваемую лампой.

Я получил письмо от профессора Д. Н. Анучина с просьбой разрешить вскрытие черепа покойного. Посветовавшись с своими семейными, я ответил отказом, зная отрицательное отношение отца к этому научному приему.

Утром следующего дня 8/21 ноября мы, четыре брата: я, Илья, Андрей и Михаил, вынесли гроб из дома Озолина. Нас сменили другие, и гроб был перенесен в товарный вагон.

Кинематографические и фотографические аппараты усиленно работали.

Товарный вагон был украшен еловыми ветками и снопами, повешенными на стенах крест-накрест; в вагон внесены были венки, один из живых цветов — от служащих Рязано-Уральской железной дороги. Посреди вагона был поставлен помост, обтянутый черной материей. На этот помост и был поставлен дубовый гроб, заключенный в металлический ящик.

На запасном пути Астаповской станции стоял вагон первого класса, предоставленный управлением железной дороги семье Толстого. В нем с 3 ноября помещались моя мать, сестра Татьяна, братья Илья, Андрей и Михаил, фельдшерница Терская и еще кто-то. Перешел и я туда же. Этот вагон, вагон с гробом, вагон с двадцатью пятью корреспондентами и вагон управляющего железной дорогой, Матренинского, были прицеплены к экстренному поезду, и 8 ноября в час пятнадцать минут дня мы выехали из Астапова по направлению к Данкову, Волову и Горбачеву.

В Данкове исправник не допустил публику на вокзал и запретил возлагать венки.

В Горбачеве наш вагон и вагон с покойным были при-

целены к пассажирскому поезду Московско-Курской железной дороги, и поздно ночью мы тронулись.

В Астапове и на поезде мы получили много сочувственных телеграмм, между ними: от писателя Куприна, от Исторического музея, редакций газет, родственников и много других.

Около семи часов утра 9 ноября поезд тихо подошел к станции Засека, ныне Ясная Поляна. На платформе и вокруг нее стояла большая толпа, необыкновенная для этой маленькой станции. Это были приехавшие из Москвы знакомые и незнакомые, друзья, делегации от разных учреждений, учащиеся высших учебных заведений и крестьяне Ясной Поляны. Особенно много было студентов. Говорили, что из Москвы должны были приехать еще многие, но администрация запретила управлению железной дороги дать потребные для этого поезда.

Когда открыли вагон с гробом, головы обнажились и раздалось пение «Вечной памяти». Опять мы, четыре орта, вынесли гроб; затем нас сменили крестьяне Ясной Поляны, и траурная процессия двинулась по широкой старой дороге, по которой столько раз проходил и проезжал отец. Погода была тихая, пасмурная; после бывшего перед тем заморозка и последующей оттепели местами лежал снежок. Было два-три градуса ниже нуля.

Впереди яснополянские крестьяне несли на палках, высоко на головах, белое полотенце с надписью: «Дорогой Лев Николаевич! Память о твоём добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». За ними несли гроб и ехали подводы с венками, вокруг и позади по широкой дороге в рассыпную шла толпа; за ней ехали несколько экипажей и следовали стражники. Сколько человек было в похоронной процессии? По моему впечатлению, было от трех до четырех тысяч.

Пока мы шли, мне сказали, что приехавшие накануне вместе с Чертковым распорядились не вносить гроба в дом, не открывать его и остановиться перед домом лишь на несколько минут. С этим я решительно не согласился, так как многие хотели видеть покойного и проститься с ним. Я переговорил с матерью и братьями; они были того же мнения. Тогда я оставил похоронную процессию и побежал вперед к дому — коротким путем через сад. Там вместе с старым слугою, Ильей Васильевичем Сидоровым, мы выставили двойную раму в стеклянной двери,

ведущей из так называемой «комнаты с бюстом» на каменную террасу. Эта комната была одно время кабинетом отца, и в ней стоял бюст его любимого брата Николая. Здесь я решил поставить гроб так, чтобы все могли проститься с покойным, входя в одни двери и выходя в другие.

Едва мы это устроили, как процессия подошла к дому. Гроб открыли, и около 11 часов началось прощание с покойным. Оно продолжалось до половины третьего. Мы должны были торопить прощающихся, чтобы нас не настигла ночь.

Установилась длинная очередь, растянувшаяся вокруг дома и в липовых аллеях. Какой-то полицейский стал в комнату рядом с гробом. Я его попросил выйти, но он упорно продолжал стоять. Тогда я резко сказал ему: «Здесь мы хозяева, семья Льва Николаевича, и требуем, чтобы вы вышли». И он вышел.

Входящие в комнату или просто наклонялись перед покойным, или клали земные поклоны; целовали его руку, плакали, многие крестились. На минуту закрыли дверь и впустили одну Марью Александровну Шмидт, чтобы она могла побыть наедине с покойным, — ведь она была исключительно преданным его другом. Последними простились мы — моя мать и его дети, — после чего гроб в последний раз закрыли.

Хоронить покойного было решено, согласно его желанию, в лесу, в указанном им месте. Об этом отец писал в воспоминаниях о своем детстве. Говоря о своем любимом старшем брате Николае, он приводит следующий его рассказ, слышанный им еще в детстве: «Главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, не ссорились и не сердились, а были постоянно счастливы, эта тайна, как он (Николинька) говорил нам, написана на зеленой палочке, и эта палочка зарыта у дороги, на краю оврага, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил бы, в память Николиньки, закопать меня».

Во исполнение желания отца было решено выкопать могилу в месте, указанном отцом. Это и было сделано одним из любимых старых учеников Льва Николаевича, Тарасом Фоканычем, вместе с другими яснополянскими крестьянами.

В третий раз мы — четыре брата — вынесли гроб. Как только он показался в дверях, вся толпа опустилась на ко-

лени. Затем процессия с пением «Вечной памяти» тихо двинулась в лес. Уже смеркалось, когда гроб стали опускать в могилу. Раздались возгласы: «На колени!», и все опять опустились на колена; только один какой-то полицейский продолжал стоять. Ему крикнули: «Полиция, на колени!», и он нехотя повиновался. Опять запели «Вечную память». Резко стукнул кем-то брошенный в могилу комок мерзлой земли, затем посыпались другие комки, и крестьяне, копавшие могилу, Тарас Фоканыч и другие, ее засыпали.

Наша семья просила не говорить речей у могилы, и только один старик с худым морщинистым лицом сказал что-то про «великого Льва» и Л. А. Суллержицкий, бывший в молодости ревностным последователем Толстого, рассказал про зеленую палочку и объяснил, почему Льва Николаевича похоронили именно в этом месте. Моя мать была сдержанна и непривычно молчалива. Я надеялся, что она слезами облегчит свое горе, но она не плакала. Чертков на похоронах не был.

Наступила темная облачная безлунная осенняя ночь, и поемному все разошлись.

Похороны Л. Толстого были первыми в России публичными похоронами без церковных обрядов. Для того времени это было непривычно, но я думаю, что отсутствие духовенства только способствовало торжественному настроению большинства прибывших на похороны. Ведь сам Толстой завещал, чтобы его похоронили без церковных обрядов.

После похорон моя мать и наша семья получили множество сочувственных телеграмм,— если не ошибаюсь, более 2 500. Среди сочувственных телеграмм, полученных нашей семьей по случаю смерти отца, была телеграмма рабочих депутатов III Государственной думы, на которую ссылался В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение». Текст телеграммы был опубликован в газетах:

«Социал-демократическая фракция Государственной думы, выражая чувства Российского и всего международного пролетариата, глубоко скорбит об утрате гениального художника, непримиримого и непобежденного борца с официальной церковностью, врага произвола и порабощения, громко возвысившего свой голос против смертной казни, друга гонимых».

На ст. Засека телеграфисты усердно работали день и ночь. Они не жаловались и говорили, что работали радостно. Я получил также много телеграмм, лично мне адресованных. Крестьяне села Никольского-Вяземского мне телеграфировали: «Молимся сейчас за грехи нашего сейчас хмельного пьяного священника, отказавшего нам, всему сходу, отслужить панихиду о Льве Толстом, подарившем нам луг. Да примет господь в свое царство душу нашего заступника, а вам, граф, шлем свое крестьянское соболезнование в нашей общей утрате. Просимые сходом, подписались староста Колосков, крестьяне Илья Колосков и Вахмистров».

Упоминание о луге в этой телеграмме объясняется тем, что отец предоставил крестьянам Никольского-Вяземского луг за рекой Чернью, доставшийся ему при разверстании помещичьей и крестьянской земли в 1861 году и примыкавший к крестьянскому наделу.

После телеграмм я получил также много сочувственных писем от знакомых и незнакомых. Не обошлось и без курьезов. Один священник писал: «Я положил себе священной обязанностью, предстоя престолу божию, во всю мою жизнь возносить посильные молитвы об упокоении раба божия Льва Николаевича, и эта последняя цель побуждает меня обратиться к вам с покорнейшей просьбой: не благоволите ли в добрую молитвенную память к усопшему родителю пожертвовать лично мне торжественное священническое облачение: оно будет у меня как драгоценность, свидетельствующая о доброй памяти гр. Л. Н. Толстого. Если благоволите к моей просьбе, то сообщаю, что рост мой средний... Священник Епифаний Сидоренко (Миньярский завод, Уфимской губ.)». Я, разумеется, ничего ему не ответил.

На другой день после похорон приехало много народа, не успевшего приехать к похоронам, между ними депутация от Государственной думы. Были также представители Московского городского управления.

Мать проболела инфлуэнцей в тяжелой форме около двух недель (с 10 по 25 ноября). С ней была сестра милосердия Екатерина Федоровна Терская, хорошо ухаживавшая за ней и участливо к ней относившаяся. В Ясную приехала пожить некоторое время моя тетка Т. А. Кузминская и моя двоюродная сестра Варвара Валериановна Нагорнова, облегчившие ее горе. Настроение матери было

подавленное, но о самоубийстве она не говорила и не поминялась. Она была глубоко несчастна.

Она не могла не признавать своей вины перед мужем и не могла забыть, что перед его смертью не видела его в сознании. Первое время после похорон в Ясную Поляну приезжало много народу: родные, близкие, друзья, знакомые и посторонние. Посетители отвлекали ее и облегчали тяжесть ее одиночества. Лишь понемногу она вынуждена была вернуться к привычной ей деятельности — корректурам нового издания сочинений Л. Н. Толстого, работа в доме и имении, фотографирование и т. п. Это отвлекало ее от тяжелых мыслей; но ей казалось, что все это не нужно, а по ночам и в часы, когда она была одна и без дела, ею овладевала мрачная тоска. Это видно из следующих выписок из ее дневника:

«12 25 ноября. Тяжело больна.

25 ноября. Бессонница ночные ужасы.

26 » Цепралгия мучила и день, и ночь.

27 » Встала, но опять невралгия.

28 » Все тяжело, но на пароде легче. Что-то будет в одиночестве? Страшно, и будущего нет.

29 » Невыносимая тоска, угрызения совести, слабость, жалость до страданий к покойному мужу, как он страдал последнее время.

30 » Мрачна, ужасна жизнь впереди, и одиноко будет на днях.

7 декабря. С утра глубокое, невыносимое отчаяние.

8 » Утром уехала сестра Таня, я очень плакала. Мучительно одиночество, не о ком заботиться, до меня никому нет дела.

11 декабря. Убирала с Ильей Васильевичем вещи Льва Николаевича от моги и расхищения. Страшно было тяжело, и вообще мучительна жизнь. Вчера спала под звуки страшной бури. Одиноко, совесть мучает, безвыходно.

13 декабря. Ночь не спала совсем. Ох, уж эти ужасные, бессонные ночи с думами, мучениями совести, мрака зимней ночи и мрака в душе.

16 декабря. Крестьяне Ясной Поляны и жители усадьбы ходили на могилу, пели вечную память и становились на колени. Я очень плакала и страдала и вместе умилялась любовью людей. В этом были все вместе. И как все ласковы со мной.

КОНЧИНА МОЕЙ МАТЕРИ

25 октября (старого стиля) 1919 года я получил в Москве записку из Ясной Поляны о том, что сильно заболела моя мать и ее положение серьезно.

Перед тем жена получила письмо от матери от 22 октября, написанное неровными строками, унылое и доброе. По этому письму видно было, что она одряхла и ослабела.

Достать билет в то время из Москвы до Ясной Поляны было очень трудно и только через несколько дней, а мне надо было ехать немедленно. Поэтому я решил просить Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, который был в это время управляющим делами Совнаркома, дать мне пропуск на немедленный проезд до Ясной Поляны. С Владимиром Дмитриевичем я познакомился еще в 1898 году, у Черткова в Англии, когда он был эмигрантом; в 1905 году, во время своей нелегальной поездки, он останавливался у меня, а в 1912 году у нас с ним были дела по изданию «Толстовского ежегодника».

26 октября я пошел к нему в Кремль.

Он отнесся участливо, сперва хотел дать мне записку к «диспетчеру» — отправителю поездов, а потом сказал: «Я сейчас иду к Владимиру Ильичу и постараюсь достать вам пропуск; подождите здесь» — то есть в его комнате. В этой комнате стоял шкаф, наполненный рукописями, и большой шкаф с книгами.

Владимир Ильич Ленин жил в том же здании этажом ниже; минут через двадцать Владимир Дмитриевич вернулся и дал мне бумагу следующего содержания:

Российская
Федеративная
Социалистическая
Советская Республика
Управление Делами Совета
Народных Комиссаров
Москва. Кремль
26 октября 1919 года
№ 3306.

Ввиду крайне тяжелой болезни Софии Андреевны Толстой, жены Льва Николаевича Толстого, разрешается ее сыну, Сергею Львовичу Толстому, экстренно выехать из Москвы до ст. Ясенки, Московско-Курской ж. д., а оттуда в Ясную Поляну. Всем железнодорожным и военным властям предписывается оказать всяческое содействие в посадке и в пути следования С. Л. Толстому, причем ему разрешается ехать в пассажирском, товарном, воинском и т. п. поездах или на паровозе.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров *Влад. Бонч-Бруевич*

Секретарь: *М...*

27 октября в 10 часов вечера я выехал почтовым поездом. Билет мне выдали без затруднений по этому пропуску, и я сел в штабной вагон.

28-го утром. Засаека (Ясная Поляна). Я дал знать о своем приезде в Ясную Поляну по телефону. За мной выслали лошадей. Мать тяжело больна. Лицо очень изменилось: высокий лоб, большой нос. Рот ввалился, морщины как будто сгладились. Она стала похожа на своего деда, Александра Михайловича Ислепьева. Меня узнала. Заговаривается, дергает одеяло. Температура высокая — 39 с чем-то, к вечеру понизилась. Все спрашивает: «Когда же мы поедим? Отчего не идет Верочка Сидоркова (дочь Ильи Васильевича), где тетя Таня?» Она воображает, что она не в Ясной, а в Овсянникове или еще где-то. Говорила: «Мне совестно», то есть совестно, что больна.

Она заболела от простуды, мыла свое окно холодной водой.

Раз она сказала при мне: «Надо без горя уходить, как это делается у крестьян». Она покорная и кроткая больная, не сердится и не раздражается.

29-го. Матери утром лучше. Она не только меня узнала, но когда ей сказали, что я привез ей вино, сказала: «Ну, за здоровье Сережи» и выпила из рюмки. Сегодня я узнал ее прежнее лицо — с морщинами и даже немного прищуривавшееся. В мое отсутствие Таня предлагала ей позвать священника. Она сказала: «Я еще не так плоха. Посмотрим, что будет завтра».

Говорила также: «Похороните меня по-христиански».

Еще говорила: «Если бы были московские доктора, они бы меня вылечили».

В бреду она двигала руками, как будто шьет. Иногда как будто продевает иголку. Я вспомнил, что отец в бреду писал по одеялу.

30-го. Утром сознание матери хуже. Вечером я пошел к ней прощаться. Спросил, узнает ли меня. Она сказала: «Конечно, я своих детей всех узнаю». Когда я ей поцеловал руку, она потянулась поцеловать мне лоб.

Приезжал доктор Афанасьев из Тулы. Говорит: «Воспаление легких идет нормально, плеврит рассосался, но ввиду возраста 10% только вероятности на выздоровление».

31-го. Сознание матери хуже. Она в забытьи. Температура ниже: 38, 38,3. Вечером меня звала: «Сережа», узнала и сказала: «Прощай». Я ответил: «Покойной ночи». Около 10 часов бредила по-французски. Призывала умершую дочь Машу и Авдотью Васильевну (умершую ее горничную и экономку), а также живых: кажется, Леву и Мишу.

1 ноября. Мать с утра в забытьи. Стонет. Приехал Никитин. Приехал также доктор Афанасьев из Тулы. Консилиум с Душаном Петровичем.

Ничего нового не сказали.

2 ноября. Утром я сказал ей:

— Вот приехал московский доктор.

— Да, Никитин?

— Теперь вы поправитесь.

— Я очень слаба.

Вечером я сказал ей: «Покойной ночи». Она открыла глаза, но не ответила. Никитин сказал, что воспаление перешло на верхнюю долю правого легкого. Левое не воспалено.

3 ноября. Я больше не видел ее в сознании. Стонет, говорит невнятно. К вечеру дыхание 40, закладывает руки

за голову, перестала отхаркивать мокроту, началось клочкотание. Никитин говорит: «Вероятно, начался отек легкого». Надежды нет.

4 ноября. Мы сидели всю ночь то в зале, то около нее. Только тетья Таня почти все время сидела у нее. Очень тяжело видеть ее и особенно слышать клочкотание. Сознания никакого. Около четырех часов я услышал несколько слабых хрипов и... больше ничего. Это было в 4 ч. 40 м. утри. Послали во флигель за двумя женщинами из прислуги. Они обмыли тело, потом перенесли его в залу на стол, принесенный с террасы. Послали в Кочаки за монашенками — читать псалтырь. Посидев в зале, я посмотрел еще раз на свою мать — красивое, спокойное, но чуждое мне лицо. У тела остался Михаил Васильевич Булыгин.

Днем мы совещались: где хоронить. Мама выражала желание, когда была еще здорова, похоронить ее рядом с Львом Николаевичем. Но мы усомнились, следует ли ее там хоронить. Не лучше ли оставить могилу отца одинокой? Не будут ли посетители постоянно спрашивать, зачем похоронили ее рядом с Львом Николаевичем? Не будут ли некоторые оскорблять ее память? Незадолго до болезни она говорила так: «Похороните меня около папа. А если нельзя, то в Кочаках, рядом с моими детьми». Наконец, она сказала: «Похороните меня по-христиански». Это значит — в освященном месте, на кладбище. Эти ее слова и послужили скорее предлогом, чем причиной, нашего решения — похоронить на кладбище.

Таня рассказала, что 27 октября у нее был разговор с матерью. Поводом послужила перестановка кровати матери. Ее кровать поставили на середину комнаты, поэтому фотографии, висевшие по стенам, оказались на непривычных для нее местах. Это ее беспокоило, и она все спрашивала: «Где Ванечкин портрет»? Таня показала ей, где портрет, и спросила: «Вы вспоминаете Ванечку?» — «Да, часто». — «А папа?» — «Ах, постоянно. Я с ним живу, мучность, что была с ним нехороша. Но я была ему верна и душой, и телом. Я вышла замуж 18 лет... любила я одного твоего отца. Я тебе перед смертью скажу: не было рукопожатия, которого не могло бы быть при всех». Сестра тогда же передала мне эти слова, и я тогда же их записал.

В зале тишина, торжественность смерти. Слышно только монашенку, читающую псалтырь. Плотнику заказали простой сосновый гроб.

5 ноября. Холодно, вот уже четвертый день. Выпал небольшой снег. Я ходил в Кочаки выбрать место для могилы. Выбрал место рядом с могилой Маши. Внешних знаков бывших могил в этом месте не было.

Вечером приехала вдова брата Андрея, Екатерина Васильевна.

6 ноября. Вынос. Перед тем как выносить гроб, Марья Васильевна Румянцева, жена повара и сама служившая в нашем доме, прощаясь с покойницей, громко завывала с причитаниями. В причитаниях вспоминала, что Софья Андреевна хорошо относилась к ней и помогала ей в тяжелых случаях ее жизни. Гроб несли на руках до самой церкви. На «пришпекте» встретились Гольденблатт, Высокомирный, Берин — представители тульского общества друзей Ясной Поляны, и Андронников и Мерцалов — представители кооперативов. Старый ученик отца, Тарас Фоканыч, плакал.

Могилу выкопали широкую. В ней оказались кости, три черепа и медные пуговицы. Судя по отпечатке на пуговице снизу, очевидно, это была могила офицера времен Александра I. Одновременно хоронили какого-то младенца; рядом с гробом матери стоял гробик, из которого смотрело миленькое восковое личико ребенка лет пяти. Всю жизнь моя мать возилась с детьми, и вот похоронили ее в одно время с ребенком.

13 ноября. Мы нашли трогательное письмо матери от 14 июля 1919 года с надписью на конверте: «После моей смерти»:

«Очевидно, замыкается круг моей жизни, я постепенно умираю, и мне хотелось сказать всем, с кем я жила и раньше, и последнее время,— прощайте и простите меня...»

Часть вторая

**ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ
Л. Н. ТОЛСТОГО**

**МУЗЫКА В ЖИЗНИ
МОЕГО ОТЦА**

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

(ДЯДЯ СЕРЕЖА)

Я довольно хорошо знал дядю Сережу, бывал часто у него в его имении Пирогово и в Москве, когда он там жил. Несмотря на мое несочувствие его консервативным и дворянским взглядам, я его любил. Он был на редкость красивым, остроумным, гордым и искренним человеком, без всякой фальши и лицемерия. Он был тем, чем был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться. Отец говорил про него, что его душа открыта, как механизм стеклянных часов: насквозь видно, что он думает и чувствует. В своих воспоминаниях отец писал, что он «всегда восхищался — как это ни странно сказать — непосредственностью эгоизма брата», но что он был ему «непостижим».

Сергей Николаевич — прототип Володи в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности».

Он родился 17 февраля 1826 года. У него были хорошие способности, и в его детстве и юности ученье давалось ему легче, чем брату Льву. Он окончил курс философского факультета по математическому отделению Казанского университета, но после окончания курса математикой не занимался и не интересовался. Затем он поступил в стрелки императорской фамилии, где прослужил недолго, вышел в отставку капитаном. В Казани, Петербурге и Москве он бывал в аристократическом обществе, где особого удовольствия не находил, как говорила мне его сестра, а моя тетка, Марья Николаевна, но вел себя непринужденно, как естественный член этого общества, — «не так, как брат Лев», прибавляла тетя Маша; Лев был

всегда застенчив, неловок и самолюбив. В молодости Сергей Николаевич легко мог «сделать карьеру», так тогда говорилось, но он не был честолюбив и предпочитал оставаться свободным. Он не мог себя принуждать, тянуть служебную лямку, фальшивить и прислуживаться. Он дружил с кем хотел, делал то, что ему было приятно, или то, что считал нужным делать. Он мало думал о последствиях своих поступков. Его жизнь шла по линии наименьшего сопротивления; он предоставлял жизни делать из него то, что она хочет.

После службы он занялся сельским хозяйством в доставшемся ему по наследству богатом черноземном имении в 1000 десятин, Пирогово, конским заводом и охотой. В 50-х годах, когда его брат Лев был на Кавказе, он присматривал также за хозяйством в Ясной Поляне. В молодости он жил беззаботно и весело. Он был хорошим охотником, и у него были прекрасные лошади и собаки. Он охотился больше всего с борзыми и осенью уезжал иногда на несколько недель в «отъезжее поле», брал матерых волков и затравил множество лисиц. В пироговском парке была дорожка, по бокам которой были закопаны два ряда волчьих зубов; это были зубы затравленных им волков.

В молодости он увлекался «цыганизмом», т. е. цыганскими песнями и цыганками. Цыганки были весьма целомудренны, и связь с цыганкой была обставлена затруднениями — согласием ее родителей и выкупом из хора. Увлечшись одной привлекательной цыганской певицей, Марьей Михайловной Шишкиной, Сергей Николаевич в 1849 году увез ее к себе в Пирогово и стал жить с ней как с женой. Татьяна Андреевна Кузминская — сестра моей матери — рассказала в своих воспоминаниях, как в 60-х годах Сергей Николаевич, проживши уже восемнадцать лет с Марьей Михайловной и имея от нее детей, чуть не разошелся с ней, влюбился в Татьяну Андреевну и намеревался на ней жениться. Однако этот роман кончился тем, что Татьяна Андреевна вышла замуж за А. М. Кузминского, а Сергей Николаевич обвенчался с Марьей Михайловной. В этом романе ему, может быть, в первый раз в жизни пришлось выбирать между исполнением своего долга и удовлетворением своей страсти, и он избрал первое. Но этот неудачный роман был для него тяжелой драмой и наложил мрачный отпечаток на его последующую жизнь.

Я часто бывал в Пирогове, один, с отцом или с кем-нибудь из нашей семьи. Пирогово — в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны. Ездили мы туда на лошадях. Дорога вела по черноземным полям, частью большаком, частью проселком. На полдороге мы проезжали через деревню с характерным названием Коровьи Хвосты. В усадьбу надо было проехать по сравнительно зажиточному селу Пирогову, переправиться под мельницей через реку Упу, миновав большую церковь, за которой уже виден был красивый барский дом с двумя мезонинами. За домом находился сад с широкими липовыми аллеями.

В детстве мы говорили, что первое, что мы встречали в пироговском доме, были белые зубы дяди Сережи. Обыкновенно он из своего кабинета видел приезжавших к нему, выходил на крыльцо и улыбался, увидев приятных гостей. Потом мы видели добродушное круглое лицо Марьи Михайловны и радостные лица наших двоюродных сестер Веры, Вари и Мани. Приезд гостей для них был событием, оживлял их скучную и однообразную жизнь. Марья Михайловна всегда была очень приветлива, расспрашивала про родных и знакомых, причем приговаривала, в зависимости от рассказа: «чудесно, чудесно», или — «ужасно, ужасно». Иногда бывало, что дядя не в духе, приимал нас холодно, иронизировал и высмеивал нас, но это случалось редко; обыкновенно он был рад нашему приезду. Начинал он разговор с того, что его в данное время интересовало: о своем хозяйстве, о статье в «Московских ведомостях», а в последние годы в «Новом времени», или о прочитанном английском или французском романе. «Ты ведь ничего не читаешь,— скажет он,— читал ли ты такую-то статью в «Московских ведомостях» или такой-то роман?»

Сам он постоянно читал, но почти только газеты и английские и французские романы. Английскому языку он научился так: однажды он прочел первый том одного английского романа по русскому переводу, второй же том у него затерялся. У моего отца оказались оба тома этого романа, но по-английски.

— Возьми этот роман и прочти его со словарем в руках,— сказал отец.

Дядя так и сделал, ему помогло знание латинского, французского и немецкого языков. С тех пор он стал читать английские романы в подлиннике. Не научился он

только английскому выговору; он так выговаривал английские слова, что никто его понять не мог.

Больше всего он говорил про свое хозяйство.

Он любил рассказывать про свою систему счетоводства, которое он вел сам. Каждый вечер к нему приходил управляющий и стоя докладывал о работах, расходах и доходах дня. Садиться при графе не полагалось, и управляющий, как бы он ни устал от дневной работы, вечером должен был стоять иногда больше часа с докладом графу. Управляющие в Пирогове менялись очень часто, но у дяди был, так сказать, запасной управляющий — кучер Василий, который после увольнения каждого управляющего исполнял его должность, иногда подолгу, даже годами. Сам Сергей Николаевич редко бывал в поле, а когда бывал, то выезжал в коляске; пешком он ходил мало, не дальше ограды сада. Я с детства слышал, что дядя — отличный хозяин, но потом убедился, что это неверно. Он хорошо знал условия тогдашнего хозяйства, но был нерасчетлив, неделовит и вел хозяйство по-барски. Его прекрасный конский завод приносил ему одни убытки, и в конце концов он его ликвидировал. Свое второе имение, Щербачевку, полученное им после смерти брата Дмитрия, он продал и прожил; в Пирогове он несколько раз менял систему хозяйства: то заведет инвентарь и поведет хозяйство рабочими и поденными, то ликвидирует свой инвентарь и отдаст землю под обработку крестьянам, с платой по столько-то за посев, обработку и уборку десятины, то опять заведет батрацкое хозяйство. Всякая такая реформа обходилась очень дорого. Не было у него ни правильного севооборота, ни молочного или мясного производства. В результате с каждым годом его материальное положение ухудшалось.

Как-то дядя поручил мне вместе с кучером Василием, исправлявшим должность управляющего, купить несколько лошадей на ярмарке в Сергиевском (ныне Плавске), причем я должен был быть кассиром и платить за лошадей. Лошадей удалось купить по недорогой цене, и дядя остался доволен нашей покупкой.

Дядя любил шутить и был остроумен. Он любил музыку, но, за немногими исключениями, не музыку композиторов. Он любил русские и цыганские песни, вообще народную музыку. Бетховена он не признавал; лишь немногие пьесы Шопена и Шумана ему нравились. Про пианистов он повторял слова Альфонса Карра, что их надо

послать на необитаемый остров, а про их игру: «Plus cela va vite, plus cela dure longtemps»¹.

У Сергея Николаевича было много детей, большинство их умерло в детском возрасте. Зрелого возраста достигли четверо: сын Григорий и три дочери — Вера, Варвара и Мария. Григорий плохо учился, был мало образован, рано поступил на военную службу, служил в павлоградских гусарах. Он редко бывал в Пирогове и держался в стороне от нашей семьи и родственников, так что мы мало его знали.

Через год после того, как наша семья в 1881 году переехала на зиму в Москву, туда же переехал и Сергей Николаевич с семьей. Я любил бывать у него на его московской квартире в доме Роговича в Николоплотниковском переулке. Там мы чувствовали себя непринужденно и весело. Играли в винт, пели, музицировали, ужинали и пили вино. Дядя плохо играл в винт: он медленно собирал карты, чем вызывал нетерпение всех партнеров, неправильно назначал игру, забывал отыгранные карты и т. д. Часто бывал у дяди и пел русские песни Николай Михайлович Лопатин, записавший и издавший, вместе с В. Прокуниным, сборник лирических русских песен. Пели и мы хором цыганские и русские песни под аккомпанемент роля или гитары. Иногда я играл пьесы легкого жанра, вроде венгерских танцев Брамса. Бывал и Лев Михайлович Лопатин и с таинственным видом рассказывал страшные истории о привидениях.

Однажды мы большой компанией, вместе с дядей, поехали в Стрельну слушать цыган. Дядя с цыганами обращался по-барски: знаменитому дирижеру Федору Соколову, к которому мы, молодежь, относились с почтением, говорил «ты», заказывал старинные песни и бранил цыган за то, что они забыли настоящие цыганские и русские песни. Цыгане относились к нему с большим почтением; Федор Соколов всячески старался угодить его сиятельству. В эту ночь я понял прелесть цыганского пения лучше, чем когда-либо. Пели старинные песни, например: «Лен», «Слышишь-разумеешь», «Невечернюю зарю», «Мне моркотню, молоденьке», «Канавелу» и др.; пели и лучшие более современные песни — «Сосенушка», «Гриша», «Ай ты, береза», «В час роковой» и др.

Дядя прожил в Москве, если не ошибаюсь, четыре

¹ Чем идет быстрее, тем дольше длится.

зимы. Но жизнь в Москве обходилась дорого, хозяйство в Пирогове приносило мало, и дядя опять вместе с семьей стал круглый год уединенно жить в Пирогове. К взглядам своего брата дядя стал относиться не враждебно, как раньше, а сочувственно. Вообще он не любил прислугу, теперь он старался обходиться без нее. Он сам убирал свою комнату, а во время обеда никто не прислуживал. Обед подавался из кухни в столовую через нарочно для этого сделанное окно, а грязные тарелки клались в корзину, которая уносилась после обеда.

В 90-х годах, когда дочери Сергея Николаевича были в том возрасте, когда им пришла, или уже проходила, пора выходить замуж, они были под влиянием взглядов моего отца, выраженных в «Крейцеровой сонате». Но нельзя сказать, что целомудрие их утешало. Маша как-то сказала: «Voilà Nous sommes un nid de vieilles filles et nos enfants seront aussi un nid de vieilles filles. Comme c'est triste!»¹ Услышав это ее изречение, мы громко рассмеялись и потом дразнили ее: как это у *vieilles filles* будут дети?

Однако ни она, ни ее сестры не остались старыми девами. Вера забеременела от башкирца, приглашенного в Пирогово, для того чтобы ее лечить кумысом от начавшегося у нее туберкулеза, и уехала из Пирогова на несколько месяцев. Дядя был глубоко огорчен и лишь понемногу примирился с совершившимся фактом и разрешил ей вернуться. Она приехала; ему доложили, что она его ждет в столовой, и он вышел к ней. Но он не ожидал того, что увидел: на ее руках был младенец, ее сын. Не знаю, чем кончилась эта сцена; знаю только, что Сергей Николаевич долгое время не хотел видеть своего внука, и внук жил отдельно в мезонине, его не приносили вниз в столовую и в гостиную. Он умер в молодых годах.

Роман Веры дал Льву Николаевичу тему для его последнего рассказа «Что я видел во сне?»

Варя была в гражданском браке с пироговским крестьянином. Она уехала от отца, жила в Сызрани и еще где-то и, насколько мне известно, после этого в Пирогове не жила.

Маша вышла замуж за соседнего помещика, Сергея Васильевича Бибикова. Бибиков, ухаживая за ней несколько лет, решился, наконец, посвататься за Машу и с

¹ «Вот мы — гнездо старых дев; и наши дочери будут гнездом старых дев. Как это грустно!»

этим поехал к Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, несмотря на то, что отлично знал его, стал его допытывать: «вы получили высшее образование? вы где-нибудь служите? вы говорите по-французски? у вас есть самостоятельное состояние?» На все эти вопросы бедный Сережа Бибииков, краснея и конфузясь, должен был ответить отрицательно. Однако Сергей Николаевич дал свое согласие. Сергей Васильевич женился и оказался любящим мужем и почтительным зятем. Его родные выделили ему небольшое имение Дубки, по соседству с Пироговым, где он вместе с женой и поселился. Со временем Сергей Николаевич стал к нему хорошо относиться, и Сережа Бибииков ему помогал в пироговском хозяйстве.

Последние годы своей жизни дядя был глубоко удручен неудачными романами своих дочерей.

В девятисотых годах он заболел раком лица. Уже в начале своей болезни он стал хуже видеть. Помню, что однажды он меня спросил: «Чем ты протираешь свои очки?» Я ответил: «Платком или чем придется» — «А я, — сказал он, — чем очки ни протираю, они остаются мутными». Мутны были не очки, а его глаза.

За несколько дней до его смерти, когда было очевидно, что он умирает, к нему приехал мой отец и дней десять прожил в Пирогове. Еще до его приезда Марья Михайловна и находившаяся в Пирогове его сестра монахиня Марья Николаевна мечтали о том, чтобы Сергей Николаевич причастился, но не решались ему это сказать. Когда приехал Лев Николаевич, они ему высказали свое желание. Против их ожидания, он прямо передал Сергею Николаевичу желание его жены и сестры, и Сергей Николаевич внял их просьбам и причастился. Почему он причастился? Это осталось его тайной. В продолжение всей своей жизни он был равнодушен к православной церкви. Он здесь оказался непостижим, как говорил про него его брат в своих воспоминаниях.

Болезнь его была мучительная. Перед смертью он очень плохо видел и просил придвинуть к себе поближе свечу, и его привело в отчаяние, что он все-таки ничего не видел. Он умер 23 августа 1904 года. Лев Николаевич уехал из Пирогова за два дня до его смерти, но, узнав о его кончине, опять приехал в Пирогово. Он мне телеграфировал: «Дядя Сережа умер, твое присутствие в Пирогове может быть полезно». Я сейчас же поехал.

МАРЬЯ НИКОЛАЕВНА ТОЛСТАЯ

(ТЕТЯ МАША)

Единственная сестра моего отца, Марья Николаевна, родилась в Ясной Поляне 7 марта 1830 года.

В главе XXI «Отрочества» Любочка во многом напоминает Марью Николаевну: «Любочка невысока ростом, и вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор все еще гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза, и глаза эти действительно прекрасны — большие, черные и с таким непреодолимо-приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна... смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говоря, что это неучтиво».

Образование Марья Николаевна получила такое, какое в то время получали барышни. Кроме краткого пребывания в Казанском институте, она училась дома, где от французских гувернанток научилась французскому языку. Она была музыкальна и для любительницы недурно играла на фортепиано.

В апреле 1847 года между братьями и сестрой Толстыми был произведен раздел их наследственного имущества. Братья определили Марье Николаевне равную с ними долю, а не только $\frac{1}{14}$ часть наследственного имущества, как они могли бы ей выделить по тогдашнему закону.

Марья Николаевна, больше чем свою тетку Юшкову, любила свою родственницу Татьяну Александровну

Ергольскую. Когда Юшкова увезла детей Толстых в Казань, Татьяна Александровна уехала в село Покровское Чернского уезда к своей сестре Елизавете Александровне Толстой, рожденной Ергольской, бывшей замужем за двоюродным братом Николая Ильича, гр. Петром Ивановичем Толстым, и уже овдовевшей. У них был сын Валерьян Петрович. Сестры Ергольские сосватали за него Марью Николаевну. Ей было семнадцать лет, ему — тридцать шесть; она еще играла в куклы и имела слабое представление о замужней жизни. Валерьян Петрович был ей не чужд, так как она часто бывала в Покровском и жила с ним в одном доме. Она была одинокая сирота, а в те времена считалось, что надо рано выходить замуж. Валерьян был племянник любимой ею Татьяны Александровны, и в ноябре 1847 года она вышла за него замуж. После свадьбы она поселилась вместе с мужем в Покровском. Первые годы своего замужества она прожила благополучно. У нее родились: в 1849 году сын Петр, умерший в детстве, в 1850 году дочь Варвара, в 1851 году — сын Николай, в 1852 году — дочь Елизавета.

Лев Николаевич в то время жил на Кавказе и не раз поручал Валерьяну Петровичу свои хозяйственные дела. Между прочим, Валерьян Петрович по его поручению продал за 5000 рублей ассигнациями большой дом в Ясной Поляне.

Село Покровское находится в бывшем Черском уезде, в верстах двадцати от Никольского-Вяземского, принадлежавшего брату Марьи Николаевны Н. Н. Толстому, и верстах в двенадцати от имения И. С. Тургенева — Спасского-Лутовинова. В 1854 году Тургенев познакомился с Валерьяном Петровичем и Марьей Николаевной. Первый шаг был сделан Тургеневым: он сошелся с Валерьяном Петровичем на почве общей с ним страсти к охоте. 24 октября этого года он привез в Покровское новую книжку «Современника» и с восторгом отзывался о новой повести неизвестного автора — «Отрочество», подписанной буквами Л. Н. Т. Тургенев прочел ее вслух Марье Николаевне. Она с удивлением слушала рассказ о семье, столь похожей на ее семью, и удивлялась, кто бы мог знать интимные подробности жизни ее и ее братьев. Она подозревала брата Николая и была далека от мысли, что автором повести был брат Лев. Так она сама рассказывала Бирюкову (автору биографии Л. Н. Толстого) и

другим. Из этого ее рассказа следует, что она в то время еще не была знакома и с «Историей моего детства», напечатанной в № 9 «Современника» 1852 года.

Николай Николаевич Толстой писал об этом брату Льву и добавил: «Маша в восхищении от Тургенева. Ты понимаешь, как мне хочется его увидеть. Как только я с ним познакомлюсь, сообщу тебе, какое впечатление он на меня произвел. Маша говорит, что это простой человек; он играет с ней в бирюльки, раскладывает с ней гранд-пасьянс, большой друг с Варенькой (четырёхлетняя дочь М. Н. Толстой), но Маша плохо знает свет, и она может очень ошибаться насчет такого умного человека, как Тургенев. Теперь люди стали очень хитры, нужно их осмотреть дважды; очень хотел бы его видеть».

Тургенев в своих письмах к друзьям писал, что при первом же знакомстве с Марьей Николаевной едва не влюбился в нее, и позднее он не раз тепло отзывался о ней. Летом 1856 года он написал «Фауст» с посвящением этого рассказа Марье Николаевне и читал ей эту повесть еще по рукописи. Его героиня Ельцова напоминает Марью Николаевну даже в мелочах. Так, Ельцова, так же как и Марья Николаевна, была равнодушна к стихам.

Между тем отношения между супругами Толстыми постепенно портились. Во время первых лет замужества Марья Николаевна ее свекровь Елизавета Александровна заботливо и бережно к ней относилась и сдерживала вспыльчивость, грубость по отношению к крепостным и развратное поведение своего сына; при ее жизни супруги жили сносно. Но в 1851 году Елизавета Александровна умерла, и Валерьян Петрович дошел до цинизма. Мне рассказывали его дочери, что его любовница, служившая в Покровском экономкой, родила от него ребенка во флигеле усадьбы. Вследствие такого его поведения Мария Николаевна решила разойтись с ним, в чем ей сочувствовали братья. В 1857 году она уехала от него в Пирогово. После разрыва с мужем ее отношения с Тургеневым не прекратились. В июне 1858 года он пробыл три дня в Пирогове, где она в то время жила. Об этом писал Тургенев Полине Виардо 25 июня: «Я провел очень приятно три дня у своих друзей: двух братьев и сестры, прекрасной, но очень несчастной женщины. Она принуждена была разойтись с мужем, своего рода деревенским Генрихом VIII, очень отвратительным. У нее трое детей, которые растут хорошо,



М. Н. Толстая («Тетя Маша») 1850-е годы

особенно с тех пор, как с ними нет отца. Он обращался с ними сурово, из принципа: ему доставляло удовольствие воспитывать их по-спартански, а самому вести как раз обратный образ жизни. Из двух братьев один (Сергей) довольно бесцветен, другой (Николай) — прелестный малый, ленивый, флегматичный, неразговорчивый и вместе с тем очень добрый, нежный, с тонким вкусом и тонкими чувствами, существо поистине оригинальное. Третий брат — граф Лев Толстой, это тот, о котором я говорил вам, как об одном из лучших наших писателей. Сестра — довольно хорошая музыкантша; мы играли Бетховена, Моцарта и пр.»

Отношения Тургенева с Марьей Николаевной не нравились ее братьям. Лев Николаевич записал в своем дневнике 4 сент. 1858 года: «Тургенев скверно поступает с Марьей. Дрянью». Как закончился роман Марьи Николаевны с Тургеневым, я не знаю, но он закончился в 1858 году. Известно только, что 20 марта 1859 года Тургенев на пути в Спасское заезжал в Ясную Поляну, где виделся с ней. Впоследствии она всегда вспоминала о Тургеневе и о своем платоническом романе с ним.

В 1857 году Марья Николаевна жила в Москве вместе со своим братом Николаем. Там она виделась, между прочим, с своей подругой детства, Любовью Александровной Берс, и с ее дочерьми.

Здоровье ее брата Николая ухудшалось с каждым годом. Его уговорили поехать лечиться за границей, и в 1860 году, по совету Тургенева, он поехал в Соден. Тем же летом туда же поехала Марья Николаевна с детьми и брат Лев. До Штеттина они проплыли на пароходе. Из Берлина они поехали к брату Николаю в Соден. Там они прожили недолго; оттуда вместе с братьями Марья Николаевна поехала на юг Франции, на остров Гиер. 20 сентября 1860 года ее горячо любимый брат Николай умер. Она была глубоко огорчена его смертью и не могла оставаться в Гиере, где все напоминало брата. По совету одного знакомого француза, она поехала в Алжир, где прожила две зимы. Природа Алжира ей очень понравилась, она много съездила вглубь страны, и ее здоровье и настроение улучшились. Затем она переехала в Швейцарию, а в 1862 году вернулась в Россию, но ненадолго.

В июле она приезжала в Ясную Поляну, когда там в отсутствие Льва Николаевича был произведен обыск, была

там и когда Любовь Александровна Берс с дочерью заезжала в Ясную Поляну и намечалась женитьба ее брата на Софье Андреевне. Вскоре она опять уехала за границу. На свадьбе брата Льва она не была.

В Швейцарии, в пансионе, где она поселилась, она сблизилась с одним красивым шведом, Гектором де Клен (1831—1873). Дружба перешла в любовь, и 8 сентября 1863 года у нее родилась третья дочь, Елена. Марья Николаевна отдала ее на воспитание в одну почтенную семью, а 12-летнего сына Николеньку поместила в женевский пансион. Она задумала разводиться с мужем, о чем писала братьям, и братья предприняли некоторые шаги в этом направлении. Валерьян Петрович вел себя корректно. Он был согласен на развод и на присылку денег на содержание детей. Но Марья Николаевна мало надеялась на то, что Гектор де Клен на ней женится. Она писала брату Сергею: «Свободу я, конечно, желаю, но это еще ничего не значит. Он меня любит искренно и сильно, но характер у него очень мягкий, и влияние на него родных большое, так что если борьба ему будет не по силам, то я пожертвую собой и, чего бы это мне ни стоило, оставлю его». Родные Марьи Николаевны уговаривали ее вернуться в Россию. Лев Николаевич писал ей:

«Письмо твое еще тем хорошо, что ты хочешь приехать в Россию. Ради бога, приезжай. Это я не обдумываю, но всей душой чувствую, что это лучшее, что ты можешь сделать. Тетенька [Татьяна Александровна Ергольская], которая, ты знаешь, по моему мнению, всегда по чувству безошибочно видит верно, какой есть лучший *parti à prendre*¹, одного желает — чтоб ты вернулась в Россию, не для себя, а для тебя и детей, и ничего так не боится, как того, чтоб ты вышла *за него* замуж.— Я ей верю, хотя сам касательно шансов будущего твоего с ним счастья и не имею никаких убеждений. Будет что богу угодно. Пошлю тебе письмо Валерьяна Петровича. Он на все согласен, и письмо его хорошо; как может быть хорошо его письмо. Прощение о разводе я не подавал...»²

Марья Николаевна была в тяжелом и неопределенном положении; наконец, она решила вернуться в Россию.

¹ решение как поступить.

² Юбилейный сборник «Лев Николаевич Толстой», М. 1928, стр. 51.

Сергей Николаевич поехал за ней за границу и привез ее летом 1864 года. Она поселилась со своими двумя дочерьми в Пирогове, но часто и подолгу жила в Москве и Ясной Поляне.

6 января 1865 года Валерьян Петрович умер.

После смерти мужа Марья Николаевна вместе с дочерьми жила некоторое время в Ясной Поляне. Там ее дочери Варя и Лиза вносили большое оживление, но ее капризный характер иногда портил их веселое настроение. Моя мать тяготилась ею. В письме от 24 марта 1865 года к своей сестре Татьяне Андреевне, в котором Лев Николаевич вписал над строками несколько слов, она писала: «Скажу тебе по секрету... что Машенька запретила детям переписываться с тобой из ревности, чтобы они не полюбили тебя и меня больше ее. По этой же причине со мной иногда запрещено сидеть, а вызывали их в тетенькину комнату сидеть avec votre rouvge mère¹, где они и молчали и скучали. [Вписано Львом Николаевичем: «Все это так кажется только, когда не в духе. А будет и было всем хорошо и весело.»] Вообще я Машеньку недолюбиваю, она прескучная. [Л. Н. вписал: «И Машенька много хорошего имеет. Все вздор, сама не в духе.»] Сережа тоже очень ее осуждает, и Левочка с ним согласен. [Л. Н. вписал: «Согласен, да не так.»] Она там хлопочет по своим делам и знать никого не хочет. [Л. Н. вписал: «Неправда.»].

Марье Николаевне пришлось вести хозяйство не только в Пирогове, но также, в качестве опекуны своих детей, в Покровском. Хозяйничать она не умела; к счастью, ей помогал ее близкий сосед по Покровскому, барон Александр Антонович Дельви́г (младший брат поэта). Она подружилась с его многочисленной семьей и часто бывала в его имении Хитрово.

В конце 60-х годов Марья Николаевна поехала за границу и привезла оттуда своего сына Николеньку, скромного, рассеянного, добродушного красивого юношу. Он не говорил по-русски и с трудом научился русскому языку. Образование получил за границей, в России у него не было школьных товарищей, и первое время он чувствовал себя иностранцем. Он бывал в Ясной Поляне; мой отец и мы, дети, его очень любили. В сентябре 1876 года отец взял его с собою в поездку в свое самарское имение и в Орен-

¹ с нашей бедной матерью.

бург. Николаю Валерьяновичу не удалось поступить в университет; он пробовал служить на военной службе, был одно время юнкером, но не мог привыкнуть к военной дисциплине и вскоре вышел в отставку.

В 1878 году он женился на Надежде Федоровне Громовой, а 12 июня 1879 года, заболев тифом, умер.

В 1871 году младшая дочь Марья Николаевна, Елизавета, вышла замуж за кн. Леонида Дмитриевича Оболенского, а в следующем году и старшая дочь, Варвара, — за Николая Михайловича Нагорного. Дочери Марьи Николаевны стали жить самостоятельно в Москве, где служили их мужья, и только летом переезжали в деревню. Покровское перешло во владение Оболенских.

Марья Николаевна нигде не могла ужиться. Она жила то в Покровском, то в Ясной Поляне, то в Москве, то за границей. В 1873 году она за границей случайно встретилась с де Кленом. Он был совсем больной и вскоре умер.

В августе 1881 года я поехал в Москву, для того чтобы поступить в университет. В Серпухове на вокзале неожиданно встретил тетю Машу, только что вернувшуюся из-за границы и ехавшую встречным поездом в Ясную Поляну. С ней была миловидная девушка лет восемнадцати. Это была ее дочь Елена от де Клена. Тетя Маша, конфузясь, как мне показалось, сказала: «Надо тебе познакомиться с моей воспитанницей. Говори с ней по-французски; по-русски она не говорит». Я пожал руку «воспитаннице», о существовании которой не знал. Я только впоследствии узнал, что у меня есть двоюродная сестра Елена Сергеевна. Сергеевной по отчеству она называлась по имени ее крестного отца, дяди Сергея Николаевича. Впоследствии мы были с ней очень дружны. Она стала жить вместе с матерью, и тетя Маша представляла ее знакомым, как свою воспитанницу, хотя все знали, что она ее дочь.

Елена Сергеевна недолго прожила с матерью. Она не могла помириться с ее тяжелым характером и уехала от нее. Одно время она служила гувернанткой дочери известного музыкального издателя П. Юргенсона и подружилась с его семьей. В 1898 году она вышла замуж за судебного деятеля И. В. Денисенко, умного и порядочного человека.

Тетю Машу я помню с детства. Я был равнодушен к ее религиозности, к ее суевериям и разговорам о чудесах,

церквах и священниках, но меня привлекала ее живая речь, искренность, музыкальность, ее выразительные большие черные глаза и рассказы о старине. Она всегда с любовью вспоминала про старшего брата Николая Николаевича, отмечая его чуткость и сердечность как человека. Он был талантливым рассказчиком. «К сожалению,— говорила она,— я помню только один его детский рассказ: «Как одна графиня захотела быть графином». Это графиня влюбилась в одного акробата, который в цирке показывал разные фокусы с графином и, между прочим, становился головой на графин. Графиня пожелала быть этим графином; фея исполнила ее желание, и она превратилась в графин. Но однажды от неловкого движения акробата графин упал и разбился, и графиня умерла».

Тетя Маша была остроумна. Например, когда она была уже пожилой женщиной, за ней в Москве на улице увязал какой-то уличный ловелас. Она не смутилась, подвела его к фонарю, подняла свою вуалетку и сказала: «Посмотрите на меня, и, наверно, вы от меня отстанете» — что ловелас и сделал. Еще пример: в яснополянском парке она встретила с компанией дачников, которые обратились к ней с просьбой провести их к Л. Н. Толстому или по крайней мере дать им возможность увидеть его. Она, охраняя брата от посетителей, сказала им: «Сегодня льва не показывают, показывают только мартышек».

Пустота одинокой жизни Марьи Николаевны ее угнетала. Она стала еще более капризной и раздражительной; с дочерьми она не уживалась. Живя в Москве, она одно время занялась музыкой и приглашала скрипачей играть с ней классические сонаты; увлекалась Антоном Рубинштейном. В то же время она подружилась с Д. С. Трефановским, добродушным, чудаковатым, бескорыстным и религиозным врачом-гомеопатом. Трефановский имел на нее некоторое влияние и познакомил ее с популярным в 80-х годах протоиереем Архангельского собора Валентином Амфитеатовым, о котором она говорила с увлечением. Начиная с 80-х годов, Марья Николаевна все более становилась религиозной. В 1889 году она ездила в Оптину Пустынь, где виделась с известным тогда старцем Амвросием, и с этого дня, до смерти Амвросия в 1891 году, находилась под его влиянием. Он стал ее духовным руководителем. В 1890 году она поселилась в Бельском женском монастыре, а с 1891 года — в Шамардинском монастыре,

основанном Амвросием и построенном в красивой местности, в семнадцати верстах от Оптиной Пустыни. Первые годы своей жизни в монастырях она еще не постриглась и продолжала бывать в Москве. О ее увлечении Валентином Амфитеатовым моя мать, посетившая ее в Москве, писала моему отцу 23 января 1894 года:

«...Вчера я съездила к сестре Машеньке, застала там приготовление к всенощной с отцом Валентином. Я его видела; лицо хорошее, но глаза не глядят ни на кого, а через, и когда меня назвали, он так бегло и неохотно взглянул на меня, как будто правилом себе поставил ни на кого на свете не глядеть. Какой это мир, где Машенька, удивительный! Все женщины: худые, полные, покрытые голозы у всех, ходят, как монахини, тихо и плавно, все обожают отца Валентина, все без семей, без дома, живут в этом «Петергофе»¹ по углам и молятся, зажигают лампы, а кумир, радость жизни — отец Валентин, и внешняя благообразная жизнь с осетриной, разговорами о еде и проч. Всякий по-своему спасается. Молятся почти весь день, и если бы это общение с богом было не механическое, а вполне искреннее, настоящее, то было бы и это хорошо, т. е. хорошо молиться весь день и думать о боге»².

В первые годы увлечения тети Маши православием, со всеми его обрядами и верой в чудеса, между нею и моим отцом возникли горячие споры, но скоро оба поняли, что переубедить друг друга они не могут. Отец говорил про сестру: «Пускай верует по-церковному; это лучше, чем ни во что не верить». А в тете Маше удивительно сочетались наивная вера в обряды и чудеса с сочувствием нравственным основам мировоззрения брата. Так, например, когда он в 1908 году послал ей свою статью против смертной казни («Не могу молчать»), она ответила ему сочувственным письмом, выражая свое осуждение казням с православной точки зрения.

В Шамардинском монастыре Марья Николаевна некоторое время была тем, что называется «рясофорной» монахиней. Позднее она постриглась, после чего ей стало труднее бывать в Ясной Поляне. Однако она туда приез-

¹ Меблированные комнаты на углу Воздвиженки, ныне улица Калинина.

² С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, изд. «Academia», М.—Л. 1936, стр. 587.

жала почти каждое лето. Однажды отец уговаривал ее подольше побыть в Ясной Поляне, но она сказала:

— Я этого не могу без благословения старца Иосифа. Без этого благословения наши монахини вообще ничего не предпринимают.

— А сколько вас всех монахинь в Шамардине? — спросил Лев Николаевич.

— Шестьсот.

— И ни одна из вас, шестисот дур, не может жить своим умом! Для всего нужно благословение старца!

Марья Николаевна запомнила эти слова и вскоре подарила брату подушечку, ею вышитую, на которой были вышиты шелком слова: «От одной из шамардинских дур».

В монастыре капризный характер Марьи Николаевны смягчился. Она говорила: «Монастырь исправил мой характер. Для ухода за мной мне была приставлена очень добрая келейница. Я по прежней привычке иной раз капризничала, раздражалась, бранила ее, но она меня обезоруживала своим смирением и всегда только кланялась и говорила: «Простите, мать Мария». И мне становилось стыдно».

В 1911 году я ездил к тете Маше в Шамардино и виделся с ней в последний раз. Она была очень довольна моим приездом и расспрашивала меня про последний год жизни моего отца и его уход. Я ей сказал, что, может быть, ему давно следовало уехать от семьи. Она со мной не согласилась, но, подумав, сказала:

— Может быть, он мог бы уехать в конце девяностых годов.

Я ей рассказал о завещании отца и высказал ей свое мнение о том, что это завещание было причиной тяжелых переживаний отца в 1910 году, рассказал ей и об истеричном состоянии матери. Она сокрушалась о том, что ее брат уехал, не простившись с ней, что его напугали тем, что мать узнает, где он, и придет в Шамардино. «А он хотел здесь пожить,— говорила тетя Маша,— он даже ходил на деревню нанимать избу».

После смерти Льва Николаевича тетя Маша ответила на письмо моей матери добрым и трогательным письмом, в котором писала:

«Милая Соня, очень рада была получить твое письмо. Я думала, что, испытавши такое горе и отчаяние, тебе не

до меня, и это мне было очень грустно. Я верю, что, кроме того, что ужасно потерять такого дорогого человека, тебе очень тяжело. Ты спрашиваешь, какой я могла сделать вывод из случившегося? Как я могу знать из всего, что я слышала от разных людей, близких к вашему дому, что правда, что нет. Но я думаю, как говорится: нет дыма без огня,— вероятно, было что-нибудь неладное!

Когда Левочка приехал ко мне, он сначала был очень удручен, и когда он мне стал рассказывать, как ты бросилась в пруд, он плакал навзрыд, а не могла его видеть без слез. Но про тебя он мне ничего не говорил, сказал только, что приехал сюда надолго, думал нанять избу у мужика и тут жить. Мне кажется, что он хотел уединения; его тяготила яснополянская жизнь (он мне это говорил в последний раз, как я у вас была) и вся обстановка, противная его убеждениям. Он просто хотел устроиться по своему вкусу и жить в уединении, где бы ему никто не мешал,— так я поняла из его слов... Он никуда не намерен был уезжать и собирался поехать в Оптину Пустынь и хотел непременно поговорить со старцем... Когда он уходил в этот день вечером ночевать в гостиницу, он и не думал уезжать, а сказал мне: до свидания, увидимся завтра! Каково же было мое удивление и отчаяние, когда в 5 часов утра (еще темно) меня разбудили и сказали, что он уезжает! Я сейчас же встала, оделась, велела подавать лошадь, поехала в гостиницу, но он уже уехал, и я так его и не видала.

Не знаю, что между вами было. Чертков тут, вероятно, во многом виноват, но что-нибудь да было особенное: иначе Лев Николаевич в свои лета не решился бы так внезапно, ночью, в ужасную погоду, собравшись скоро, уехать из Ясной Поляны.

Вот, милая Соня, какой вывод я могла сделать из всего этого поразительного и ужасного события. Как он сам был необыкновенный человек, так и кончина его была необыкновенна.

Милая Соня, ты на меня не сердись, я откровенно тебе написала, что я думала и чувствовала; я хитрить перед тобой не могу, ты мне все-таки очень близка и дорога, и я всегда буду тебя любить, что бы там ни было. Ведь он, милый мой Левочка, тебя любил!

Не знаю, в состоянии ли я буду приехать летом на могилу Левочки; после его смерти я очень стала слаба,

никуда положительно не хожу, только езжу в церковь, одно мое утешение. Прощай, будь здорова и покойна. Любящая тебя сестра *Машенька*.

Живу я с одной монахиней, которую я никогда почти не вижу; она все ходит на послушании.

Где ты сама живешь, Соня, и какие твои дальнейшие планы? У меня были по разу все твои сыновья (кроме Левы и Миши). Я им очень рада была; очень грустно, что я их больше не увижу. Соня Илюшина была; она очень была со мной мила. 22 апреля 1911 г.»

Марья Николаевна умерла весной 1912 года от воспаления легких. У нее не было страха смерти. Она признавала, что умирает, просила прощения у всех ее окружавших и после некоторого колебания согласилась быть постриженной в схиму, что обязывало ее еще строже соблюдать монастырские правила. Когда ей предложили принести из церкви образ казанской божьей матери, она сказала:

— Что ж, принесите, только я не умею молиться образам так, как вы.

Она скончалась умиротворенной, тихо, без агонии...

Прилагаю выписки из двух писем Марьи Николаевны, написанных ею незадолго до смерти.

Первое письмо — это ответ на письмо Шарля Саломона — приятеля нашей семьи, из Парижа. Французские фразы этого письма я привожу в русском переводе курсивом.

«16 января 1911. Вы хотели бы знать, что мой брат искал в Оптинской Пустыни? Старца-духовника или мудро-го человека, живущего в уединении с богом и своей совестью, который понял бы его и мог бы несколько облегчить его большое горе? Я думаю, что он не искал ни того, ни другого. *Горе его было слишком сложно; он просто хотел успокоиться и пожить в тихой духовной обстановке.* Досадные недоразумения, омрачившие в последнее время существование моего брата с его женой, в конце концов разразились неизбежной катастрофой. Чем больше Лев душой и умом возносился к небу, тем более она погружалась в милое ей *terre-à-terre* (мещанство). Бедный Лев, как он рад был меня видеть! Как он желал устроиться в Самардине, *«если твои монашки меня не прогонят»*, или

в Оптине. Я не думаю, что он хотел бы вернуться к православию, но я надеялась, что наш старец, который на всех действовал кротостью и любовью, возбудит в нем чувство умиления, которого у него еще не было, но которое уже было близко к нему последнее время. И вот он уехал и умер, дорогой мой Левочка, как я привыкла его звать... Отчего он так внезапно уехал, никто (я даже с ним не простилась) не знает... Сестра Мария Толстая».

Из письма тети Маши к Т. Л. Сухотиной:

25 мая 1911 г.

«Милая моя Танечка!

Приятно и грустно мне было получить твое письмо. Приятно потому, что я вижу, как будто ты меня любишь; а грустно потому, что точно я вместе с Левочкой куда-то ушла; он туда, где «нет печали, ни вздыхания»... а я, должно быть, где-нибудь на луне, так все меня забыли... а я вас всех люблю и, конечно, желала бы знать хотя про эту ужасную и запутанную историю с завещанием. Мне обидно за старших братьев и за тебя... Конечно, тут сидит Чертков и это, к сожалению, кладет тень на Л. Н. Главное, меня интересует история продажи Ясной Поляны. Неужели она попадет в чужие руки? а могила? Умоляю тебя, дорогая Танечка, утешь меня, старуху, напиши мне подробнее о всем этом... Хотелось бы побывать в Ясной, видеть Сою, поехать на могилу, но вряд ли буду в состоянии; со смерти Левочки я очень стала слаба, едва хожу...

Нечего говорить, как я была бы счастлива, если бы ты приехала с милым твоим мужем и Танечкой...

Милая Таня, мне так грустно, что я никого из вас, Толстых, не вижу и ничего о вас не знаю: точно я для вас умерла! А я вас всех очень люблю — кого больше, кого меньше, но все-таки вы мне дороги...

Маму твою желала бы видеть, мне ее искренно жаль, мне хотелось бы, при свидании с ней, многое себе уяснить. Между ней и Левочкой работали два врага — один *видимый*, а другой *невидимый*, — для меня это ясно, как день! Ведь они все-таки любили друг друга. Откуда же у них бралось это чувство как будто ненависти друг к другу?..

А теперь прощайте, целую вас всех. Очень устала.

Старая тетя Маша».

ТУРГЕНЕВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Тургенев и Толстой, история их взаимных отношений, столкновение двух различных мировоззрений, двух разных характеров — какая богатая тема для историко-литературного исследования! Однако это не входит в мою задачу. Я хочу только рассказать нечто из последней главы истории этих отношений, а именно про посещения Тургеньевым Ясной Поляны в 1878, 1880 и 1881 годах, чему я лично был свидетелем. Но для уразумения этой последней главы я должен сказать несколько слов о прежних отношениях между Тургеньевым и моим отцом.

В 1856 году вступил в петербургский кружок литераторов как полноправный член его молодой писатель Лев Толстой, уже известный своим «Детством», «Отрочеством» и военными рассказами. В этом кружке первую скрипку играл И. С. Тургенев, и, конечно, он больше всего интересовал Льва Николаевича. Скоро, даже очень скоро, между ними установились дружеские отношения. Как человек Тургенев был обаятелен. Он уже был знаменитостью как автор «Записок охотника», оказавших на моего отца большое влияние, «Рудина», «Дворянского гнезда» и пр. Тургенев один из первых оценил талант Толстого, и он, Тургенев, был на десять лет старше Толстого. Понятно, что Лев Николаевич подпал под его влияние. Однако это продолжалось недолго: постепенно отец стал освобождаться от влияния и опеки Тургеньева и находить самого себя.

Начались бесконечные принципиальные споры. Тургенев любил премировать в разговоре, а отец не всегда был терпим к мнениям своих собеседников. Отношения

обострились и, наконец, кончились разрывом и ссорой. Этот разрыв не был случаен. Он подготавливался понемногу и произошел как от различия их характеров, так и от противоположности их мировоззрений.

В продолжение пяти лет — между 1856 и 1861 годами — они часто виделись и в Петербурге, и в деревне, и за границей. Личные отношения их можно было назвать близкими, но что-то мешало их дружбе. Тургенев говорил, что временами между ними открывался овраг и что этот овраг то сглаживался и превращался в едва заметную щель, то опять открывался.

Уже в 1856 году Тургенев пишет Толстому: «...Я никогда не перестану любить вас и дорожить вашей дружбой, хотя, вероятно, по моей вине, каждый из нас в присутствии другого еще долго будет чувствовать большую неловкость. Отчего происходит эта неловкость... я думаю, вы понимаете сами. Вы — единственный человек, с которым у меня произошли недоразумения»...¹

Во время своего пребывания в Париже в 1857 году отец постоянно виделся с Иваном Сергеевичем и вместе с ним бывал в гостях, в театрах и т. д. В дневнике рядом с заметками о том, что «Тургенев скучен и тяжел», он отмечает, что «Тургенев мил», «весело болтал с Тургеновым» и т. п. Уезжая из Парижа в Швейцарию, он пишет в дневнике: «Заехал к Тургенову. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал и делает из меня другого человека»².

Однако с годами «овраг» между ними расширялся. Равнодушие Тургенова к вопросам религии и нравственности было не по нутру моему отцу. Ему нужны были жизненные радикальные ответы на мучившие его вопросы. Он уже тогда, отчасти сознательно, хотя и ощупью, искал ответа на вопросы о цели и смысле жизни в религии и этике. А Тургенев ему говорил: «Это неважно. Занимайтесь литературой, вам дан огромный талант, используйте его». В 1857 году Тургенев писал отцу:

«Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета, — не сделали только литератором. Не спорю, может быть вы и правы, только я, грешный человек,

¹ «Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, стр. 16.

² Юбилейное изд., т. 47, стр. 122.

как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель религиозного учения? чиновник? делец? Пожалуйста, выведите меня из затруднения и скажите, какое из этих предположений справедливо.

Я не шучу,— а в самом деле мне бы ужасно хотелось, чтобы вы поплыли, наконец, на полных парусах»¹.

Как видно из этого письма и из других его писем, Тургенев требовал от Льва Николаевича, чтобы он был чуть ли не исключительно литератором, и пренебрежительно относился ко всяким другим его занятиям хозяйством, училищами и в особенности философией. Он не хотел понять, что если Лев Николаевич писал то, что он писал, то только потому, что у него есть свой внутренний мир, свои идеи, которые заставляют его писать так, а не иначе. А равнодушие Тургенева к самым дорогим его мыслям и чувствам обижало Льва Николаевича. С другой стороны, Тургенев был недоволен, возможно, и тем, что бывший под его покровительством и влиянием молодой писатель сам становился на ноги и даже критиковал его романы: «Рудин», «Отцы и дети», «Дым».

На почве всех этих разногласий и неудовольствий разлад разразился ссорой. Это случилось в 1861 году. Я не буду излагать ни этого печального события, ни писем, которыми оба писателя после этого обменялись.

Отношения порвались на семнадцать лет. Однако оба продолжали интересоваться друг другом. Например, Тургенев, узнав, что Лев Николаевич для уплаты одного своего проигрыша продал Каткову «Казак», пишет: «Дай-то бог, чтобы хоть таким путем Толстой возвратился к своему настоящему делу». По поводу появления «Поликушки» он пишет: «Мастер, мастер».

«Войну и мир» он хвалил и критиковал, находя, что самая слабая ее сторона — это то, чем восторгается публика,— историческая сторона и психология.

С своей стороны, отец продолжал интересоваться Тургеневым и его произведениями. Между прочим, я помню такой отзыв его о Тургеневе: «Зачем Тургенев поклоняется молодежи и заискивает у нее? Чему тут поклоняться? Молодежь надо поучать, а не поклоняться ей». Отец высоко

¹ «Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, стр. 40.

ценил многие произведения Тургенева. Когда мы были еще детьми, он советовал нам читать «Записки охотника». Особенно нравились ему: «Бежин луг», «Бирюк», «Гамлет Шигровского уезда», «Живые мощи» и описание природы. Помню, как он сказал про «Певцов», что Тургенев удивительно передает впечатление от пения, но что здесь автор заехал в область другого искусства — музыки. Из отдельных рассказов Тургенева от считал лучшим «Первую любовь», потому что он в этом рассказе описал то, что сам пережил. Романы Тургенева отец ставил ниже его рассказов. Помню только, что он хвалил «Затишье», начало «Аси», «Вешние воды».

После разрыва отец тем не менее интересовался мнением Тургенева о своих произведениях. Так он написал Фету по поводу «Войны и мира»:

«Ваше мнение, да еще мнение одного человека, которого я не люблю, чем более я вырастаю большой, мне дорого,— мнение Тургенева».

1877 год был критическим годом в жизни моего отца. Тогда произошел перелом в его мировоззрении, описанный им в «Исповеди». Этому душевному кризису предшествовали тяжелые переживания — сознание тщеты жизни и страх смерти.

Новое религиозное отношение к жизни потребовало проверки себя и своих отношений к людям. Личных врагов, думается мне, у моего отца не было, но неприязненные отношения с Тургеневым его тяготили. Тогда он написал Тургеневу следующее примирительное письмо:

«Иван Сергеевич,

в последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего.

Если это так, пожалуйста, подадимте друг другу руки и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, в чем я был виноват перед вами.

Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писание и

меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил вас.

Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю всю ту дружбу, к которой способен. В наши годы есть одно только благо — любовные отношения между людьми, и я буду очень рад, если между нами они установятся.

6 апреля 1878 г.

Гр. Л. Толстой»

Тургенев ответил 8/20 мая 1878 г. из Парижа:

«Любезный Лев Николаевич, я только сегодня получил Ваше письмо, которое вы отправили *poste restante*. Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам; если они и были, то давным-давно исчезли и осталось одно воспоминание о Вас, как о человеке, к которому я был искренно привязан, и о писателе, первые шаги которого мне пришлось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений.

Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, и — тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю Вам всего хорошего — и еще раз дружески жму Вам руку.

Иван Тургенев»¹

В августе 1878 года Тургенев был в Москве и написал Льву Николаевичу: «...Пробуду в Туле, где у меня дела. Мне самому хочется Вас видеть, и к тому же у меня есть поручение до Вас — то как хотите? приедете ли Вы в Тулу, или я заеду к Вам в Ясную Поляну?»²

Через несколько дней Тургенев телеграфировал, что приедет со ст. Тула в Ясную Поляну. Отец сам поехал в Тулу его встречать, взяв с собой своего шурина, молодого правоведа Степана Берса. О том, как встретились оба

¹ «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 73 и 74.

² Там же, стр. 75.

писателя после семнадцатилетней разлуки и какие были их разговоры в коляске в те полтора часа, когда они ехали из Тулы в Ясную Поляну, записей не сохранилось. Надо предполагать, что встреча была сердечна и что оба они избегали неприятных тем разговора.

И вот Тургенев в Ясной Поляне. Всего-навсего Тургенев приезжал в Ясную Поляну 4 раза: 8—9 августа 1878 года, 2—4 сентября того же года, 2—4 мая 1880 года и 22 августа 1881 года. Об этих посещениях есть записки Степана Берса, Е. И. Менгден, моей матери, сестры Татьяны и брата Ильи. Я постараюсь последовательно вести свой рассказ, проверяя свои воспоминания этими записками, и обратно. Однако я не могу ручаться за то, что хронологически мой рассказ будет верен. Ведь с тех пор прошло много лет. Особенно трудно установить, имели ли место те или иные разговоры или факты в первое его посещение, в августе 1878 года, или во второе — в сентябре. Поэтому мой последующий рассказ будет столько же относиться к первому посещению, сколько ко второму.

Летом 1878 года в Ясной Поляне, по обыкновению, жило много народа. В большом доме жила наша семья, состоявшая, кроме родителей, из четырех братьев и двух сестер. Мне, старшему, было пятнадцать лет, сестре Татьяне — тринадцать, Илье — двенадцать и т. д. В то время у нас жили француз-гувернер М. Montels, бывший коммунарь 1871 года, скрывавшийся в России под фамилией Nief, гувернантка-англичанка и В. И. Алексеев. Во флигеле жила семья Кузминских. Кроме того, в Ясной Поляне почти всегда гостил еще кто-нибудь. В то время гостила баронесса Е. И. Менгден с дочерью и Степан Берс.

Все мы, конечно, с величайшим интересом ждали Ивана Сергеевича. Я знал, что Тургенев большого роста. Но он превзошел мои ожидания. Он показался мне великаном — великаном с добрыми глазами, с красноватым лицом, с мягкими, как мне казалось, мускулами ног и с густыми, хорошо причесанными, белыми, даже желтоватыми волосами и такой же бородой. Сравнительно с ним отец мне показался маленьким (хотя он был роста выше среднего) и моложе, чем он был. Правда, Тургеневу было шестьдесят лет, а отцу — пятьдесят. Но Тургенев был совсем седой, а у отца были темные волосы без проседи. В их отношениях чувствовалось, что Иван Сергеевич старший. Мне тогда казалось, что отец к нему относился сдержанно,

любезно и слегка почтительно, а Тургенев к отцу, несмотря на свою экспансивность, немножко осторожно.

Тургенев привез с собою прекрасные дорожные вещи: дорогой кожаный чемодан, изящный несессер, две щетки слоновой кости и пр. Я помню его бархатную куртку, такой же жилет, шелковый галстук, мягкую, тоже, кажется, шелковую рубашку и двое прекрасных золотых часов. Часы он с удовольствием показывал и говорил, что они — хронометры, что он вообще любит хорошие часы и наблюдает за тем, чтобы они ходили верно и одинаково, минута в минуту. Еще у него в кармане была изящная табакерка с шохательным табаком. Он говорил, что бросил курить, потому что, когда он курил, две милые девицы не позволяли себя целовать, «а теперь, — прибавил он, — мои парижские дамы не позволяют мне нюхать табак». На ногах у него были мягкие сапоги с очень широкими носками: такие сапоги он носил по причине своей подагры.

Иван Сергеевич много разговаривал с отцом наедине, в кабинете и на прогулках. Вероятно, главной темой их разговоров была литература. Помню, как, войдя по какому-то делу в кабинет, я услышал, как Иван Сергеевич декламирует:

Над Невою резко высятся
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

— Разве это не удивительно сказано? — говорил Иван Сергеевич. — Разве вы не слышите гром пушек в стихах:

И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена?

Отец, помнится, соглашался, что стихотворение прекрасно по форме, но не по содержанию. Ведь он изучал эпоху Петра I и вынес из этого свое отношение к Петру. Кажется, тогда же он говорил: когда писатель пишет стихами, он ограничен в выборе выражений рифмой и размером. Если хочешь точно выразить свою мысль, то нельзя писать стихами.

Не помню, что именно возражал Тургенев, только помню, что отец согласился, что иногда рифма придает особую прелесть некоторым выражениям, как, например, рифма «странен» и «ранен» в том месте Евгения Онегина, где Пушкин пишет про убитого Ленского:

Недвижен он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навывлет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла...

Впрочем, отец оговаривался, что он пристрастен к Пушкину и что чувствует к нему особую слабость. В этом, а также в слабости к стихотворениям Фета и Тютчева, он сходился с Тургеневым.

Между прочим, Тургенев, следивший за литературой, рекомендовал отцу двух начинающих писателей: одного — русского, Всеволода Гаршина, и другого — француза, Мопассана. Отец впоследствии вполне оценил обоих. Мопассан сперва его оттолкнул сюжетом «Maison Tellier», но, прочтя «Une Vie», он признал в нем первоклассного писателя. Тогда же Тургенев рекомендовал одну писательницу, кажется г-жу Стечкину. Но про нее отец говорил: «Тургенев постоянно возится с какой-нибудь романисткой».

В обществе Тургенев завладевал разговором и общим вниманием. Он был бесподобным рассказчиком, и мы заслушивались его. То он рассказывал, как, сидя на гауптвахте за статью о Гоголе, он безуспешно заискивал у своего сторожа, здоровенного унтер-офицера; то он изображал курицу в супе, подкладывая одну руку под другую; то он показывал, как его легавая собака делает стойку; то он описывал свою виллу в Буживале, говоря про семью Виардо и себя — мы; то рассказывал, как в Баден-Бадене он играл лешего в домашнем спектакле у Виардо и как на него смотрели с недоумением.

Еще он рассказывал, как на маскараде, вместе с поэтом А. К. Толстым, он встретил грациозную и интересную маску, которая с ними умно разговаривала. Они настаивали на том, чтобы она тогда же сняла маску, но она открылась им лишь через несколько дней, пригласив их к себе.

— Что же я тогда увидел? — говорил Тургенев, — лицо чухонского солдата в юбке.

Эта маска потом вышла замуж за А. К. Толстого. Его стихотворение «Средь шумного бала» навеяно этим первым знакомством с его будущей женой. Думаю, что Тургенев преувеличил ее некрасивость. Я встречал впоследствии вдову А. К. Толстого; она вовсе не была безобразна и, кроме того, она была, несомненно, умной женщиной.

Кто-то спросил Ивана Сергеевича, не кажется ли ему все русское странным после долгого отсутствия из России. Он ответил, что многое его поражает в первые дни, но что он скоро опять привыкает ко всему русскому, родному.

Несмотря на свои шестьдесят лет, Тургенев был бодр и подвижен. Он ходил гулять с моим отцом и с нашей компанией молодежи, обращая внимание на хозяйство, на лесные и яблочные посадки и на красивые места в саду и в лесу.

В то время кто-то около яснополянского дома устроил первобытные качели — длинную доску, лежащую своей серединой на перекладине. Проходя мимо, отец и Тургенев соблазнились и, став каждый на конце доски, стали при общем смехе подпрыгивать, подбрасывая друг друга.

В один из вечеров Иван Сергеевич читал свой рассказ «Собака». Он читал выразительно, живо и просто — без вычурных интонаций. Но самый рассказ ни на кого, в том числе на моего отца, большого впечатления не произвел.

В другой раз вечером Тургенев играл в шахматы со мной и, насколько мне помнится, с отцом и Урусовым. Он был сильный игрок, сильнее отца. Давая мне ладью вперед, он одну партию выиграл, другую проиграл. Он рассказывал, что, играя на одном международном шахматном турнире решительную партию с одним поляком, он мог, благодаря ошибке своего противника, сделать выигрышный ход — открытый шах. Публика с волнением ждала, сделает ли он этот ход. Подумавши, Тургенев сделал выигрышный ход, и поляк сдался. Он играл особенно искусно слонами. «Меня шахматисты называют «Le chevalier du fou», — говорил он (рыцарем слона). По поводу шахматной игры он вспомнил об одном модном в то время словечке французов:

— Что ни скажешь французу, — говорил он, — он отвечает: «Vieux jeu» (старая игра).

Несмотря на всю свою любовь к Франции, Тургенев не особенно восхищался французами, указывая на их недостатки — на их большое национальное самодовольство и мещанскую расчетливость. Он говорил, что французы стали дурно говорить по-французски, грубым парижским жаргоном. Сам он нередко переходил с русского языка на французский. А как хорошо он говорил по-французски! Известно, что сами французы любовались его выговором и оборотами речи.

Говоря про француженок, Тургенев сказал: «Насколько русские женщины и девушки образованнее француженок! Точно из темной комнаты войдешь в светлую, когда приедешь в русскую семью».

Уезжая, Тургенев очень любезно со всеми простился. Моему отцу он говорил: «Вы прекрасно сделали, душа моя, что женились на вашей жене». Он обещал опять заехать в Ясную Поляну осенью.

Моя мать под свежим впечатлением тогда же записала следующее: «Тургенев очень сед, очень смирен, всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных предметов. Так он описывал статую Христа Антокольского, точно мы все видели ее, а потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала видна слабость, даже детская, наивная слабость характера. Вместе с тем видна мягкость и доброты»¹.

Возвратившись в Спасское, Иван Сергеевич 14 августа написал отцу:

«Не могу не повторить Вам еще раз, какое приятное, хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла и для нас недаром — и что и Вы и я — мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад, и мне было приятно это почувствовать.

Нечего и говорить, что на возвратном пути я снова, всенепременно заверну к Вам...»²

¹ «Дневники С. А. Толстой, 1860—1881 годы», изд. Сабашниковых, М. 1928, стр. 47.

² «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 76.

Отец также отвечал ему любезным письмом и через несколько дней (25 августа) Тургенев опять пишет Льву Николаевичу:

«Мне очень приятно узнать, что все в Ясной Поляне взглянули на меня дружелюбным оком. А что между нами существует та связь, о которой Вы говорите, — это несомненно, и я очень этому радуюсь, хоть и не берусь разобрать все нити, из которых она составлена. Одной художественной — мило. — Главное, что она есть...»¹

Во второе свое посещение, 2 сентября, Тургенев пробыл в Ясной Поляне три дня. Вскоре после этого он уехал за границу.

В письме к Фету он писал: «Мне было очень весело снова сойтись с Толстым, и я у него провел три приятных дня. Все семейство его очень симпатично, а жена его — прелесть. Он сам очень утих и вырос. Его имя начинает приобретать европейскую известность. Нам, русским, давно известно, что у него соперника нет».

Отец не столь восторженно отзывался о Тургеневе. В письме к Фету от 5 сентября 1878 г. он писал:

«Тургенев на обратном пути был у нас... Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна».

В следующем письме Тургенев как бы подтвердил, что действительно им обоим не следует переходить далее известной степени сближения. Одно из его писем (от 15 ноября 1878 г.) произвело на моего отца неприятное впечатление:

«Радуюсь и тому, что вы все физически здоровы, и надеюсь, что и «умственная» ваша хворь, о которой Вы пишете, прошла. Мне и она была знакома: иногда она являлась в виде внутреннего брожения перед началом дела; полагаю, что такого рода брожение совершилось и в Вас. Хоть Вы и просите не говорить о Ваших писаниях, однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось «даже пемножко» смеяться над Вами; иные Ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились, иные, как, например, «Кзаки», доставляли мне большое

¹ «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 78—79.

удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смех? Я полагаю, что Вы от подобных «возвратных» ощущений давно отделались...»¹

На это письмо отец дал краткий отзыв в письме к Фету от 22 ноября:

«Вчера получил от Тургенева письмо; и знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный».

Черная кошка опять чуть не пробежала между обоими писателями, но это было в последний раз. После этого добрые отношения между ними не прерывались. Тургенев, как старая нянька, как он сам себя называл, прилагал все старания к распространению произведений Льва Толстого за границей. Переписка между ними возобновилась. Отец по поводу одного пасквиля, напечатанного Катковым в «Московских ведомостях», выразил Тургеневу горячее сочувствие, и Тургенев, всегда благодарный сочувствию и ласке, ответил (28 декабря 1879 г.):

«Меня очень тронуло сочувствие, выраженное Вами по поводу статьи в «Моск. ведомостях»; и я, с своей стороны, почти готов радоваться ее появлению, так как оно побудило Вас сказать мне такие хорошие, дружелюбные слова»².

Однако Тургенев оставался при своем взгляде на Толстого исключительно как на литератора. 16 сентября 1879 года он пишет Полонскому: «Л. Толстой, как большой талант, выскочит из болота, куда он залез, и с пользой для литературы, а Фет-Шеншин до того погряз в философствовании, что только пузыри пускает, и пузыри не благовонные».

В январе 1880 года Тургенев послал отцу лестный отзыв Флобера о «Войне и мире». Весной того же года, приехав в Россию, он опять посетил Ясную Поляну. На этот раз он взял на себя важное поручение: уговорить Толстого участвовать в празднествах по поводу открытия памятника Пушкину.

2 мая он был в Ясной Поляне. Была весна, «березы как будто пухом зеленели», «соловей уж пел в безмолвии

¹ «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 84.

² Там же, стр. 90.

почей», и днем раньше разные певчие птицы свистели и пели в саду. Иван Сергеевич хорошо знал птиц и отличал их по песню. «Это пост овсянка,— говорил он,— это коноплянка, это «скворец» и т. д. Отец признавался, что он так хорошо птиц не знает. Пролет вальдшнепов был в самом разгаре, Тургенев, мой отец, брат Илья и я с ружьями, а с нами моя мать и сестра Татьяна отправились на охоту. Поехали мы в экипаже вроде линейки, под названием «вагон», на речку Воронку, в казенный лес Засеку. Доехав до речки, мы перешли по бревну на тот берег. Помню высокую живописную фигуру И. С. Тургенева в бурой куртке и широкополой шляпе, когда он осторожно перешагивал по бревнышку через речку. Отец предоставил ему лучшую, по его мнению, полянку, через которую должны были тянуть вальдшнепы, и сам стал неподалеку. Моя мать, разговаривая с Тургеневым, осталась вместе с ним. Она его спросила, почему он теперь ничего не пишет. Тургенев ответил, что он уже конченный писатель.

— Пас никто не слышит? — продолжал он. — Так я вам скажу. Я теперь уже не могу писать. Раньше всякий раз, как я задумывал писать, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар и не могу больше ни любить, ни писать.

Во время разговора вдруг послышался выстрел и голос Льва Николаевича, посылавшего собаку искать убитого вальдшнепа.

— Началось,— сказал Тургенев.— Лев Николаевич уже с полем. Вот кому счастье. Ему всегда в жизни везло.

И в самом деле, вальдшнепы летели больше на отца, чем на Тургенева,— вероятно просто потому, что Тургенев отпугивал вальдшнепов разговорами. Наконец, Тургенев услышал все ближе и ближе хрип и свист вальдшнепа; птица оказалась над деревьями, и он выстрелил.

— Убили? — крикнул отец с места.

— Камнем упал,— ответил Иван Сергеевич.

Однако, как ни искали вальдшнепа собака и мы все, найти его в темноте не удалось. И странно: Ивану Сергеевичу и даже моему отцу это было неприятно. Но на другой день брат Илья нашел убитого вальдшнепа: накануне собака не могла его найти, потому что он повис на дереве.

Перед отъездом Тургенева моя мать пошла звать его и моего отца обедать. Они сидели в избушке, которую построил себе отец в роще, около дома, в так называемом

«Чапыже», для того чтобы в уединении заниматься. Тургенев в это время уговаривал отца участвовать в пушкинском празднике. Отец решительно отказался. Он не любил публично выступать и вообще не любил торжеств и праздников, хотя бы в честь Пушкина.

Тургенев этого не ожидал и уехал разочарованный.

В продолжение 1880 года и последующего дружелюбная переписка между обоими писателями продолжалась. Тургенев, так же как и прежде, распространял произведения Льва Толстого за границей, но продолжал пренебрежительно относиться к его философии. «Мне очень жаль Толстого,— пишет он А. И. Урусову 1 декабря 1880 года, узнав о мрачном настроении Льва Николаевича.— *No chascun sa manière de tuer ses pucés*»¹. В июне 1881 года он пригласил Льва Николаевича к себе в Спасское. 4 июля 1881 года он писал отцу: «Очень порадовался вашему близкому посещению,— а также и тому, что вы говорите о вашем чувстве ко мне. Оно потому и хорошо, что общее, т. е. одинаковое и в вас и во мне»².

О свидании Л. Н. Толстого с И. С. Тургеневым в Спасском есть воспоминания Полонского и следующая пометка в дневнике моего отца:

«9. 10-го июля. У Тургенева. Милый Полонской, спокойно занятый живописью и писанием, неосуждающий и — бедный — спокойный. Тургенев боится имени бога, а признает его. Но тоже наивно спокойный, в роскоши и праздности жизни».

В последний раз И. С. Тургенев был в Ясной Поляне в конце августа 1881 года. 22 августа, в день рождения моей матери, в Ясной Поляне было много гостей, в том числе мой дядя Сергей Николаевич Толстой и кн. Л. Д. Урусов. Несмотря на то, что Урусов был в то время тульским вице-губернатором, его можно назвать последователем моего отца. Отец занимался в то время исследованием евангелия и посвящал Урусова в свою работу. Урусов усвоил себе его толкование первых слов евангелия от Иоанна: «Началом всего было разумение жизни» и т. д., и любил говорить на эту тему. И вот, вечером, за чайным столом, Урусов стал доказывать Тургеневу, что начало всего есть разумение жизни. Не помню, что и как возра-

¹ У каждого человека есть свой способ убивать своих блох.

² «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 100.

жал Тургенев, но, повидимому, его мало интересовал предмет разговора, и он старался перейти на другую тему. Но Урусов настойчиво продолжал доказывать свои тезисы, сильно жестикулируя и не замечая того, что он продвинулся на кончик стула. Вдруг стул выскользнул из-под него, и он упал на пол с вытянутой вперед ладонью. Нисколько не смутившись, он из-под стола продолжал начатую фразу. Тургенев не удержался и громко, „слишком громко расхохотался.

— *Il m'assomme, se Трубецкой* (он убивает меня, этот Трубецкой), — сквозь смех фальцетом кричал Тургенев, спугав фамилию Урусова и называя его Трубецким.

Все также рассмеялись, кроме самого Урусова и моего отца. Отец только улыбнулся; ему было неприятно несколько пренебрежительное отношение Тургенева к Урусову и к вопросам, им поднятым. После этого разговор о разумении жизни уже не возобновлялся.

Кажется, тогда же по поводу того, что нас сидело за столом тринадцать человек, зашел разговор о страхе смерти. Тургенев находил, что страх смерти — естественное чувство. Он сознавался, что боится смерти, и откровенно говорил, что он не приезжает в Россию, когда в России холера. Отец и Урусов говорили, что тот не живет, кто боится смерти. Смерть так же неизбежна, как ночь, зима. Мы готовимся к ночи и зиме; также надо готовиться к смерти; только тогда она не страшна. Тургенев продолжал: «*Qui craint la mort lève la main*»¹, и сам первый поднял руку, но, кроме него, никто руки не поднял. Он сказал: «*A se qu'il parait je suis le seul*»². Тогда отец тоже поднял руку. Я думаю, что он это сделал не из учтивости, а вспомнив свою арзамасскую тоску — те тяжелые минуты, когда на него находил страх смерти.

В этот же приезд Тургенева, в один из вечеров, разговор принял чисто тургеневский характер, как будто это был эпизод из какого-нибудь его рассказа. Не помню, кто по какому поводу поднял вопрос о том, какие минуты самые счастливые в жизни. Тогда, кажется, Иван Сергеевич предложил, чтобы каждый рассказал пережитую им самую счастливую минуту своей жизни. Все стали припоминать. Мой дядя Сергей Николаевич шепнул на ухо

¹ Кто боится смерти, пусть поднимет руку.

² Я, кажется, один.

«Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце, когда он сердится, он краснеет и т. д. Это все общие места. А у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться. Во всяком простом рассказе, у Жюль Верна, например, так и будет сказано. А Достоевский скажет наоборот: человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место. Это дешевое средство прослыть оригинальным писателем. А затем у Достоевского через каждые две страницы его герои — в бреду, в иступлении, в лихорадке. Ведь этого не бывает».

После 1881 года Тургенев уже не приезжал в Россию. Он заболел той мучительной болезнью, которая свела его в могилу.

Отношения его с Львом Николаевичем приняли более сердечный характер. В письме от 29 марта 1882 года, узнав, что Григорович возобновил свои прежние отношения с Львом Николаевичем, и высказав, что он рад этому, Тургенев пишет: «Лев Толстой — чудачище, но несомненно гениальный человек и добрейший».

В другом письме (9 апреля ему же) он говорит, что ему было очень приятно услышать хорошие вести о Толстом. «Поклонитесь ему и всей его семье от меня», — пишет Тургенев.

На одно сочувственное письмо отца Тургенев ответил 14 мая 1882 года:

«Милый Толстой, не могу сказать, как меня тронуло Ваше письмо. Обнимаю вас за каждое в нем слово».

Однако и в этом письме Тургенев не утерпел, чтобы не пожелать возвращения Толстого к художественному творчеству:

«Вам надо еще долго жить, — пишет он, — и не только для того, что жизнь все-таки дело хорошее, а для того, чтобы окончить то дело, к которому Вы призваны и на которое, кроме Вас, у нас мастера нет. Вспоминаю Ваши прошлогодние полуобещания и не хочу думать, чтобы Вы их не исполнили! Не могу много писать — но Вы меня понимаете»¹.

¹ «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 102.

В следующем письме, от 14 мая, Тургенев писал:

«Я слышал, что статья Ваша (это была «Исповедь» — С. Т.)... сожжена по распоряжению цензуры. Но, быть может, у Вас уцелел оттиск; то не будете ли Вы так любезны, не пришлете ли мне его сюда?.. Не спрашиваю Вас, не принялись ли Вы за литературную работу, так как знаю, что вам этот вопрос не совсем приятен»¹.

После этого Лев Николаевич послал Тургеневу «Исповедь», прося прочесть эту книгу, не сердясь на него, а стараясь стать на его точку зрения и понять его.

Прочтя «Исповедь», Тургенев написал Толстому: «Я начал было большое письмо к Вам в ответ Вашей «Исповеди», но не кончил и не кончу, именно потому, чтобы не впасть в спорный тон»².

Тургенев не мог, конечно, сочувствовать высказанному в «Исповеди» беспощадному осуждению того мировоззрения, которое господствовало в конце 50-х годов в петербургском кружке литераторов,— мировоззрения, прежде всего, самого Тургенева. Но он не обиделся.

Из последнего предсмертного письма Тургенева, которое можно назвать его последним стихотворением в прозе, видно, насколько близок был его сердцу Лев Толстой как русский писатель.

Вот это письмо от 27 июня 1883 г.:

«Милый и дорогой Лев Николаевич. Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу,— и думать об этом нечего. Пишу же я вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником,— и чтобы выразить Вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует! Я же человек конченный,— доктора даже не знают, как назвать мой недуг, *Névralgie stomacale gouteuse*. Ни ходить, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! — Друг мой, великий писатель Русской земли,— внемлите

¹ «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 104—105.

² Там же, стр. 110.

моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших... Не могу больше... Устал».

В этом письме есть и любовь к родине, и любовь к литературе, и дружеский призыв. Лев Толстой не отказывался от литературной деятельности, что и доказал последующими своими произведениями.

Думаю, что отец хорошо понимал Тургенева. Признав, что Тургенев нерелигиозный человек, он перестал требовать от него того, чего он дать не мог, то есть религиозного отношения к жизни. Но это не мешало отцу высоко ценить Тургенева как художника и дружески относиться к нему как к человеку.

Отец не ответил на последнее письмо Тургенева, может быть, потому, что получил его слишком поздно, — он был в то время в Самарской губернии, а письмо было адресовано в Тулу; может быть, потому, что ему трудно было на него отвечать. А 22 августа Ивана Сергеевича уже не стало.

Во время болезни Тургенева отец относился к нему с большим участием, а когда Тургенев умер, он живо почувствовал его утрату. Тогда он, несмотря на всю нелюбовь к публичным выступлениям, решился прочесть доклад о Тургене в Обществе любителей российской словесности.

Я помню, как в то время отец тепло относился к Тургеневу, как перечел все его произведения и как ему хотелось добром помянуть своего старшего сотоварища и указать на его значение в литературе. Как известно, администрация воспрепятствовала ему это сделать. Но совесть его могла быть спокойна. Он в последние годы жизни Ивана Сергеевича сделал все, что мог, для того чтобы изгладить воспоминания о черной кошке, пробежавшей когда-то между ними.

КНЯЗЬ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УРУСОВ¹

Мой отец писал П. А. Сергеенко 6 февраля 1906 года: «У меня было два (кроме А. А. Толстой, это третье) лица, к которым я много писал писем и, сколько я вспоминаю, интересных для тех, кому может быть интересна моя личность. Это — Страхов и кн. Сергей Семенович Урусов»². Из этих слов видно, что отец считал Урусова одним из своих близких друзей. Это видно также из одного его письма к А. А. Толстой (6 марта 1876 г.), где он пишет про Урусова: «Это мой севастопольский друг, с которым мы хорошо любим друг друга»³.

Князь Сергей Семенович Урусов, сын сенатора кн. Семёна Никитича Урусова (ум. в 1857 г.) и красавицы датчанки дочери архитектора фон Маркшиц, родился 3 августа 1827 года и, следовательно, был на год старше моего отца.

Блестяще кончив курс в первом Петербургском кадетском корпусе и прослужив в конной гвардии до 1852 года, он вышел в отставку ротмистром, но перед Крымской войной вновь поступил на военную службу. В Крыму он подружился с моим отцом. В письме к Ив. Вас. Киреевскому (6 ноября 1855 г.), с которым он сблизился на почве шахматной игры, он пишет из аула Куртьер-фоц-Село (в Крыму): «Рекомендую вам прекрасного литератора и вместе шахматного игрока, моего ученика, графа Л. Н. Толстого»⁴.

¹ Материалом для очерка, кроме указанного в примечаниях, послужили мои воспоминания и воспоминания племянников С. С. Урусова, сыновей его брата Д. С. Урусова, и записки племянницы его жены, Щепотьевой.

² Письма Л. Н. Толстого, II изд. «Книга», М. 1911, стр. 227.

³ Толстовский музей, I, «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», 1911, стр. 265.

⁴ Толстовский музей, II, «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Стреховым», 1914, стр. 213, примечание.

На войне, по словам П. И. Бартенева¹ и по рассказам моего отца, Урусов оказал чудеса храбрости. Он выходил из траншей в белом кителе под градом снарядов и пуль, служа при своем большом росте прекрасной мишенью для неприятельских стрелков. Он был ранен в грудь пулей, которая извлечена не была. В Полтавском полку, где он служил, командир и все старшие офицеры выбыли из строя, так что он, будучи подполковником, оказался старшим в чине и принял командование полком. Мой отец говорил, что он остался жив лишь благодаря исключительно счастливой случайности. За свою храбрость он заслужил офицерский Георгиевский крест, который всегда носил в петлице сюртука.

Сергей Семенович был человек необыкновенный. По внешности он был громадного роста (более 12 вершков), почти великан. Несмотря на свой рост, он носил сапоги с большими каблуками. В то же время он был хорошо сложен и красив. А по своему характеру он был человек прямой, решительный, импульсивный, бесстрашный, вспыльчивый, гордый, своеобразный и крайне самолюбивый. Отец особенно ценил в нем его искренность и самобытность мышления; он называл его «Selbstdenker» — человеком, мыслящим по-своему и для себя.

С. С. Урусов был ученый-математик и очень сильный шахматный игрок. Он написал и напечатал на свой счет несколько томов по высшей математике, не имевших, однако, никакого успеха. Математики, читавшие его труды, говорили, что в науке было уже известно то, что он считал своими открытиями, а то новое, что он излагал, было неверно.

Имя Урусова как шахматиста было известно не только в России, но и за границей; его партии печатались даже в руководствах по шахматной игре (например, в руководстве Бильгера). Он говорил, что не находил шахматиста сильнее себя, а если иногда проигрывал известному игроку Петрову, то только потому, что Петров во время игры раздражал его: сделает ход и начнет ахать, что не так сыграл.

В обществе Урусов был всегда благовоспитан и учтив, особенно с дамами, и интересен своими неожиданными суждениями. У него был большой голос, он был музыкален и пел, иногда даже что-то своего сочинения. В обыден-

¹ Толстовский музей, «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», 1914, II, стр. 213, примечание.

пой жизни он был благодушен и ровен. Он любил детей и животных; с собаками разговаривал и утверждал, что они его понимают. Только иногда на него находили минуты почти несдерживаемого гнева. Самолюбие было выдающейся чертой его характера. Он не мог забыть и мучился тем, что его товарищ Обручев кончил курс кадетского корпуса первым, а он — только вторым, или что первым шахматным игроком в России считался Петров, а он — только вторым, что его труды по математике не были оценены.

Урусов был так своеобразен и в своих речах и поступках, что прослыл за чудака; а некоторые его странности наводили даже на подозрение о ненормальности его умственных способностей. Так, например, он говорил, что может вычислить и предсказать дни смерти людей, что он вычислил день смерти Александра II и знает, когда умрет мой отец, но держит это в тайне. Он написал статью в доказательство того, что Павел не был убит, а умер естественной смертью. Он всех людей подразделял на людей в точном смысле этого слова и на бесхвостых обезьян. Среди женщин он отличал «душечку», любящую женщину, и «черта», соблазнительницу. Он говорил, что все великие люди рождаются в августе — Наполеон, Гете, Лев Толстой, и он сам родился в августе.

По своим убеждениям он принципиально был монархистом, но презрительно относился к среде придворных и людей, унижавшихся перед царем и царской фамилией. Узнав как-то, что Александр III, едуци куда-то в коляске, посадил к себе на козлы офицера, он возмутился и сказал, что раньше такое унижение офицера было бы невысказано.

Во время севастопольской обороны одна траншея несколько раз переходила из рук русских в руки союзников и обратно. Тогда Урусов пошел к главнокомандующему и предложил ему войти в переговоры с союзниками о том, чтобы эту траншею разыграть в шахматы; со стороны русских он предлагал себя. Разумеется, его предложение было отвергнуто.

После окончания войны с Урусовым случилось нечто такое, чему я бы не поверил, если бы об этом не слышал от моего отца, от племянников Урусова и от него самого. По окончании Крымской кампании приехал ревизовать полк, которым командовал Урусов, какой-то генерал-инспектор из немцев, не участвовавший в военных действиях. Этот генерал оказался неприятным формалистом и на

смотрю придирался к разным мелочам. Урусов все время внутренне сердился, но сдерживался. Но когда генерал-инспектор за какую-то мелкую несправдливость «дал в зубы» одному унтер-офицеру, с которым Урусов провел всю кампанию и которого особенно ценил, он не выдержал. Он неожиданно скомандовал: «На руку!» — то есть готовясь к штыковой атаке. Передняя линия солдат немедленно исполнила команду, и вот генерал увидел ряд штыков, направленных прямо на него. После команды «на руку» непосредственно следует команда «в штыки», и генерал-инспектор испугался: вдруг сумасшедший Урусов так и скомандует, и он будет заколот. Генерал отскочил, сел в свою коляску и уехал. Он подал жалобу. Но поступок Урусова был так необыкновенен, что жалобе хода не дали, и дело было замято. По военным законам Урусова должны были судить военным судом и приговорить чуть ли не к расстрелу. Но можно ли было приговорить севастьяпольского героя! Вскоре после этого Урусов представлялся Александру II. Он был любезно принят, но государь, хотя знал о его поступке, ни словом не упомянул о нем. Урусов почему-то обиделся на это и подал в отставку. А при отставке он, как полагалось, был произведен в следующий чин, то есть в генерал-майоры. Во время войны 1877 года он хлопотал о том, чтобы его опять приняли на военную службу, но ему отказали.

В 60-х и 70-х годах Сергей Семенович не раз бывал в Ясной Поляне. Он крестил брата Льва и сестру Машу и очень серьезно относился к своему званию крестного отца и своих крестников называл «мои дети». Я с детства помню его величественную фигуру, красивое лицо с полуседой выхоленной бородой, его густой голос и взволнованную речь и как он сразу сильно мигал обоими глазами, когда волновался. Иногда он играл в шахматы с моим отцом, давая ему вперед коня, и со мною, давая мне вперед сначала ферзя, потом ладью; я тогда еще плохо играл. Около 1878 года он совсем перестал играть в шахматы и подарил мне все свои шахматные книги.

Он был очень влюбчив; летом 1869 года, когда он жил в Ясной Поляне, его влюбчивость чуть ли не привела к драме. Моя тетка по матери, тетя Таня Кузминская, в молодости была очень привлекательна и кокетлива. И вот в 1869 году по поводу Урусова у нее с моей теткой по отцу, тетей Машей Толстой, произошел такой разговор:

— Хотя ты и сирена,— сказала тетя Маша,— но ты этого монаха не прельстишь.

— Ничего нет легче,— отвечала тетя Таня.

— Я поспорю, что ты ничего с ним не сделаешь,— сказала тетя Маша.

— Посмотрим,— сказала тетя Таня.

Самолюбие тети Тани было задето. Она пустила в ход все свои женские уловки, и через три дня Сергей Семенович был покорен. Он все ходил за ней большими шагами, куда бы она ни пошла. Он уехал, не объяснившись, но через несколько дней приехал в Ясную Поляну его кучер с прекрасной лошадейю, которую ни с того ни с сего Урусов дарил моему отцу. А вместе с лошадейю кучер привез письмо Татьяне Андреевне. В этом письме Урусов предлагал ей уехать вместе с ним за границу. План увоза был фантастичен: она должна была встретиться с ним на каком-то пароходе и куда-то вместе с ним уплыть. Мужа тети Тани, почтенного Александра Михайловича Кузминского, он в этом письме пренебрежительно называл «этот господин».

Кучер шловко передал Татьяне Андреевне это письмо в присутствии «этого господина»; произошла семейная сцена, и тетушка должна была объяснить свою шалость. Сначала Александр Михайлович не верил, что это была только шалость, хотел вызвать Урусова на дуэль, но в конце концов, как умный человек, понял, что вся эта история несерьезна, и предал ее забвению¹.

Жена Сергея Семеновича, Татьяна Афанасьевна, рожденная Пестерова, была небольшого роста, и странно было ее видеть рядом с ним — почти великаном. Почему-то он называл ее «Темир». Говорили, что образ жизни их был совершенно разный. Так, например, Сергей Семенович всегда вставал очень рано, в четыре или пять часов утра, а его жена обыкновенно ложилась спать поздно, после двенадцати. У них была дочь Лидия, довольно высокого роста, узкогрудая, бледная и болезненная. Сергей Семенович очень любил ее. Она родилась в 1853 году и умерла в молодости, в 1869 году, шестнадцати лет. Татьяна Афанасьевна скончалась еще не старой женщиной, в 1881 году.

Смерть дочери и жены сильно подействовала на Сергея Семеновича и, говорят, даже повлияла на его умственные

¹ Материалом для этого рассказа послужили мои воспоминания, подтвержденные и проверенные Т. А. Кузминской.

способности. Последние годы своей жизни он жил уединенно в своем имении Спасском в Дмитровском уезде, недалеко от Троицко-Сергиевской лавры, не хотел никого видеть, задумывался и молчал по целым дням.

В этот период его жизни он сделался очень богомольным, постоянно молился, читал про себя псалмы, отлично знал церковную службу, нередко служил за псаломщика и пел на клиросе. Он даже хотел сделаться монахом и уйти в монастырь, но известный в те времена архимандрит Товия отговорил его.

Проведя несколько лет в тяжелом уединении, он несколько оживился только тогда, когда стал чаще бывать в многочисленной семье своего брата, кн. Дмитрия Семеновича Урусова. Там он находил семейную жизнь, которой был лишен.

Мой отец был в деятельной переписке с Урусовым в 60-х и 70-х годах. Он написал Урусову более семидесяти писем. Он говорил, что откровенно писал ему то, что другим не писал. Когда отец отошел от православия, Урусов рассердился на него и эти письма сжег. Случайно сохранились только семнадцать писем, не особенно интересных. Они были напечатаны в «Вестнике Европы» (январь 1915 г.).

В письме 1870 года отец пишет Урусову о предположенном введении всеобщей воинской повинности; с военной точки зрения он не сочувствовал реформе Д. А. Милютина, находя, что старые солдаты, служившие двадцать пять лет, как воины — гораздо сильнее молодых краткосрочных солдат. Урусов был, повидимому, того же мнения.

В письме 1876 года отец писал Урусову: «Приехав в Тулу, нашел ваше письмо и, не прочтя его, разорвал на клочки». Он сделал это по просьбе самого Урусова. Урусов, оказывается, на него рассердился и написал отцу обидное письмо, но потом опамятовался и просил это письмо разорвать, не читая, что отец и сделал.

В 80-х годах, в зимнее время, когда наша семья жила в Москве, он часто стал бывать у нас в хамовническом доме.

Наш знакомый и сосед по дому Василий Александрович Олсуфьев любил играть в винт. Урусов тоже играл в винт. Зимой 1882/83 года отец познакомил их. Урусов стал бывать у Олсуфьевых. Но там не только винт его интересовал: интересовали также дочери Василия Александрови-

ча. Он даже влюбился в одну из них, не помню, в которую из трех; знаю только, что он был обуреваем ревностью к некоему студенту Н. Л. Гондатти, моему товарищу по университету, дававшему уроки младшим детям Олсуфьева.

— Этому Гондатти надо *гон дати*, то есть изгнать его из дома Олсуфьевых, — острил Сергей Семенович, волнуясь и по своей привычке энергично мигая сразу обоими глазами. Он решил непременно женить одного из племянников своей жены, Богдановых, на одной из барышень Олсуфьевых, что ему и удалось: его племянник Александр Матвеевич Богданов женился на Марии Васильевне Олсуфьевой.

В 1889 году отец поехал к Урусову в его имение Спасское на несколько дней отдохнуть от городской жизни. В письмах к моей матери он описывает жизнь Урусова¹.

«Урусов очень мил дома с своими старыми богобоязненными и таким же, как он, барственным Герасимом и его сестрой. Встает он в 4 часа и пьет чай и пишет свое какое-то непонятное мне математическое сочинение... Я нынче немного занялся, потом слушал сочинение Урусова; как и все его сочинения — есть новые мысли, но недоказанные, странно. Но он трогателен. Живет, никаких раздоров ни с кем кругом себя, помогает многим и молится богу. Например, перед обедом он ходит взад и вперед гулять по тропинке перед домом. Я подошел, было, к нему, но видел, что я ему мешаю, и он признался мне, что он, гуляя, читает часы и псалмы. Он очень постарел, на мой взгляд...»

В другом письме (2 апреля) отец пишет: «Князь очень мил. Встает в 3—4 часа, ставит самовар, пьет чай, курит и делает свои вычисления. После обеда и весь день то же, за исключением отдыха, пасьянсов и гулянья. Боюсь, что все вычисления эти не пужны. У него есть эта неясность мысли, самообманывание, при котором ему кажется, что он решил то, что ему хочется решить. Папироски, водка изредка, в малых порциях, и чай — боюсь, еще более затуманивают. Но простота и стремление к добродетели — истинные, и потому с ним очень хорошо. У него цветут розыны — много, и он советовал положить листки в письмо...»²

Последние годы своей жизни Сергей Семенович провел почти безвыездно в Спасском. Имущественные дела его пошатнулись. Из большого дома он перебрался во фли-

¹ «Письма графа Л. Н. Толстого к жене, 1862—1910», изд. второе, М. 1913, стр. 332.

² Там же, стр. 336—337.

гель, где обстановка была самая жалкая, почти нищенская. Мебель из дома была продана, парк сведен. Он уже не имел мужской прислуги и сам себя обслуживал. Его преданного слуги Герасима уже не было в живых.

В сентябре 1897 года его постиг удар, а в ноябре его не стало.

Лев Толстой, создавая свои художественные образы, обыкновенно вспоминал людей, которых знал; и он вообразил, как они поступили бы при известных обстоятельствах. Когда он писал «Отца Сергия», возможно, он вообразил себе С. С. Урусова. Он пишет про юные годы кн. Касатского: «Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем»¹.

Эта характеристика вполне подходит к Урусову. Он, так же как и Касатский, был ростом выше обыкновенного, красив, выдавался блестящими способностями, особенно к математике, был правдив, вспыльчив, самолюбив и, насколько мне известно, не пил и не распутничал. Он, так же как и Касатский, старался во всех делах, представлявшихся ему на пути, достичь совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей; он также был искренно верующим, и у него, так же как у Касатского, сознание своего превосходства над другими перешло в послушание, в унижение паче гордости. В Урусове также таилась возможность пойти по тому же пути, по которому пошел и Касатский. Так, одно время он намеревался пойти в монастырь. А по своему характеру он мог для обуздания своей похоти, так же как и отец Сергей, отрезать себе палец или сделать что-нибудь в этом же духе. Конечно, кн. Касатский — не простой сколок с кн. Урусова, но в нем много черт, напоминающих его.

¹ «Отец Сергий» — «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого», II, М. 1911, стр. 5—6.

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ

(ШЕНШИН)

Живя безвыездно в Ясной Поляне, мы в нашем детстве обыкновенно радовались приезду гостей. Гости — это интересные разговоры, похвалка в уроках, закуска и вкусное пирожное к обеду. Мы были рады даже, когда приезжал А. А. Фет. Я говорю «даже», потому что он к нам, детям, был равнодушен, и мы это чувствовали. Но все-таки интересно было послушать его декламацию, его резкие суждения о людях, его плохие остроты, жалобы на хозяйство и либеральные веяния. Он читал стихи громко, медленно, густым басом, прерывая чтение мычанием и кашлем. Он приезжал в Ясную Поляну на день или на два, один или большей частью с женой Марьей Петровной; ею мы еще меньше интересовались, чем им.

Наружность Афанасия Афанасьевича была характерна: большая лысая голова, высокий лоб, черные миндалевидные глаза, красные веки, горбатый нос с синими жилками, окладистая борода, чувственные губы, маленькие ноги и маленькие руки с выхоленными ногтями. Его еврейское происхождение было ярко выражено, но мы в детстве этого не замечали и не знали.

В нем не было добродушия и непосредственной привлекательности, что не исключает того, что он был добрым человеком. В нем было что-то жесткое и, как ни странно это сказать, было мало поэтического. Зато чувствовался ум и здравый смысл.

Я всегда недоумевал: на чем основана дружба моего отца с Фетом. Правда, он был умен, хорошо образован

(больше самоучкой), у него был верный и тонкий художественный вкус, он был искренним и оригинальным человеком. Но он и отец были разные люди. В противоположность отцу, Фет был расчетлив и не религиозен, скептик и язычник. Он не относился враждебно к религии, она просто для него не существовала. Только иногда он не мог удержаться от иронического отношения к церковным обрядам. Помню, как однажды Фет говорил о грядущем воскресенье мертвых: я умру и на моей могиле вырастет лопух; в него войдут частицы моего тела; этот лопух съест корова, а мясо этой коровы съест какой-нибудь другой человек; очевидно, частицы моего тела через лопух и мясо коровы перейдут в тело этого человека, который также умрет, и оба мы должны будем предстать перед страшным судом. Очевидно, или мое тело, или тело человека, съевшего мясо коровы, будет лишено каких-то существенных частиц. Как же мы во плоти воскреснем?

Одно время Афанасий Афанасьевич увлекался философией Шопенгауэра и перевел его «Мир как воля и представление». Я думаю, что эта философия ближе всего подходила к складу его ума и характера. Ведь он, так же как Шопенгауэр, презирал людей и видел их недостатки.

Несмотря на свою мизантропию, Фет был тщеславен. Даже думаю, что в его дружбе с моим отцом была некоторая доля тщеславия. Впрочем, это не мешало ему искренно любить Льва Николаевича не только как художника, но и как человека. Позднее его хлопоты о получении фамилии Шеншина, его знакомство с вел. кн. Константином Константиновичем и его радость, когда он был произведен в камергеры (а Пушкин был только камер-юнкером) — все это обнаружило в нем самое обыкновенное наивное тщеславие. Фет его и не скрывал.

В обществе Афанасий Афанасьевич был всегда изысканно вежлив. Особенно любезен он был с моей матерью. Мы даже шутя говорили, что он был к ней неравнодушен. Он посвятил ей два льстивых стихотворения. Едва ли он был искренен, когда писал (в первом стихотворении «Когда так нежно расточал»):

Хоть меркнет жизнь моя бесследно,
Но образ твой со мной везде.
Так светят звезды всепобедно
На темном небе и в воде.

Во втором стихотворении («И вот портрет, и схоже и несхоже») не меньше преувеличений, особенно в его последней строфе:

Но все, толпой коленопреклоненной
Мы здесь упасть у ваших ног должны,
Так в прелести и скромной и нетленной
Вы смотрите на наши седины.

В молодости и до конца 70-х годов отец сходилс^я с Фетом по делу, интересовавшему обоих, — по хозяйству в имениях. Но отношение их к сельскому хозяйству было различно. Отец увлекался, так сказать, поэзией сельского хозяйства: он любил породистый скот, любовался обильными урожаями, посадками дерев и яблонь, изучал жизнь пчел, интересовался работой и жизнью крестьян и рабочих, вообще смотрел на хозяйство, как на своего рода творчество. Фет же, как практический человек, относился к сельскому хозяйству почти только с точки зрения выгоды. Он купил Стенаповку, некрасивое имение в Миценском уезде — ровное, безлесное поле-блин, среди которого высился дом хозяина, только потому, что это было выгодно. Он не гнался за живописными видами, парком, красивым домом и т. п. Ему нужен был доход. Стенаповка была доходным имением, и Фет ее купил. Правда, позднее он купил в Курской губернии около ст. Коренной богатое и живописное имение с прекрасным парком и хорошим домом, но тогда он был так богат, что мог позволить себе эту роскошь; к тому же оно досталось ему как придача к доходному имению.

В противоположность моему отцу, Афанасий Афанасьевич был более или менее равнодушен к музыке. Я слышала, как он говорил, что музыка — это неприятный шум; ему нравились только некоторые итальянские арии и романсы Глинки. Правда, в некоторых стихотворениях («Сияла почь», «Невице») он писал иное, но мне кажется, что не музыка, а обаяние голоса молодой женщины вызвало эти стихи.

Афанасий Афанасьевич в молодости охотился вместе с Тургеневым с ружьем и легавой собакой на птицу — тетеревов, вальдшнепов, дупелей и т. п., но он не любил охоту с борзыми и гончими; помню, как он раз сказал: «Не понимаю удовольствия слушать собачий лай». Думаю, что охота не была для него прежде всего средством общения с природой, как у моего отца.

Известно отрицательное мнение Льва Николаевича о поэтах. Но все же он ценил некоторых поэтов. К числу этих немногих он относил Фета. В своих разговорах и письмах он не раз горячо отзывался о некоторых его стихотворениях. Вспоминаю его хвалебные отзывы о следующих стихах Фета: «*Уж верба вся пушистая раскинулась кругом*». Здесь ему особенно нравились стихи: «Шумит толпою праздною народ, чему-то рад»; «*Опять незримые усилья*». По мнению Льва Николаевича, все стихотворение красиво, особенно стихи:

И разыгравшиеся воды
Под беломраморные своды
С веселым грохотом летят.
И речка в ней на середину
За льдиной выпускает льдину,
Как будто стадо лебедей.

Про первые два стиха стихотворения «Осенью» Лев Николаевич говорил: «Так выразиться в прозе: «Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней» — было бы нелепо, а в стихах передается в короткой, хотя и неправильной фразе, яркая, красивая картина».

В стихотворении «Георгины» хорошо выражение:

А нынче утренним морозом
Они стоят опалены.

Про известное стихотворение «Шепот, робкое дыханье» отец в 80-х годах говорил приблизительно так: «Это мастерское стихотворение; в нем нет ни одного глагола (сказуемого). Каждое выражение — картина; не совсем удачно разве только выражение «В дымных тучках пурпур розы». Но прочтите эти стихи любому мужику, он будет недоумевать, не только в чем их красота, но и в чем их смысл. Это — вещь для небольшого кружка лакомок в искусстве».

Помню еще, что отец хвалил стихотворения: «Осень» («Ласточки пропали»), «Звезды» («Я долго стоял неподвижно»), «Люди спят», «Есть ночи зимние, блеск и сила» и др. Разумеется, мною не исчерпываются суждения Льва Николаевича о поэзии Фета.

Жена Афанасия Афанасьевича, Марья Петровна, рожденная Боткина, сестра Василия и Сергея Петровичей Боткиных, была некрасива и неинтересна, но добрейшая женщина и прекрасная хозяйка. Трудно предположить, что Афанасий Афанасьевич был когда-нибудь влюблен в

пос. Думаю, что этот брак был заключен по расчету. Жили они мирно. Марья Петровна заботилась о муже, а он был с нею предупредителен, по крайней мере при людях.

Афанасий Афанасьевич иногда щеголял мнениями, выставлявшими его самого в невыгодном свете или идущими вразрез с общепринятыми взглядами. Помню, что однажды он сказал приблизительно следующее:

— Я любил одну женщину, и она меня любила. Но я ей сказал: душа моя, у меня ничего нет, и у тебя ничего нет. Только поэты мечтают о рае в шалаше; такого рая не бывает. Поэтому, душа моя, нам лучше всего разойтись. И мы разошлись.

Прямым следствием такого рассуждения должна была быть женитьба Фета по расчету. Марья Петровна Боткина была богата.

Афанасий Афанасьевич хорошо знал крестьянина, обыкновенного житнейского мужика со всеми его достоинствами и недостатками, и никогда его не идеализировал. Несколько лет он был мировым судьей в Мценском уезде и, насколько мне известно, справедливым судьей, но он судил не столько по закону, сколько по здравому смыслу. Когда ему во время судебного заседания не удавалось примирить тяжущихся или когда он сердился на них, он прерывал заседание, снимал с себя цепь, призывал тяжущихся к заднему крыльцу, усовещевал и ругал их; даже, как говорили злые языки, случалось, «давал им в морду», чему я, однако, не верю.

Вообще он слыл крепостником, но я не слыхал, чтобы в разговоре он защищал крепостное право. Он, однако, говорил, что над мужиком нужна сильная власть, и писал об этом статьи в реакционной прессе; в либеральных органах его за это жестоко разносили.

Я очень люблю некоторые стихотворения Фета, но мне кажется, что критики его поэзии мало обращали внимания на проблески прозы в некоторых его стихах. Ведь наряду с удивительными поэтическими образами у него иногда встречаются плоские прозаизмы. Например:

Весенней жажды соприсущ,
На стену лезет плющ.
Непогода. Осень. Куришь.
Куришь, все как будто мало.

Иногда эти прозаизмы прикрыты у него вычурностью выражений, как, например, в его посланиях к разным лицам.

Таков же он был и в жизни — поэзия и проза в нем совмещались. Это понимал и мой отец. В 1878 году 6 апреля он писал Фету: «Но хотя и люблю вас таким, какой вы есть, всегда сержусь на вас за то, что Марфа печется о мнозем, тогда как единое есть на потребу. И у вас это единое очень сильно, но как-то вы им брезгаете... У вас так много привязанности к житейскому, что если как-нибудь оборвется это житейское, вам будет плохо...»

Одно время Фет был близок с Тургеневым, но не думаю, чтобы он был дружен с ним, он не без удовольствия критиковал произведения Тургенева и его самого.

Однажды я слышал, как он сказал про то место в «Асе», где Ася кричит отплывающим в лодке: «Вы въехали в лунный столб»: «Ася не могла этого видеть, потому что лодка, въезжая в лунный столб, разбивает этот столб волнением воды. Тургенев это выдумал».

Мой отец сперва согласился с этим, но как-то после этого, увидав с берега реки, как лодка въехала в лунный столб и не разбила его, он вспомнил слова Фета и признал, что прав был Тургенев, а не Фет.

Фет удивлялся тому, что Тургенев в конце 70-х годов с ним разошелся и даже избегал встречаться, а, казалось, удивительного в этом ничего не было. Тургенев не выносил реакционного направления Фета и его статей в «Русском вестнике» и в «Московских ведомостях».

Когда мой отец стремился к упрощению своей жизни и говорил против роскоши, Фет однажды сказал:

«Я с вами согласен; мне также ничего роскошного не нужно. Я только требую, чтобы у меня была отдельная комната для занятий, чистая постель, мягкий матрац, простые, но сытные кушанья, вроде ростбифа...»

Он не продолжал, так как отец на слове «ростбиф» громко рассмеялся. И в самом деле: ростбиф едва ли совместим с отсутствием роскоши.

После кризиса в своем мировоззрении отец все больше и больше расходился с Фетом. Фет сожалел о том, что уже не может, как бывало, «аукаться» с ним. Он не понимал, как глубока была пропасть, открывшаяся между ними. Он пронизировал над тем, что отец вместе с издательством «Посредник» старался заменить лубочную литературу и лубочные картинки более осмысленными произведениями. Фет говорил моему дяде Сергею Николаевичу (об этом моя мать писала отцу 15 марта 1885 года):

«Лев Николаевич с Чертковым хотят такие картинки нарисовать, чтобы народ перестал в чудеса верить. За что же лишать народ этого счастья верить в материю, им столь любимую, что он съел в виде хлеба и вина своего бога и спасся? Это все равно, что если бы мужик босой шел бы с сапальным огарком в пещеру, чтобы в темной пещере найти дорогу; а у него потушили бы этот огарок и еялом велели бы смазать его сапоги... а он босой!»¹

Эти слова очень характерны для Фета. Они остроумны, но в них чувствуется и скепсис и презрение к народу. Именно эти черты были противны моему отцу.

Как известно, Фет уже на восьмом десятом лет написал цикл стихотворений «Вечерние огни», в которых вспоминал любовные чувства, испытанные им в юности. Я однажды слышал, как его приятель Н. Н. Страхов по этому случаю сказал:

«Фет — настоящий сатир. Посмотрите на него: он и по паружности похож на старого сатира».

И в этом была доля правды.

Как скептик и язычник, Фет мужественно относился к смерти. Я думаю, что он был искренен в следующем его обращении к смерти, навеянном идеей Шопенгауэра, что мир есть представление:

Я в жизни обмирал и чувство это знаю,
Где мукам всем конец и сладок томный хмель.
Вот почему я вас без страха ожидаю.
Ночь безрассветная и вечная постель.
Пусть головы моей рука твоя коснется,
И ты сотрешь меня со списка бытия.
Но пред моим судом, покуда сердце бьется,
Мы — силы равные, и торжествую я.
Еще ты каждый миг моей покорна воле,
Ты — тень у ног моих, безличный призрак ты,
Покуда я дышу, ты — мысль моя, не боле,
Игрушка шаткая тоскующей мечты.

(1885)

Фет умер в 1892 году. Он страдал болезнью дыхательных органов — одышкой и бронхитом, последствием чего была большая слабость. В день своей смерти он был еще на ногах, но, чувствуя приближение роковой минуты, уговорил жену выехать за какой-то покупкой и умер, присевши на стул в своей столовой.

¹ С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, 1862—1910, изд. «Academia», М.—Л. 1936, стр. 311.

ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН

Я не раз встречал Илью Ефимовича Репина в нашем доме в Москве и в Ясной Поляне. В первый раз я его видел в 1884 году, в нашем хамовническом доме. Он производил впечатление молодого человека, хотя ему уже было 40 лет; его лицо было без морщин; он был хорошо сложен, скорее худ, чем полон. Он носил бородку клином, густые волосы его были не так длинны, как у некоторых художников того времени. Одет он был опрятно, без претензий; на его лице часто появлялась добродушная хитрая «хохлацкая» улыбка.

В 1884 году Репин приезжал на Передвижную выставку, на которой была выставлена его картина «Не ждали». Отец был на выставке, но эта картина, по-моему одна из лучших репинских картин, не произвела на него сильного впечатления. Он даже находил в ней технические недостатки, говорил, что пол в этой картине кажется ему покатым. Насколько это верно — не мне судить. В следующем, 1885 году Репин опять приезжал в Москву вместе с Передвижной выставкой. Выставленная на ней его картина, изображающая убийство Иоанном Грозным сына, тогда произвела сильное впечатление на публику, также и на моего отца. О ней много говорили, хвалили и порицали ее. Отец под первым впечатлением написал Репину (письмо от 31 марта 1885 года): «Молодец Репин, именно молодец! Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель... Хорошо, очень хорошо, и хотел художник сказать значительное и сказал вполне и ясно, и, кроме того, так

мастерски, что не видать мастерства»¹. Я тогда слышал от отца те же мнения; кроме того, он указывал, с каким мастерством и смелостью Репин написал красную кровь на розовом фоне одежды сына.

Позднее, в 90-х годах, при посещении Третьяковской галереи, куда эта картина была продана, отец почему-то отнесся к ней отрицательно, вероятно потому, что она не соответствовала его взглядам, выраженным в его статье об искусстве.

В 1887 году летом Репин приезжал в Ясную Поляну, для того чтобы, по заказу П. М. Третьякова, написать портрет Льва Толстого. Тогда он написал два портрета — один за письменным столом, второй — в кресле. Первый портрет ему самому не понравился. Он говорил, что в нем «нет воздуха», и перспектива неверна. Однако в этом портрете глаза, острые небольшие серые глаза Льва Николаевича написаны так поразительно верно, как они не изображены ни на каком другом портрете Толстого — того же Репина или других художников. Первый портрет остался в Ясной Поляне: Репин подарил его нашей семье. Второй общеизвестный превосходный портрет был продан им в Третьяковскую галерею.

Репин прожил тогда в Ясной Поляне одну неделю. В то время отец делал всю мужицкую работу для вдовы Анисьи Копыловой — косьбу, пахоту и пр. Репин пошел на поле за деревню, где отец пахал, и там его зарисовал. Для этого ему приходилось перебежать с одного конца поля на другой. Из этой зарисовки возникла известная картина и хромолитография «Толстой на пашне». В этой картине есть недостаток, на который обратил внимание сам Лев Николаевич, — не парисованы вожжи.

В конце 80-х годов Репин под влиянием моего отца написал несколько картинок к его текстам для народного издательства «Посредник»: «Чем люди живы?», «Два брата и золото», «Вражье лепко, а божье крепко», «Как чертенок краюшку выкупал», а также и иллюстрации к «Смерти Ивана Ильича» и «Власти тьмы».

В 1891 году Репин прожил в Ясной Поляне с 29 июня по 16 июля. Он за это время написал: «Толстой за работой», «Толстой в саду», «Толстой в лесу» (босой) и сделал бюст Толстого, хотя скульптурой никогда специально

¹ Юбилейное изд., т. 63, стр. 223.

не занимался. Тогда же, если не ошибаюсь, он написал хороший портрет моей сестры Татьяны и карандашный рисунок: «Софья Андреевна с младшими детьми». В этом рисунке так мало сходства с оригиналами, что если бы не было надписи, я бы их не узнал.

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что изображения Толстого 1891 года менее удачны, чем прежние портреты Репина. Он изобразил Толстого на молитве; эта картина написана в 1901 году по этюду, сделанному им в 1891 году. В ней Толстой изображен босым, с каким-то несвойственным ему страдальческим выражением лица. Отец был недоволен тем, что Репин изобразил его босым. Он редко ходил босиком и говорил: «Кажется, Репин никогда не видал меня босиком. Недостает только, чтобы меня изобразили без панталон»¹.

Слова отца, что его изобразят без панталон, оказались пророчеством. В 1903 году была выставлена аллегорическая картина Бунина, изображавшая Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького и самого И. Е. Репина в виде рыбаков. Эти рыбаки, в одних рубашках, разумеется, без панталон, с голыми ногами тащили невод, полный рыбы².

В 1892 году Репин ездил в Данковский уезд, где в то время Лев Николаевич организовывал помощь голодающим и открывал для них столовые. Там Репин написал этюд «Толстой на голоде», который я не назову удачным.

В 1894 году отец после посещения Третьяковской галереи говорил, что он долго не мог отойти от «Ареста» Репина, что ему очень понравилась «На исповеди», но он отрицательно отнесся к «Иоанну Грозному» и «Не ждали» (письмо С. А. Толстой к дочери Татьяне).

В 1909 году Репин приезжал в Ясную Поляну вместе со своей второй женой, Н. Б. Нордман. Отец очень сочувствовал тому, что Репин и его жена были вегетарианцами. Кажется, в этот свой приезд Репин написал Льва Нико-

¹ Отец, вероятно, забыл, что Репин видел его босым. В своих мемуарах «Далекое-близкое» Репин рассказывает, что, когда он ходил с ним купаться, Лев Николаевич по дороге в купальню снимал свои старые, своей работы, туфли, засовывал их за ременный пояс и шел босиком.

² При открытии выставки журналист Любошиц нацарапал пожом на полотне этой картины слово «мерзость». Картина была испорчена, и ему пришлось дорого заплатить за надпись.

лицом вместе с Софьей Андреевной. Моя мать сделала фотографию, в которой она и отец сидели в той же обстановке и в тех же позах, что и на картине Репина. Из сравнения картины Репина с этой фотографией можно видеть, насколько картина Репина неудачна.

После смерти Льва Николаевича Репин написал его изображение в виде старца не от мира сего, поднявши его в горе и на фоне розовых цветов. Я считаю, что эта картина основана на ложной концепции. Отец не был человеком «от мира сего». Ничто земное никогда не было для него. Вспоминаю, как он, будучи уже глубоким старцем, однажды сказал: «Вы думаете, что нам, старикам, еще ничего не хочется? Хочется так же, как молодым. Я чувствую в себе возможность всяческих пороков. Но мы, старые люди, лучше владем собой. Моисей (не думайте, что я сравниваю себя с ним) говорил, что всякие пороки гнездятся в нем, но он сильнее их».

Скажу несколько слов о взаимных отношениях отца и Репина. Отец любовался талантом Репина, его техникой, его широкими, смелыми мазками и высоко ценил некоторые его картины. Я помню, что он хвалил «Бурлаков», «Проводы новобранца», «Исповедь», «Арест», «Дуэль», портреты, но он говорил, что Репин иногда не знает, что хочет выразить своими картинами. Таковы его картины «Святой Николай», «Иди за мной, сатана» («Искушение»), «Запорожцы», «Какой простор» и др. Свое отношение к «Крестному ходу» он выразил в следующих словах, которые я выписываю из его предисловия к сочинениям Мопассана (1894): «Помню, знаменитый художник живописи показывал мне свою картину, изображавшую религиозную процессию. Все было превосходно написано, но не было видно никакого отношения художника к своему предмету».

— Что же вы считали, что эти обряды хороши, и их нужно совершать или они не нужны? — спросил я художника.

Художник с некоторой снисходительностью к моей наивности сказал мне, что не знает этого и не считает нужным знать. Его дело — изображать жизнь.

— Но вы любите по крайней мере это?

— Не могу сказать.

— Что же, вы ненавидите эти обряды?

— Ни то, ни другое, — с улыбкой сострадания к моей

глупости отвечал современный высококультурный художник, изображающий жизнь, не понимая ее смысла и не любя и не ненавидя ее явления. Так же, к сожалению, думал и Мопассан».

Подтверждением словам моего отца, что Репин, уже знаменитый художник, после того, что он написал такие картины, как «Бурлаки», «Иван Грозный» и др., не знал, что ему писать, отчасти может служить то, что в 1898 году он усиленно просил Льва Николаевича дать ему сюжет для картины¹.

Отношение Репина ко Льву Николаевичу было сложное. Он, разумеется, восхищался им как художником слова, но я думаю, что он не сочувствовал его этическим и философским взглядам.

Я не знаю мнений Репина о первом периоде творчества Л. Толстого, но вот что он писал ему про «Власть тьмы» в январе 1887 года:

«Вчера читалась ваша новая драма у В. Г. Черткова. Эта такая потрясающая правда, такая беспощадная сила воспроизведения жизни, и, наконец, после всего этого вертепа семейного грязи и разврата она оставляет глубоко нравственное трагическое настроение. Это неизгладимый урок жизни... и только одно место неприятно поразило меня... Вы, конечно, об этом думали и больше знаете; но эта отвратительная сцена и драка Никиты с работником за веревку просто кажется невозможной».

Следующий разговор отца с Репиным, сохранившийся в моей памяти, дает понятие об отношении Репина к этическим взглядам Льва Николаевича. Однажды отец рассказал ему про письмо одного крестьянина, где этот

¹ Об этом моя сестра Татьяна записала в своем дневнике 4 февраля 1898 года: «Репин все работает над своим «Искушением», которое папа советует ему бросить. Репин все просит папу дать ему сюжет. Он приезжал с этим в Москву, потом писал мне об этом и еще несколько раз напоминал мне об этом, пока я была в Петербурге. Вчера папа говорил, что ему пришел в голову сюжет, который, впрочем, его не вполне удовлетворяет. Это момент, когда декабристов ведут на виселицы. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом, скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно; только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли так, вдвоем, к виселице» («Толстой, Памятники творчества жизни», III, стр. 66).

Репин не воспользовался этим сюжетом.

крестьянин сравнивает Россию с опрокинутой телегой, которую везет рабочий народ. «Все мы,— сказал Лев Николаевич,— помещики, ученые, писатели, художники, сидим на этой телеге, и нас везет рабочий народ. Первое, что мы должны сделать, это — слезть с этой телеги». Репин на это сказал, улыбаясь своей хитрой улыбкой: «Я с вами согласен, Лев Николаевич. Правда, я сижу на этой телеге, но я вроде певца, который бы пел и этим утешал везущих».

Репин страстно любил свое искусство. Он смотрел на людей прежде всего с точки зрения их пригодности для изображения их на полотне или на бумаге. Однажды моя сестра Татьяна по поводу одного его этюда сказала ему: «Как вы талантливы, Илья Ефимович!» На что он сказал, улыбаясь: «Я не талантлив, я трудолюбив». Что он будто бы не талантлив, очевидно, было сказано для смирения паче гордости; и этому трудно поверить, а что он был трудолюбив — это он доказал своей жизнью. Он и ко Льву Николаевичу относился, как к превосходной и благодарной натуре, и каждый раз, когда бывал у него, рисовал или писал с него. Однако с годами он все меньше и меньше понимал его душевную жизнь, что и отразилось на его позднейших изображениях Льва Толстого. Это было уже не то, что его великолепные портреты 1887 года.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕ

Н. Н. Ге приехал к отцу в первый раз в феврале 1882 года. Он раньше с отцом знаком не был и приехал потому, что его мировоззрение, особенно его отношение к христианству, было близко к новому мировоззрению отца.

Не буду повторять то, что о нем писали П. И. Бирюков, В. В. Стасов, моя сестра Татьяна и др. Приведу только кое-что из своих воспоминаний.

Единомыслие Николая Николаевича с моим отцом, его любовь к нему и привлекательность личности Николая Николаевича сразу сблизили его не только с моим отцом, но и со всей нашей семьей. Мы были всегда рады, когда появлялся этот красивый пожилой человек, с живыми светлыми глазами, тонким носом, седой бородой и длинными полуседеыми волосами вокруг лысины, жизнерадостный и доброжелательный к людям, друг нашего отца и всей нашей семьи. Его наружность и живость его характера напоминали об его французском происхождении.

В первые же дни знакомства с отцом он предложил ему написать портрет моей сестры Тани. Но отец сказал ему: «Если вы хотите сделать мне подарок, напишите портрет моей жены».

И Ге стал писать портрет моей матери. Он тогда не понимал ее и изобразил в виде светской дамы в бархатном платье; этот портрет ему самому не понравился, и он его уничтожил.

— Я не то сделал,— говорил Ге,— я написал светскую даму, а Софья Андреевна прежде всего — мать.



И. Е. Репин в 1890 году

Позднее он написал другѣй, более удачный портрет матери с ребенком на руках.

Моя мать дружелюбно относилась к Николаю Николаевичу, так же как и он к ней. Он, бывало, говорил ей: «Мамаша, нет ли у вас чего-нибудь вкусенького?» Она улыбалась и доставала ему вкусенькое — домашнее варенье, пастилу, смокву и т. п.

Нам, детям Льва Николаевича, он говорил «ты». Как-то он разорвал в колене свои брюки и обратился к сестре Маше:

— Маша, не можешь ли ты зашить мне мои панталоны?

Маша ему ответила:

— Хорошо, когда вы ляжете спать, дайте мне ваши панталоны, и я зашью их.

— Нет, ты зашей сейчас, на мне,— сказал Николай Николаевич.

Маша рассмеялась, но отказалась на нем зашивать его брюки и зашила их, когда он их снял и лег спать.

Я с ним иногда спорил и раз, не помню про какое-то его мнение, сказал полушутя: это скороспешное обобщение. Он покачал головой и сказал: «А ты, Сережа, ладивот, настоящий ладивот!» (Ладивот — вместо идиот.) Конечно, я не обиделся.

Я должен признаться, что не особенно интересовался его суждениями об евангелии, более или менее туманными и навеянными моим отцом, но меня привлекали его жизнерадостность, талантливость, любовь к моему отцу, дружеское отношение ко всем нам и вообще любовное отношение к людям. И я сочувствовал тому, что он, как правдивый художник, не мог изображать Христа иначе, как реально, что в то время в России было ново и смело.

Некоторые его суждения были верны и метки, другие — наивны. Например, он говорил про Рафаэля:

— В Рафаэле чувствуется искренняя детская вера. Он христианин, в противоположность своему современнику Микель Анджело — язычнику в душе.

До знакомства с моим отцом Николай Николаевич несколько лет почти ничего не писал. После знакомства он опять с увлечением стал работать.

С 1882 года до своей смерти, в 1894 году, Ге написал, кроме портретов и иллюстраций к рассказу «Чем люди живы?», ряд картин, иллюстрирующих жизнь Христа:

«Что есть истина?», «Повинен смерти», «Христос в Гефсиманском саду», «Выход после тайной вечери», «Советь», «Распятие» и др. Некоторые его эскизы остались неоконченными.

Ге был очень чувствителен к замечаниям о его картинах, охотно рассказывал про свои сюжеты, любил, когда хвалили его работу, и сам себя похваливал. Моя мать говорила: «Николай Николаевич лучше говорит про свои картины, чем их пишет». И в этом была доля правды: его кисть не попевала за его воображением. Он долго обдумывал свои сюжеты, но быстро набрасывал их на полотно, и либо бросал свою работу, либо никак не мог остановиться в ее переработке, причем экономил холсты и нередко писал по уже использованному холсту. Он много раз, и каждый раз по-новому, писал свое «Распятие». Некоторые его этюды к этой картине производили очень сильное впечатление, но он оставался недовольным ими и уничтожал их или замазывал новыми эскизами. Наконец, он остановился на том моменте, когда Иисус испустил дух, что привело в ужас разбойника, только что перед этим слышавшего от него слова любви и правды.

Отец высоко ценил картины Ге и хотя говорил, что вообще нельзя реально изображать Христа как человека, почему-то делал исключение для Ге и восхищался его картинами. Высоко ценя его «Распятие», он, однако, сказал: «Николай Николаевич увлекся выдуманном им *романом* Иисуса с разбойником. Эту картину он переписал (то есть слишком много работал над ней).

В 80-х годах Николай Николаевич написал портреты моей матери, сестры Маши и моего отца и нарисовал портрет сестры Тани. Портрет моего отца его работы я считаю лучшим из всех портретов Льва Толстого по сходству и выражению лица, несмотря на опущенные глаза. Я думаю, что этот портрет особенно удачен потому, что отец для него не позировал, а в то время, когда Ге писал его, так углублялся в свою работу, что забывал о присутствии художника.

Николай Николаевич был веселым человеком, любил посмеяться и сам рассказывал смешное. Например, он рассказывал, что видел в Софийском соборе в Киеве, как одна женщина приподняла своего ребенка к фрескам, изображающим страшный суд, и сказала: «Поцелуй боженьку в хвостик», а этот боженька был изображением черта.

Николай Николаевич познакомил нас со своей семьей — женой Анной Петровной, рожденной Забелло (Анечкой, как он ее называл), и двумя сыновьями, Николаем и Петром. У Анны Петровны был здоровый и практический ум; она оберегала своего мужа и удерживала его от увлечений. Он ценил ее заботы о нем и покорялся ее практическим советам.

Старший сын Николая Николаевича, «бесконечно любимый Колечка» (как он его называл), был художественно одарен, но жизнь его сложилась так, что он оставил о себе заметных следов в искусстве. В 1886 и 1887 годах он заведовал издательским делом, предпринятым моей матерью, но в 1887 году он переехал на хутор своего отца, где несколько лет старался проводить в жизнь учение Л. Толстого и вместе со своей некультурной подругой (Гапкой) работал по-крестьянски в поле и огороде. Приблизительно в половине 90-х годов он отошел от «толстовства», но не относился к нему враждебно. Потом он перешел во французское гражданство и жил за границей. Он не принадлежал ни к какой религии, ни к какой партии. Как добродушный, правдивый и остроумный человек, он был на редкость привлекателен и очень сблизился со всей нашей семьей, в частности со мной. Он был как бы родной. Мы его иначе не называли, как «Колечка».

Младшего сына Ге — Петра Николаевича — я мало знал. Он жил в Петербурге и редко бывал у нас.

Николай Николаевич (отец) умер на своем украинском хуторе, от разрыва сердца, 2 июня 1894 г. Мой отец живо почувствовал утрату своего преданного друга и единомышленника. В письме к И. И. Горбунову-Посадову от 12 июня он в следующих словах так охарактеризовал Н. Н. Ге:

«Это был удивительный, чистый, нежный, гениальный старый ребенок, весь по края полный любовью ко всем и ко всему, как те дети, подобными которым нам надо быть, чтобы вступить в царство небесное. Детская была у него и досада и обида на людей, не любивших его и его дело... Поднимает такая смерть, такая жизнь»¹.

¹ «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», изд. «Academia», М.—Л. МСМXXX, стр. 45—66.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ БУТУРЛИН

Бутурлины были богатыми и родовитыми помещиками и были воспитаны так, как это полагалось в таких семьях.

Их было три брата: Сергей, Александр и Дмитрий. Старший и младший были генералами, а средний, Александр, был «политическим преступником».

Александр Сергеевич родился в 1845 году, окончил курс Московского университета по естественному факультету. Он мне рассказывал, что в молодости познакомился с известным анархистом М. Бакуниным и вместе с ним в компании молодежи в красных шапочках разъезжал по Швейцарии. Он говорил, что в общей сложности просидел три года в тюрьмах и был в ссылке семь лет, все это в административном порядке и ни разу не был приговорен судом.

В 1869 году он был арестован и выслан на два года в Ярославскую губернию; в 1871 году он привлекался по делу Нечаева «о составлении заговора с целью ниспровержения существующего строя». Бутурлин мне говорил, что самого Нечаева он никогда не видел и только числился в одной из тех пятерок, которые должны были, по проекту Нечаева, произвести революцию. По суду он был оправдан.

В 1876 году Александр Сергеевич привлекался по «делу пятидесяти», и опять был судом оправдан. В конце 1881 года был приговорен в административном порядке на пятилетнюю ссылку в Тобольск, но раньше окончания срока переведен в Симбирск. Отбыв эту ссылку, он поселился в Москве: однако продолжал считаться «неблагонадежным», и его еще не раз арестовывали. Он говорил, что его арестовывали перед проездом царя через Москву,

после покушения на царя и на других правительственных лиц, а также по неизвестным ему поводам.

В марте 1882 года мой хороший знакомый, бывший репетитор брата Ильи, Н. Е. Богоявленский посоветовал мне познакомиться с Александром Сергеевичем как с социалистом, и знатоком политической экономии. В то время А. С. Бутурлин сидел, в ожидании высылки, в Бутырской тюрьме. 5 марта 1882 года моя мать писала отцу: «Прислал Бутурлин сказать, что его выпускают ежедневно от четырех до семи домой, и если его хотят видеть, то могут прийти. Сказали, что ты в деревне, и слава богу, что тебя нет. Ты по доброте, может быть, и пошел бы сказать ему слово утешения. Бог с ним, опять, пожалуй, навлекло бы какие-нибудь подозрения. Сережа хочет идти, а я его сильно отговариваю, не знаю, послушается ли?»¹

Я не послушался и пошел к Бутурлину. В те годы я мнил себя «радикалом» и, понятно, отнесся к Александру Сергеевичу с некоторым подобострастием, как к старому революционеру. Меня любезно встретил красивый, высокий, белокурый, еще не старый человек (37 лет). Он говорил мне про «железный закон минимума заработной платы и незаслуженную прибыль капиталистов. Я внимал ему с благоговением.

У Бутурлиных было хорошее состояние, но оно было в пожизненном владении их матери, хозяйство в имениях велось плохо, доходов получалось мало, а Александр Сергеевич был женат, у него было трое детей, и денег на жизнь не хватало. Он был очень щепетилен в денежных делах и решил быть самостоятельным и увеличить свой доход личным заработком в качестве врача. Для этого, когда был он восстановлен в правах и когда ему было уже пятьдесят лет, он поступил студентом на медицинский факультет. Странно было видеть этого красивого седоволосого человека в студенческой форме. Через три года он блестяще окончил курс.

После 1882 года я много лет не встречал Александра Сергеевича. Не помню, когда именно я возобновил свое знакомство с ним. Кажется, это было в конце 90-х годов. Он жил уже один, в верхнем этаже дома Бутурлиных на Знаменке. Позднее он переехал на небольшую квартиру на

¹ С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, изд. «Academia», М.—Л. 1936, стр. 187.

Плющихе, где жил до своей смерти. Летом он на дачу или в деревню не переезжал и редко выезжал из Москвы.

Насколько мне известно, его медицинское образование не дало ему заработка. Он редко лечил и не брал гонораров. Однако он продолжал интересоваться медициной и следить за новыми приемами этой науки.

Большую часть дня он проводил за чтением. Один в своей комнате, он читал, почти всегда вслух, с карандашом в руке. Он редко записывал свои мысли по поводу прочитанного, но своим четким и красивым почерком, острым карандашом исправлял опечатки в книгах и отмечал ошибки авторов¹. Бутурлин иронизировал над собою, говоря, что его настоящее призвание — это быть корректором. Он ложился спать очень поздно — в три, четыре часа ночи. Очень много курил; гряда папиросных коробок лежала у него на подоконнике. «Мне нужно много папирос, но мало спичек, — говорил он, — я зажигаю папиросы одну от другой».

Он редко ходил в театр, музыку он называл неприятным шумом. По вечерам он чаще всего бывал у «одной своей хорошей знакомой», как он называл Марию Александровну Склирину, с которой был в связи. Она была родом из почтенной дворянской семьи, но вела жизнь богемы. Она ему изменяла, а он говорил: «Я совсем не ревнив; я не знаю чувства ревности». Бывал он также и у других своих знакомых, в том числе у меня, когда я женился.

После того как его «хорошая знакомая» умерла, он стал жить еще более уединенно и только изредка проводил вечера вне дома. Но Александр Сергеевич был рад, когда к нему приходили приятные ему люди. Он был всегда учтив и любезен. Бутурлин познакомился с моим отцом в декабре 1881 года. Лев Николаевич приезжал к нему, чтобы выразить ему сочувствие по случаю его ареста и высылки в Сибирь. Отец был у Бутурлина, когда ему было разрешено уезжать из тюрьмы домой на три часа.

В апреле 1888 года моя мать писала отцу из Москвы в Ясную Поляну: «Вечером сидел Бутурлин и дядя Костя. Бутурлин очень жалок и продолжает мне быть симпатичен. Завтра он едет с нашими на выставку [картин пере-

¹ Он, например, у меня брал Полное собрание сочинений Герцена, прочел все и исправил все опечатки и ошибки автора.

движников.— С. Т.] смотреть картину Поленова [«Христос и грешница».— С. Т.], а обедать к нам»¹.

Если я не ошибаюсь, Бутурлин был «очень жалок», потому что он в то время разошелся с женой. Об отношениях с ней он совещался с моим отцом. Отец не советовал ему расходиться, но этому совету он не последовал.

В 1902 году Александр Сергеевич был в Ясной Поляне. Лев Николаевич при нем читал рассказ Чехова «Душечка» и хохотал до слез².

В октябре 1903 года, в Ясной Поляне, Лев Николаевич читал Бутурлину и Д. В. Никитину свою статью о Шекспире³.

В феврале 1904 года Софья Андреевна перевозила рукописи Толстого в Исторический музей. А. С. Бутурлин, сочувствуя этому, помогал ей в перевозке⁴.

2 июля 1910 года Бутурлин в своем письме ко мне написал следующее: «20-го июня ездил на дачу к Черткову, чтобы повидаться с Львом Николаевичем. Он поразила меня своим необыкновенно свежим и здоровым видом, своей бодростью, своей напряженной деятельностью. Можно было подумать, что ему 60 лет, а не без малого 82. Расположение духа его было прекрасное. Приходится сознаться, что жизнь в Ясной Поляне ему не *прописна* (простите этот варварский неологизм от слова «*ргорисе*» [благоприятный]) и что «в гостях» он чувствует себя гораздо лучше, чем дома. Грустно сознаться в этом, но, к сожалению, это несомненно так».

Тогда же Лев Николаевич отметил в своем дневнике: «Милый Бутурлин»⁵.

Я обыкновенно приходил к Александру Сергеевичу ночью — не раньше десяти часов и нередко просиживал у него до трех. С ним интересно было разговаривать. Предметами наших разговоров были: литература, особенно Пушкин и Лев Толстой, критика так называемого священного писания, которой он специально занимался, и текущие события, подготовившие революцию, которым он горячо сочувствовал: студенческие волнения, заба-

¹ С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, стр. 41.

² Письмо Бутурлина к Строеву от 15 сентября 1902 года.

³ Ежедневник С. А. Толстой от 19 октября 1903 года.

⁴ С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, 1862—1910. 17 февраля 1904 г., стр. 752.

⁵ Юбилейное изд., т. 58, стр. 68.

стовки, убийства Сипягина, Плева и вел. кн. Сергея Александровича и пр.

Передам некоторые суждения и рассказы Александра Сергеевича так, как я их запомнил. В то время я их не записывал и расскажу «своими словами».

Александр Сергеевич с большим уважением относился к Л. Н. Толстому, восхищался его художественными произведениями и горячо сочувствовал его критике православия и современного государственного и социального строя.

Религиозных убеждений Льва Николаевича Александр Сергеевич не разделял, хотя с уважением относился к ним. Он говорил: «Ваш отец требует, чтобы мы исполняли волю бога, которого он называет отцом или хозяином. Мне претит требование служить какому-то «хозяину». Я хочу быть свободным. Но, положим, мы должны исполнять волю «хозяина». Как узнать эту волю? Лев Николаевич утверждает, что она заключается в основном правиле: не противься злу, и в пяти правилах, почерпнутых им из евангелия: не гневайся, не прелюбодействуй, не клянись, не суди, не вой. Эти правила высказаны людьми, а не «хозяином». Следовательно, можно с ними не соглашаться. Ведь Лев Николаевич не признает божественности Христа. Можно ли основывать этику на этих отрицательных правилах: не делай того-то и того-то? Лев Николаевич верно понял основную идею христианской этики: не противься злу. Я с ней не согласен и думаю, что она возникла в эпоху римского владычества, когда бесполезно и даже невозможно было противиться злу, т. е. власти римских императоров. Моралисты, в том числе и Христос, мало улучшили нравственность человечества. Войны, убийства, казни, насилия, нищета продолжают царствовать, как будто никто и не называл все это злом».

Я возразил: «Однако разве отношения между людьми не стали лучше хотя бы благодаря христианству?»

«Отношения между людьми улучшаются вследствие улучшения их социального устройства,— говорил Александр Сергеевич,— например, они улучшились после отмены рабства. Главная причина зла в мире — это несовершенные формы социальной жизни человечества».

Когда кто-то сказал при нем, что история русского народа шла по другому пути, чем история западноевропейских народов, потому что русский народ принадлежит к особой расе, он сказал: «Раса не играет большой роли

в истории народов. Классовые различия резче, чем расовые».

А. С. Бутурлин свободно читал по-французски, по-немецки и по-английски. Он прочел много книг по критике ветхого и нового завета — Рейса, Ренана, Штрауса и др.

Дочь А. С. Бутурлина вышла замуж за сына В. К. Истомина, управляющего канцелярией вел. кн. Сергея Александровича. Истомин был известен как упорный реакционер, противник либеральных реформ, сторонник самодержавия, сочувствовавший преследованию и казни революционеров.

— Вы понимаете,— говорил мне Александр Сергеевич,— что мне неприятно даже быть знакомым с Истоминным. А теперь приходится быть его сватом.

Как благовоспитанный человек, он поехал к Истому с визитом. Против ожидания, его поездка сошла благополучно. Потом он мне говорил:

— Мы не разговаривали с Истоминным ни о наших политических взглядах, ни о моем прошлом, ни о его службе. Мы говорили только о литературе. Он любит и хорошо знает русских писателей.

Я видел Бутурлина вечером 4 февраля 1905 года, в тот день, когда был убит вел. кн. Сергей Александрович. Александр Сергеевич в то время жил на Знаменке, недалеко от Кремля. Он рассказывал:

— Когда я услышал взрыв, я сообразил, что это дело революционеров. Через несколько минут я узнал, что убит великий князь. Я возрадовался и пошел в Кремль. Власти растерялись: Троицкие ворота не были заперты, и в Кремле собралось довольно много народа. Я видел разломанную карету, трупы лошадей и кусочек мозга великого князя, прилипший к стене. От его тела осталось очень мало; взрыв был очень сильный.

В октябре 1905 года А. С. Бутурлин участвовал в грандиозной процессии, провожавшей тело убитого Баумана. Вечером того же дня он говорил мне:

— Проходя вместе с процессией по Тверской, я собственными глазами видел, как красный флаг развевался у подъезда дома генерал-губернатора. Теперь я могу сказать, как Симеон: «ныне отпускаеши раба твоего», и могу спокойно умереть.

Иногда Бутурлин рассказывал анекдоты из прошлой жизни. Например:

Во время франко-прусской войны 1870/71 года некто Насакин, уездный предводитель дворянства и статский советник, очень интересовался военными действиями, сочувствовал французам и никак не мог помириться с тем, что генерал Трошо сдал Париж. Газетные известия его не удовлетворяли, и он решил поехать в Париж и спросить самого Трошо, почему он сдал Париж. В Париже он остановился в плохой гостинице и заказал себе французскую визитную карточку, на которой значилось: «M. Nasakine Maréchal et le Conseiller d'état». По-французски это звучало гордо: «Насакин, маршал и государственный советник». Он поехал к Трошо и, не застав его дома, оставил ему свою карточку. Трошо, очевидно, подумал, что его посетила важная персона, и на другой же день поехал в полной генеральской форме отдавать этой персоне визит. Насакин не удивился, встретил Трошо в чем был — в халате, с длинной трубкой в руке.

— А, бонжур, женераль Трошо, — сказал он на плохом французском языке, — пуркуа рандю Пари? ¹

История умалчивает об ответе Трошо.

Однажды Александр Сергеевич рассказал мне о своем деде: «Человек, доживший до семидесяти лет, был свидетелем истории целого столетия, он не только сам многое пережил, видел и слышал, он знал старых людей, родившихся задолго до своего знакомства с ними. Я хорошо помню своего деда, князя Сергея Ивановича Гагарина, и его рассказы. Когда я при нем упомянул о Хераскове, он сказал: «Я знал Хераскова — какая это древность! Не правда ли, кажется, что это было очень давно». Дед был флигель-адъютантом у Павла I. Он говорил, что помнил Павла, как будто только вчера его видел. Дед был близорук и носил очки. Павел как-то спросил его:

— Носите вы вогнутые или выпуклые стекла?

— Я близорук, государь, поэтому ношу выпуклые стекла.

— Нет, если вы близоруки, вы должны носить вогнутые стекла, — сказал Павел.

— Государь, близорукие носят выпуклые стекла.

— Нет, вогнутые.

— Выпуклые, государь.

Павел не любил противоречия и стал сердиться. Кто-

¹ Здравствуйте, генерал Трошо. Почему сдали Париж?

то дернул Гагарина за фалду и знаком дал ему понять, что пора замолчать. Потом приятели говорили ему:

— Ты с ума сошел — спорить с ним! Он тебя за это в Сибирь сошлет.

В 1915 году А. С. Бутурлин стал болеть. Он, как врач, не без основания предполагал, что у него был рак мочевого пузыря, но болей не чувствовал, только сердце постепенно ослабевало. Он стал поговаривать о смерти.

— Я знаю,— говорил он,— что скоро умру, и рассудок мой мирится с этим, но когда я подумаю, что мое тело положат в гроб, что крышку гроба завинтят и меня закопают, меня охватывает ужас. Я отлично знаю, что мой ужас неразумен, что тогда я ничего чувствовать не буду, но я не могу побороть в себе это чувство. Прочтите, как ваш отец писал про Ивана Ильича, как он «лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшейся головой на подушке, и выставял, как всегда выставяют мертвецы, свой желтый восковой лоб со взлизями на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу». Ведь и я буду так же лежать. А иногда у меня бывает и такое чувство — и это также неразумно — что я не умру. Где-то я читал, что один француз начал свое завещание словами: *Не когда, а если* когда-нибудь умру. Этот француз как будто считал, что умирать не обязательно.

— Я не был несчастлив в своей жизни,— говорил также Александр Сергеевич.— Лучшие радости мне давали друзья и литература, особенно Пушкин и Лев Толстой. Вы посмеетесь надо мной,— я уподобляюсь дяде Пушкина, Василию Львовичу Пушкину, сказавшему перед смертью: «Катенин плохо пишет». Тогда его племянник Александр Сергеевич Пушкин вышел в другую комнату и сказал: «После этих слов дяде больше не следует ничего говорить. Пусть эти слова будут его предсмертными словами». Пускай и мои слова о моей любви к литературе будут моими предсмертными словами.

Так иронизировал А. С. Бутурлин над самим собой.

4 апреля 1916 года, когда ему было особенно плохо, я сидел с его племянницей Марфой Сергеевной и маленькой актрисой Юленькой (ученицей г-жи Силиной, знакомой А. С.) в столовой, сиделки пошли переодеваться на ночь. Я собрался уходить домой и пошел проститься с

ним; вошли также Юленька и сиделки. Он неподвижно лежал на спине и был очень бледен.

— Что вы сделали, Александр Сергеевич,— сказала одна из сиделок,— вам ведь вредно вставать с постели. Отчего вы нас не позвали?

Он промолчал. Вдруг по его лицу прошло какое-то еле заметное движение, он широко раскрыл глаза, как будто чему-то удивился и сказал:

— Я умираю.

В этих словах не слышалось ни ужаса, ни сожаления о конце жизни, ни страдания, только — удивление. И тотчас же глаза его потускнели, тело вытянулось и стало неподвижно. Он умер. Это был паралич сердца. Никакой агонии не было.

Похоронили Александра Сергеевича на кладбище Данилова монастыря. На похоронах были только его дети и немногие друзья и знакомые. Речей не было. В «Русских ведомостях» был напечатан краткий его некролог.

Я любил Александра Сергеевича и счастлив тем, что знал его. В комментарий к юбилейному изданию сочинений Л. Н. Толстого сказано: «Толстой ценил в А. С. Бутурлине ум, большие знания и душевное благородство»¹. Основная черта его характера была искренность, прямота. Он не мог кривить душой; он говорил то, что думал, и не говорил того, чего не думал; и он поступал так, как считал своим долгом поступать. Он был человеком, обладавшим обширными знаниями в разных областях. Он был естественником, знатоком по истории французской революции и критике евангелия. Я не раз спрашивал его, почему он ничего не написал и не опубликовал из своего большого запаса знаний. Он как-то неопределенно говорил, что недостаточно сведущ или что он ничего нового сказать не может. Правда, у него не было творческого дара (что не мешало ему быть оригинальным человеком), но он прекрасно излагал то, что знал. Сколько людей, гораздо менее его знающих и менее его достойных, подвизались в печати. Скромность и отсутствие желания выдвигаться были причиной тому, что после его смерти не осталось его трудов. Но его друзья,— я льщу себя мыслью, что в том числе был и я,— черпали из его разговоров ценные сведения и правдивую оценку событий.

¹ Юбилейное изд., т. 55, стр. 472.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ТАНЕЕВ

Не знаю точно, как и когда возникло знакомство нашей семьи с Сергеем Ивановичем Танеевым. У нас с ним было много общих знакомых. В особенно дружеских отношениях Сергей Иванович был с семьей Масловых. Эта семья состояла из судебного деятеля Федора Ивановича Маслова, его двух сестер, Варвары и Анны Масловых, и их родственницы, Юлии Афанасьевны Юрасовой. В 90-х годах Масловы были уже людьми пожилыми; Федор Иванович был холост, и его сестры не были замужем. Танеев часто бывал у них в Москве и почти каждый год летом гостил в их имении Селище, Орловской губернии. Масловы относились к нему, как к родному. Варвара Ивановна училась вместе с моей сестрой Татьяной в Училище живописи и ваяния и подружилась с ней. Вероятно, через нее мы и познакомились с Танеевым.

Сергей Иванович вел дневник с декабря 1894 по 1909 год. Этот дневник может служить хорошим фактическим материалом для его биографии и для истории музыкальной жизни Москвы за эти годы, но только фактическим материалом. Танеев писал в 1911 году в предисловии к начатому им, потом продолженному новому дневнику: «Итак, я в своих дневниках ограничивался фактами... Я потому избегал упоминать о своих чувствах, что каждый раз, как мне попадались мои прежние письма, где встречались лирические места, мне становилось неловко... Мне было неприятно представлять себя волнуемым чувствами, которые я более не испытывал». Сергей Иванович заносил в свой дневник не только значительные события,

но и мелкие подробности: когда утром встал, что писал или играл, кто у него был, куда он ходил, что покупал, как и у кого лечился и т. п. К сожалению, часть его дневника 1895 года написана на «эсперанто», что неудобочитаемо. Как аккуратный и правдивый человек, он записывал точно и подробно. Его записи во время пребывания в Ясной Поляне интересны не столько для характеристики его самого, сколько как материал для биографии Л. Н. Толстого. Он добросовестно и довольно верно записывал то, что говорил Лев Николаевич, но скупо записывал свое отношение к его взглядам, свои реплики и возражения на его слова.

Дневник Танеева помог мне восстановить в памяти давно прошедшее и уточнить даты в моих воспоминаниях.

В первой половине 90-х годов Танеев стал бывать в нашем московском доме в Хамовническом переулке (ныне улица Льва Толстого), а весной 1895 года моя мать пригласила его прожить лето в Ясной Поляне. Он не соглашался жить там бесплатным гостем и настаивал, чтобы она назначила плату за помещение и харчи. Она ему назначила небольшую плату, но он, как добросовестный человек, нашел, что она назначила слишком дешево. Поторговались и остановились все-таки на небольшой плате около 125 рублей за все лето.

Танеев в Ясной Поляне пробыл: в 1895 году с 3 июня по 29 августа, в 1896 году — с 19 мая по 1 августа и несколько дней в сентябре заездом из Селища. После этого года он приезжал только на короткое время — в июне 1897 года на два дня и в июле того же года (с 5-го по 13-е), в августе 1898 года, в июне 1899 года и после долгого промежутка — в феврале 1906 года и в феврале 1908 года.

Когда мои родители жили в Москве в Хамовническом переулке (до 1902 года), он часто там бывал; бывал он и у моей матери, когда она после 1902 года приезжала в Москву.

В 1895 и 1896 годах Танеев поселился со своей няней Пелагеей Васильевной в яснополянском флигеле, куда привез пианино. Некоторое время в 1895 году прожил с ним во флигеле его ученик Ю. Н. Померанцев (Юша), Сергей Иванович вставал в семь или восемь часов, няня ему готовила чай и завтрак, после чего он садился за работу. Он или писал свой «подвижной контрапункт стро-

гого письма» и свои композиции, или упражнялся на фортепиано и занимался с Юшей Померанцевым. Приблизительно в двенадцать часов он уходил гулять и купаться на речке Воронке, отстоящей от дома в полутора верстах. С ним обыкновенно ходили Александр Антонович Курсинский (учитель моего брата Миши), Ю. Померанцев или еще кто-нибудь из мужского персонала. Затем он шел обедать. В Ясной Поляне в то время обедали в два часа, пили чай в пять и ужинали в девять. Время от обеда до ужина он проводил разнообразно: в игре на фортепиано у себя во флигеле, в прогулках, игре в теннис, занятиях по изучению итальянского языка вместе с Курсинским и моими сестрами и пр. Он охотно участвовал в увеселениях молодежи: теннисе, езде на велосипеде, разных играх, купанье и пр., но был тяжел и мешковат и сильно уставал. Он долго не мог выучиться ездить на велосипеде; этим объясняется, почему позднее, в 1899 году, он упал с велосипеда и сильно повредил себе ногу.

По вечерам он приходил ужинать и пить чай со всем яснополянским обществом в залу или на террасу. Отец был с ним любезен, разговаривал, играл в шахматы и слушал его игру на фортепиано. Во время шахматной игры кто-нибудь читал вслух разные произведения, большей частью рекомендованные Львом Николаевичем. Предметом их разговоров были чаще всего вопросы о значении и целях искусства, которыми в то время был занят отец.

Интересна запись Танеева в его дневнике о разговоре, бывшем 9 августа 1895 года между ним, Львом Николаевичем и Н. Н. Страховым, гостившим тогда в Ясной Поляне. Привожу выдержки из этой записи.

«Лев Николаевич сказал, что «до сих пор не может решить, что такое искусство и какое место оно должно занимать в жизни человека». Н. Н. Страхов дал определение искусства приблизительно такое: «искусство есть некоторое средство для выражения чувств и настроений человека не отвлеченно, а конкретно, образно...» Л. Н. сказал, что он желал бы такого определения искусства, которое провело бы границу между художественным и не художественным произведениями. Я сказал, что вряд ли можно требовать определения этой границы, подобно тому, как нельзя провести границу между животными и растениями, хотя каждый из нас не затруднится отличить растение от животного. Л. Н. сказал, что есть признак, отличающий

животное от растения, например, способность передвижения. На это я возразил, что есть животные, лишенные этой способности, и есть растения движущиеся. Л. Н. сказал, что вопросы, касающиеся развития и истории искусства, не так его занимают, как вопрос об искусстве с точки зрения нравственной. Он говорил: «Я хочу знать, необходимо ли искусство в жизни человека. Если да, то почему большинство людей проводит жизнь в стороне от искусства. Стоит ли искусство тех жертв, которые на него тратятся. Нужно ли замучивать десятки тысяч людей на фабриках, забирать последнее от людей, возделывающих землю, чтобы дать возможность консерваторкам играть по восемь часов в день на фортепиано, чтобы строить театры для представления вагнеровских опер, заставлять парикмахеров, считающих себя также артистами, работать на певцов и пр. Можно ли считать нормальным, что произведения искусства доступны только малому числу богатых людей, что для их понимания требуется особая подготовка?» Танеев не записал, возражал ли он на эти слова Льва Николаевича; очевидно, он был с ним не согласен, но, вероятно, просто промолчал.

Привожу также следующую выписку из дневника Танеева от 28 марта 1896 года о разговоре его со Стасовым, при котором я присутствовал. В этом разговоре выясняются некоторые взгляды Танеева на музыкальную форму.

«Пошел к Толстым. Разговор с Стасовым был очень забавен. Он громко говорил, что мадоннам надо выколоть глаза, что Рафаэль имел талант, но растратил его по пустякам, что Бетховена он ставит выше всех композиторов; но что он, к несчастью, писал сочинения, имеющие форму, и подчинялся глупым законам, как, например, кончал сочинения в том же тоне, в каком начинал, писал симфонию в четырех частях и т. п. Я возражал, что форма симфонии та же, что сонатная и квартетная, что сонаты есть состоящие из двух частей (E-moll'ная), а квартеты из пяти и более, что существует форма фантазии с давних пор, что Бетховен отступал от принятых форм, когда находил это нужным. Вставить слово в речь Стасова было очень трудно. Я ему говорю: «Изберем председателем Льва Николаевича». Он согласился. Лев Николаевич постучал об стакан и сказал, что слово принадлежит мне. Стасов стал немедленно очень громко говорить. Я стал

смеяться, Лев Николаевич и Софья Андреевна также. Лев Николаевич сказал, что во многом согласен с тем, что говорит Стасов, что подчиняться установленным формам не следует, что форма, как и одежда, должна иногда трещать по всем швам. Я в оправдание существующих форм указал на то, как выработывалась форма сонатного аллегро, что выработка форм не делается произвольно. Отдельные художники творят, повинувшись своему внутреннему чувству, но в конце концов оказывается, что они помимо воли попадают в существующее течение и принимают участие в выработке музыкального языка».

«29 марта... к концу завтрака, продолжали вчерашний разговор. Л. Н. высказал мысль, на которую возражал я и Сергей Львович; он говорил, что если произведение искусства одним нравится, а другим — нет, что значит — это пустяки, что настоящее произведение искусства должно нравиться всем, что нет между людьми разногласия о том, что свежий воздух лучше порченного, что пища нужна человеку, что добрые дела похвальны».

В Ясной Поляне Сергей Иванович почти каждый вечер играл на фортепиано. Помню, что он играл рондо *a-moll* Моцарта, сонаты Бетховена *as-dur* с похоронным маршем, *as-dur*, *op. 110*, *E-moll*, *quasi fantasia* и *arassionata*, мелкие пьесы Шуберта, Шумана, Шопена и Мендельсона, увертюру из Фрейшютца в аранжировке Листа, дуэт из Ромео и Юлии Чайковского, *Basso ostinato* и романс Аренского, отрывки из своей оперы «Орестея» и др. Разумеется, он играл больше всего то, что нравилось Льву Николаевичу, или же те пьесы, которые он хотел ему показать, в том числе свои сочинения или сочинения Вагнера и Чайковского. Однако эти последние сочинения мало нравились отцу. Иногда Сергей Иванович даже специально выучивал те пьесы, которые хвалил отец. Так, например, как-то отец похвалил *Nachtstück № 4* Шумана, которую он слышал в моем исполнении. Танеев, раньше не игравший эту пьесу, выучил и сыграл не только ее, но и все четыре *Nachtstücke*.

Играл он, разумеется, всегда наизусть, играл просто, без всякой отсебятины, фразировал отчетливо и рельефно, брал настоящие темпы, не увлекаясь быстротой, подобно многим пианистам, и проявлял силу там, где это требовалось. Он ставил себе целью верно передавать намерения композиторов. Особенно хорошо и точно, но не сухо и не

академично, он играл Бетховена и Баха. Помню его великолепное и энергичное исполнение увертюры Фрейшютца в переложении Листа. Не все, однако, ему удавалось: Шопен, кроме полонезов (as-dur и fis-moll), звучал под его пальцами несколько бледно. В общем его удар был тяжеловат; он любил выделять низкие и средние голоса, и иногда мне казалось, что его левая рука играет слишком сильно сравнительно с правой. Он всегда серьезно относился к своей игре и никогда не играл небрежно: он весь погружался в исполняемую им музыку. Помню его глаза во время его игры — вдумчивые, сосредоточенные, смотрящие куда-то внутрь. Когда его просили сыграть пьесу, которую он давно не играл, он говорил: «Я вам это сыграю завтра», и на другой день днем у себя во флигеле проигрывал эту пьесу, чтобы вечером сыграть ее как следует при публике.

Однажды днем я зашел к нему и застал его проигрывающим *Moment musical as-dur* Шуберта, чтобы сыграть ее вечером. Он сказал мне: «Вот я раздумываю, не делать ли ударение на третьей, а не на первой четверти в первом и аналогичных ему тактах». Так тщательно он относился к своей фразировке.

Отец с удовольствием слушал музыку Сергея Ивановича, благодарил его за игру и высказывал свои мнения об исполняемых им пьесах, хвалил Моцарта, Шуберта, Шопена, бранил Вагнера, критиковал Бетховена и в то же время наслаждался музыкой Бетховена. К сочинениям самого Танеева он относился отрицательно, но ему это не высказывал.

Сергей Иванович очень любил играть в шахматы, но не был сильным игроком. В Ясной Поляне он почти каждый вечер играл с Львом Николаевичем. Отец был несколько сильнее его, но играл небрежно и рискованно и поэтому часто проигрывал. 6 июня 1896 года Танеев записал, что проиграл пять партий подряд, после чего Лев Николаевич стал давать ему вперед коня. Но без коня стал проигрывать Лев Николаевич, и скоро конь был опять поставлен на свое место. Между ними было условлено играть матчи; выигравший первые пять партий считался выигравшим матч. Было условлено, что когда матч проигрывал Сергей Иванович, то он обязывался играть на фортепиано пьесы по выбору Льва Николаевича, а когда проигрывал Лев Николаевич, то он обязывался

прочсть вслух что-нибудь из своих сочинений. А иногда они улавливались играть не в счет матчей.

Живя в Ясной Поляне, Танеев написал (кроме своих серьезных композиций — квартета, симфонии, инструментальной квартета Чайковского и др.) три пьесы специально для Ясной Поляны. Это — серенада, баркаролла и вариации на песню Трике из «Евгения Онегина»¹. В этих пьесах участвует мандолина, на которой в то время играла моя сестра Татьяна.

Серенада написана для голоса, фортепьяно и мандолины на слова, тогда же сочиненные Н. А. Курсинским. На автографической рукописи этой пьесы — подпись Танеева и дата: «9 июля 1896».

Баркаролла «Венеция ночью» написана для голоса, фортепиано и мандолины на слова А. Фета. На автографической рукописи — подпись Танеева и дата: «13 июля 1897».

Вариации на песню Трике написаны для фортепиано, скрипки и мандолины. На рукописи рукой Танеева написано: *Variations sur un thème favori composées et dédiées à m-elle la comtesse Tatiana Tolstoï par S. Tanéïev. 12 J. 1897*². Эту пьесу он поднес моей сестре в день ее именин (12 января).

В своих воспоминаниях о Танееве я не могу умолчать об отношении к нему моей матери. 23 февраля 1895 года умер ее меньшей семилетний сын Ванечка, особенно ею любимый, и у нее обострилась истерия, к которой она была склонна и раньше. Музыка успокоительно действовала на ее нервы, отвлекая от горя, а действие музыки во время игры Танеева она перенесла на него. Отсюда ее болезненное пристрастие к его личности и к его музыке. Она пользовалась всеми возможными случаями, чтобы видиться с ним и слушать его музыку. Такое исключительное пристрастие женщины в возрасте между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами к человеку, к ней довольно равнодушному, нельзя назвать нормальным. Она сама это сознавала. Я могу говорить об увлечении моей матери, не скрывая ничего, так как и скрывать нечего. Об этом она сама за несколько дней до своей смерти

¹ Серенада и баркаролла были изданы, вариации остались в рукописи.

² Вариации на любимую тему, сочиненные и посвященные гр. Татьяне Толстой С. Танеевым. 12 янв. 1897.

говорила своей дочери Татьяне¹. Ни я, ни мои сестры и братья никогда не сомневались в том, что слова матери — правда и что в отношениях нашей матери к Тане-еву не было «рукопожатия, которое не могло бы быть при всех», но это увлечение матери нас огорчало, особенно по-тому, что оно было очень неприятно отцу.

Танеев долгое время не догадывался о ненормальности этого пристрастия к нему Софьи Андреевны и, вероятно, предполагал, что она увлекается им только как пианистом и композитором. Не знаю, когда он догадался, но он уже не мог сомневаться в 1904 году, когда получил от нее «нелепое письмо», как он выразился в своем дневнике; это письмо не сохранилось; вероятно, он его уничтожил. Некоторое понятие о нем можно иметь из следующих писем Танеева к Софье Андреевне — писем, очень характеризующих его благовоспитанность, сдержанность и скрытность.

Он писал: «Многоуважаемая Софья Андреевна, простите меня великодушно, что я сегодня у Вас не буду. Причиной этому то обстоятельство, что я до сих пор не ответил на письмо Ваше, присланное мне после концерта Никиша, и не дал тех объяснений, которые Вы от меня настойчиво требовали. Не высказав своего мнения по поводу возбужденных Вами вопросов, я не считаю себя вправе быть Вашим гостем. Соображение это не пришло вчера в концерте мне на ум, но когда я вернулся домой, представилось мне с полной ясностью. В извинение своей медленности скажу, что я тотчас по получении Вашего письма начал излагать письменно свои объяснения, но, узнав от Вас, что Вы не желаете, чтобы письмо было отправлено ни на Вашу здешнюю квартиру, ни в Ясную Поляну, тогда же оставил свою работу. В настоящую минуту я решительно не имею возможности опять за нее приняться по недостатку времени. Еще раз прошу извинить меня и принять уверение в совершенном почтении и готовности к услугам Вашим. С. Танеев».

Через два дня, 17 ноября 1904 года, Танеев писал:

«Многоуважаемая Софья Андреевна, если бы речь шла только о том, чтобы объяснить, почему я ушел в

¹ См. выше, глава «Кончина моей матери».

антракте с своего места и почему в следующее отделение я уступил место другому, мне бы легко было на это ответить, указав хотя бы на то, что каждый находящийся в концерте может беспрепятственно пользоваться правом как уступать свое место, так и выходить в антракте. Но затронутые в Вашем письме вопросы захватывают собою целый ряд таких фактов, отношений, недоразумений, что объяснить ни просто, как Вы желаете, ни устно я не чувствую себя способным. Мне именно нужно предпринять работу, взвесить и обдумать каждое выражение и каждое слово. Но в настоящую минуту по разным соображениям, в том числе и материальным, я не имею возможности оторвать себя на несколько дней от той работы, которой занят. Поэтому вторично прошу Вас извинить меня и принять уверение в совершенном почтении искренно Вам преданного *С. Танеева*».

Повидимому, Сергей Иванович не написал письма, которое требовало «оторвать его на несколько дней от его работы», но после этого эпизода он стал реже видется с Софьей Андреевной. Однако он еще два раза приезжал в Ясную Поляну. Я думаю, что его побудило приехать желание еще повидать Льва Николаевича.

Танеев всегда относился к Льву Николаевичу с глубоким уважением и большой симпатией. Это можно было заметить, несмотря на его скрытность. Влияние на него Льва Николаевича выразилось, между прочим, в том, что он составил конспект статьи «Об искусстве» и участвовал в составлении вегетарианского календаря.

В августе 1898 года он писал Софье Андреевне по поводу семидесятилетия Льва Николаевича:

«Льву Николаевичу прошу передать мои горячие приветствия. За многое я ему благодарен из того, что вычитал в его сочинениях и вынес из личного с ним общения. Нет надобности быть последователем Льва Николаевича для того, чтобы испытывать на себе влияние его ясных, простых и живучих мыслей, которые, раз запав к вам в душу, очень упорно в ней пребывают, иногда причиняя человеку немалое беспокойство тем, что ставят ему требования, превышающие его силы»¹.

¹ «Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1897—1909», М. 1932, стр. 267—268.

Как же относился к нему сам Лев Николаевич? Лев Николаевич всегда был любезен с ним, только мне иногда казалось, что он заставлял себя быть любезным; как мы видели, он играл с ним в шахматы, слушал его музыку и много разговаривал. Он никогда не винил его в том, что Софья Андреевна им увлекалась, и понимал ненормальность этого увлечения. Но оно ему было очень неприятно, и лишь со временем он стал относиться к Сергею Ивановичу спокойнее¹.

Вот два его суждения о Танееве. Первое, на мой взгляд, несправедливое, — это запись в дневнике от 28 мая 1896 года, когда Лев Николаевич особенно остро относился к несчастному увлечению Софьи Андреевны: «Дома... Танеев, который противен мне своей самодовольной, нравственной и — смешно сказать — эстетической (настоящей, не внешней) тупостью и его *soq du village*’ным положением² у нас в доме. Это экзамен мне; стараюсь не провалиться».

Второе его суждение, приведенное в книге А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого», высказано им в июне 1904 года: «Я знаю двух музыкантов, не учившихся ни в каком учебном заведении, а между тем очень хорошо образованных людей, с которыми о чем ни заговори, все они знают, — это Г[ольденвейзер] и Сергей Иванович Танеев»³.

¹ В «Известиях» 12 июля 1939 года появился фельетон Н. Ростова «Новые тексты Л. Н. Толстого», в котором автор «открыл», что причиной ухода Л. Н. Толстого из Ясной Поляны в 1910 году было увлечение Софьи Андреевны Танеевым. Это неверно. Правда, в 1897 году Лев Николаевич тяжело переживал это увлечение, писал Софье Андреевне, что намерен с ней расстаться. Но тогда он не исполнил своего намерения. А позднее, начиная с 1901 года, когда его семья не переезжала больше на зиму в Москву и окончательно поселилась в Ясной Поляне, Софья Андреевна виделась с Танеевым лишь во время ее редких поездок в Москву, а Танеев приезжал в Ясную Поляну только на короткое время — в феврале 1906 года и в феврале 1908 года. И увлечение Софьи Андреевны остыло. Сложные обстоятельства, побудившие Льва Николаевича уехать из Ясной Поляны в 1910 году, в настоящее время выяснены. Они изложены в «Биографии Толстого» П. И. Бирюкова и во многих статьях и воспоминаниях, между прочим и в моем предисловии к четвертому тому «Дневников С. А. Толстой» (изд. «Советского писателя»). Никакой недоговоренности во всей этой литературе нет, и новые тексты Толстого ни в чем не подтверждают «открытия» Н. Ростова.

² положение общего баловня

³ А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого. М. 1922, I, стр. 134.

Перехожу к тому, что помню о моих встречах и разговорах с Танеевым.

В 1895—1896 годах, когда он жил в Ясной Поляне, я несколько раз туда приезжал, разговаривал с ним, ходил с ним гулять и купаться, играл в теннис и шахматы и слушал его игру. В Москве я встречался с ним в хамовническом доме, в концертах или в Музыкально-теоретической библиотеке и несколько раз был у него в его скромной квартире в Мертвом переулке и, позднее, в Гагаринском переулке.

Во второй половине 90-х годов я стал заниматься композицией и советовался с Сергеем Ивановичем, показывая ему свои незрелые опыты. 30 марта 1895 года он записал в своем дневнике: «Был Сергей Львович, принес три романса, которые не плохо написаны». Помню, что он отнесся к этому моему опыту строго, но спросил меня по поводу одного необычного гармонического хода: «Вы сами это написали? Вам никто не показывал этого последования?» Я сказал, что никто не показывал. Он удивился, что я сам до этого додумался.

12 марта 1896 года он записал в своем дневнике: «Экзаменовал Сергея Львовича по гармонии». Помню, что он тогда сказал мне: «Проиграйте какую-нибудь гармонизацию хроматической гаммы». Как известно, хроматическую гамму можно гармонизовать многими способами. Не помню, какую гармонизацию я ему сыграл, но помню, что он ее не одобрил.

Танеев признавал во мне некоторую музыкальную талантливость, о чем говорил моей матери, а меня предупреждал: «Вы хотите сразу сочинять. Нет, пройдите известную школу, изучите контрапункт строгого письма, освоитесь ключами «до» и пишите без инструмента». Он рекомендовал мне заняться музыкальным диктантом у профессора Консерватории Морозова. Я последовал его совету и в апреле 1896 года взял несколько уроков у Морозова.

В 1899 году Танеев, зная, что я владею английским языком и знаком с теорией музыки, предложил мне перевести с английского «Музыкальную форму» Э. Праута (E. Prout, Musical form), что я и сделал. Эта книга была издана в 1900 году издательством И. Юргенсона.

В 90-х годах я как-то показал Танееву присланные мне из Франции две пьесы для фортепиано Сезара

Франка — *Prélude, Choral et Fugue* и *Prélude, Aria et Final*. Меня удивило, что Танеев не знал эти пьесы. Он просмотрел фугу и сказал: «Этот человек умел писать музыку». Впоследствии он познакомился с произведениями Сезара Франка, стиль которого близок к его стилю, но едва ли Франк оказал на него влияние.

Однажды я рассказал Сергею Ивановичу следующий анекдот. Когда-то Антон Григорьевич Рубинштейн был приглашен на музыкальный вечер к М. Ю. Виельгорскому. Раздеваясь в передней, он увидел, что из кармана чьей-то шинели торчит нотная рукопись. Он ее взял, просмотрел и положил обратно. На вечере хозяин попросил Рубинштейна играть. Рубинштейн сел за рояль и сыграл ту пьесу, которую просмотрел в передней и уже запомнил. Эта была новая пьеса, которую принес и хотел сыграть у Виельгорского известный музыкант Контский. Выходка Рубинштейна жестоко его обидела.

Танеев на мой рассказ сказал: «Это не так трудно. Я думаю, что и я сыграю коротенькую пьесу, просмотрев ее без инструмента. Дайте мне пьесу, которую я бы не знал». Я ему принес неизвестную ему пьесу «*Valse-caprice*» Шаминада. Он просмотрел первую страницу и через несколько минут сыграл ее, не глядя на ноты и допустив только одну незначительную неточность.

Танеев не любил музыку Скрябина, хотя Скрябин был его учеником. Рассказывали, что, прослушав «Прометей», он сказал про последний аккорд этой пьесы: «Теперь началась музыка». Как известно, «Прометей» весь состоит из диссонансов, кроме последнего аккорда — трезвучия. Однажды на авторском концерте Скрябина я сидел рядом с Сергеем Ивановичем. Когда Скрябин сыграл свою прелюдию в *D-dur* (из 24 ор. 11), Танеев обратился ко мне и сказал: «Как он хорошо играет!» Он был беспристрастен и хвалил то, что, по его мнению, стоило похвалы.

В 1909 году я получил премию «Дома песни» за свою гармонизацию десяти шотландских песен. Эти десять песен и еще семь были изданы Российским музыкальным издательством. Танеев заинтересовался моими работками, пришел ко мне (в Москве), и мы с ним проиграли эти песни — я фортепианную партию, а он голос на маленькой фисгармонии. В общем он мою работу одобрил.

Не помню, где и когда известная певица М. Н. Муромцева (Климентова) поставила одноактную пьесу «Маленький Гайдн». В этой пьесе музыкант-теоретик Порпора, у которого маленький Гайдн жил в качестве слуги, однажды, возвращаясь домой, услышал, как Гайдн, воспользовавшись отсутствием хозяйина, играл свои импровизации на клавишине. Пораженный талантливостью мальчика, он с этого дня стал обучать его музыке. В то время Танеев принял к себе на квартиру своего очень способного к музыке ученика Колю Жилиева. Я ему тогда сказал:

— Я слышал, Сергей Иванович, что вы взяли к себе маленького Гайдна.

Он ответил: «Вы хотели меня уколоть, намекая на то, что я не Гайдн, а Порпора. Но вы меня не укололи: я не мечтаю быть Гайдном, а мечтаю быть именно Порпорой». Он, повидимому, больше ценил свою теоретическую и педагогическую деятельность, чем свои композиции.

Я был членом Общества теоретической музыкальной библиотеки, основанной Танеевым и В. А. Булычевым. В девятисотых годах члены общества собирались в здании Консерватории в большой изолированной комнате, уставленной книжными шкапами, где стояли два прекрасных рояля. В этой комнате читались доклады, исполнялись и репетировались музыкальные произведения, особенно старинные, обсуждались разные музыкальные вопросы, иногда просто разговаривали. Один из дней недели, кажется пятница, был посвящен чаепитию и общению членов между собой; в этот день было постановлено не играть на фортепиано после девяти часов вечера. В один из таких дней я пришел в библиотеку и застал Танеева, игравшего на рояле органные фуги Баха; партию педалей играл на другом рояле пианист Богословский. Девять часов давно пробило, но Танеев и Богословский продолжали играть; Танеев, вероятно, забыл о постановлении не играть после девяти. Присутствовавшие были этому очень рады: ведь органные фуги Баха редко приходится слышать, особенно в таком прекрасном исполнении. Иначе думал приятель Танеева В. А. Булычев. Он пил чай и во время игры наконец стал стучать ложкой о стенки стакана. Танеев, доиграв фугу, спросил: «Зачем вы, Вячеслав Александрович, мешаете нам играть?» Булычев ответил: «Потому что сейчас десятый час, а мы с вами постановили не играть после девяти часов».

Танеев промолчал, но на все просьбы продолжать играть ответил решительным отказом. Он не обиделся, но многие члены общества обиделись за него. Было созвано экстренное собрание общества, где было предложено вынести общественное порицание поступку Булычева, но Танеев настоял на том, чтобы дело было оставлено без последствий.

Зимой 1913/14 года в Москве появился интересный и талантливый индусский музыкант Инаят Хан. Он с тремя своими товарищами, также индусами, играл и пел сперва в кафешантане «Максим», а затем в двух или трех концертах в Политехническом музее. Аккомпанементом к пению индусов служили «вина» — щипковый инструмент, нечто среднее между гитарой и маленькой арфой, и смычковый инструмент — нечто вроде альты, и барабанчик. Эти инструменты звучали бедно: они только дублировали мелодию на однообразном органном пункте; поэтому Инаят Хан задумал сопроводить свои мелодии европейской гармонией на сюжет известной древней индусской поэмы «Сакунтала» Калидаса. Он сочинил одноактную пьесу «Скетч», где героиня должна быть танцовщицей, а музыка — состоять из индусских мелодий, сопровождаемых оркестром. Гармонизовать и оркестровать эти мелодии он предложил Танееву. Танеев отказался и предложил это сделать Гречанинову. Гречанинов также отказался; тогда Танеев предложил сделать эту работу мне. Я охотно взялся за нее, но, не будучи уверен в своих силах, особенно в оркестровке, пригласил сотрудничать со мною Вл. Ив. Поля. В результате частью я, частью он гармонизовали 17 мелодий Инаята Хана; Поля их инструментовал для малого оркестра. К сожалению, Инаят Хану не удалось поставить свой «Скетч». Клавир его мелодий в нашей обработке был напечатан. А оркестром они были два раза исполнены на Сокольничьем кругу.

Я был в Ясной Поляне в феврале 1906 года, когда там пробыл два дня Сергей Иванович. Он много играл. Там же был А. Б. Гольденвейзер; они сыграли на двух роялях концерт № 4 Бетховена, концерт Шумана и сюиту Аренского. Разговаривали они с Львом Николаевичем больше всего об изречениях, помещаемых им в «Круге чтения». Тогда же Танеев уговорил Льва Николаевича сыграть вальс, ему приписываемый. Отец проиграл раза два, и

Танеев очень быстро его записал. Эта запись была напечатана в «Толстовском ежегоднике» 1912 года ¹.

В заключение выскажу свои впечатления от знакомства с Танеевым. Сергей Иванович был добрым, умным, остроумным, скромным, крайне добросовестным, даже педантичным, правдивым и в житейских делах наивным человеком. Его доброту и бескорыстие хорошо знали его ученики, которым он помогал не только своими знаниями, но и материально, несмотря на то, что сам был не богат. Он смолоду получил мало общеобразовательных знаний, даваемых школой, так как рано посвятил себя музыке; но он всегда старался пополнить свое образование, много читал, интересовался философией, знал немецкий и французский языки, учился итальянскому и одно время увлекался международным языком эсперанто, на котором научился писать и даже говорить. Его привычки были скромны. Он не пил, не играл в карты и не курил. Он не любил, когда при нем курили; в своей квартире он отсылал курильщиков в кухню и требовал, чтобы они пускали дым в отдушник. Он бывал весел, любил острить и заразительно смеялся. Вот примеры его шуток. Однажды, когда он был занят срочной работой и не хотел, чтобы ему мешали, он вывесил на своей двери записку: «Здесь входа нет». Посетитель, предполагая, что в эту дверь нельзя войти по какому-нибудь случаю вроде ремонта, шел к черному ходу, но там находил на двери другую записку, также возвещавшую, что и здесь хода нет.

Однажды Танеев вышел из Консерватории вместе с певицей Литвин, с которой должен был куда-то ехать. Кликнули извозчика; Литвин села в сани, но, будучи очень полной, заняла все сидение. Танеев, сам довольно плотный мужчина, дважды обошел вокруг саней и, не находя места где сесть, спросил ее: «Вы с какой стороны сели, с правой или левой?»

Вспоминаю еще его шуточные афоризмы: «ни одно благодеяние не остается безнаказанным»; «не делай того, что могут за тебя сделать другие».

Исключительная музыкальная одаренность Сергея Ивановича общеизвестна. Он обладал абсолютным слухом. Как-то в Ясной Поляне мы произвели с ним такой

¹ О посещении Ясной Поляны Танеевым в 1906 году см. А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», I, стр. 171—173.

опыт: ударили на фортепиано одновременно шесть или семь клавиш без всякого порядка, как придется, и предложили ему их назвать. Он, не глядя, безошибочно назвал все ударенные клавиши. Известно, что он ездил сочинять в монастырский скит, где не было никаких музыкальных инструментов. Он обладал феноменальной памятью, легко выучивал пьесы и долго их помнил. Одно время он мечтал выучить все, что было выдающегося в фортепианной литературе. Партитуры он читал с поразительной легкостью, точностью и полнотой.

В своих суждениях о современных композиторах и исполнителях он, не стесняясь, иногда довольно резко высказывал свое мнение. В этом отношении его справедливо называли «музыкальной совестью Москвы». У него были определенные симпатии и антипатии по отношению к композиторам. Он любил старинных полифонистов, классиков, особенно Моцарта, романтиков, ценил Вагнера, относился с особым пиететом к музыке своего учителя П. И. Чайковского, которого называл не иначе, как Петр Ильич; хвалил музыку Аренского и Рахманинова; новаторов же недолюбливал за то, что они нарушали правила гармонии. Он считал, что в мире звуков есть незыблемые вечные законы и что их нельзя безнаказанно нарушать. Некоторые из этих законов он раскрыл в своей книге «Подвижной контрапункт строгого письма», где он дал исследование, исчерпывающее эту несколько специальную область музыки. Композиции Танеева едва ли когда-нибудь будут достоянием широкой публики, но в некоторых своих произведениях он достигает большой высоты.



С. И. Танеев в Ясной Поляне

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕРТКОВ

О Черткове издана отдельная книга М. В. Муратова «Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков», и письма Льва Николаевича к нему займут несколько томов Юбилейного издания произведений Л. Н. Толстого. Я могу прибавить лишь очень немногое к этим обширным материалам. Но книгу Муратова я считаю односторонней, а переписка Черткова с моим отцом — это пока необработанный материал.

Чертков, как Алкивиад, был богат и знатен. Высокого роста, стройный, красивый, с орлиным носом, он в молодости, в мундире конногвардейца, был чрезвычайно эффектен, что можно видеть по его портрету работы Крамского. Чертковы принадлежали к высшему петербургскому обществу, из которого выходили флигель-адъютанты, генерал-адъютанты, генерал-губернаторы и т. п. Отец Владимира Григорьевича был генерал-адъютантом у Александра II и Александра III; мать, рожденная Чернышева-Кругликова, также происходила из аристократической семьи и была близка с императрицей Марией Федоровной.

Во время службы в конногвардейском полку В. Г. Чертков, по собственному признанию, вел жизнь порочную — пил, играл и развратничал. Однако со временем эта жизнь ему опротивела, и он с несколькими своими приятелями стал искать бескорыстной и полезной деятельности. Он вышел в отставку и, по совету своего приятеля Рафаила Алексеевича Писарева, занялся земскими делами и благотворительной деятельностью. В имении Чертковых Лизиновке Владимир Григорьевич учредил ремесленную школу, приемный покой, ссудо-сберегательное товарище-

ство и т. п. Но это его мало удовлетворяло. В то время он горячо и искренно искал такую веру и такое дело, которым он мог бы вполне отдаться. Ему, как человеку с сильной волей и в высшей степени самолюбивому, нужна была деятельность, которая соответствовала бы его убеждениям и в которой в то время он мог бы играть выдающуюся роль. Но он еще не выяснил себе своих убеждений.

Мать Черткова была последовательницей евангелического учения Редстока. Владимир Григорьевич считал себя христианином, но сомневался в православной церковной вере; редстокизм также его не удовлетворял. И вот, разочарованный, на перепутье, не зная во имя чего жить и действовать, он встретился и сошелся с моим отцом, который незадолго перед тем также стоял на перепутье, мучительно сомневался и, наконец, выработал веру, которую старался применять к жизни.

Отец отнесся к Владимиру Григорьевичу дружественно, и вскоре между ними установилась тесная дружба. Отец относился к нему с трогательной нежностью. Он много раз ему писал о своей любви к нему; в своем дневнике 6 апреля 1884 года, после посещения его Чертковым, записал: «Он удивительно одноцентрен со мною».

В следующих строках я постараюсь выяснить причины исключительного пристрастия моего отца к Владимиру Григорьевичу.

Во-первых, отец во всю свою жизнь был очень одинок. Он рано лишился родителей. Как сознательно, так и бессознательно он искал друга, с которым мог бы быть вполне откровенным, которого бы он любил и который отвечал бы ему тем же. Это выражено в «Отрочестве» в дружбе Н. Иртеньева с Нехлюдовым. Об этом же он писал в дневнике 1851 года. Старший его брат Николай отчасти восполнял его одиночество, но это был брат, а не друг, о котором он мечтал, и когда в 1860 году Николай Николаевич умер, отец сильнее почувствовал свое одиночество. В 1862 году он женился. Жена, семья, дети на время заглушили его тоску, но в начале 80-х годов семейная жизнь уже не удовлетворяла его, тогда же возник его разлад с женой. Потребность в дружбе проявилась с новой силой. В это-то время он и сблизился с Чертковым. Их первое знакомство состоялось в конце октября 1883 года.

Второй причиной сближения моего отца с Чертковым были некоторые черты характера последнего: его презре-

ние к общественному мнению, его смелая независимость по отношению к власти имущим, его готовность пострадать за свои убеждения и особенно его настойчивость в достижении задуманного. Отец не обращал внимания на недостатки его характера.

В Черткове чередовались и резко различались два противоположные настроения: первое — мрачное, раздражительное, второе — оживленное и светливое. Когда на него находило первое настроение, он бывал неприятен, недобр и даже груб; когда же наступало второе, он бывал добродушен и просил забыть те неприятности, которые говорил кому-либо, будучи в мрачном настроении.

Третьей причиной дружбы отца с Чертковым был разрыв последнего с высшим петербургским обществом. В 50-х годах отец бывал в этом обществе. Разумеется, он, свободно высказывавший свои мысли и любивший независимость, не мог подойти к обществу, постоянно присматривающемуся к дирижерской палочке из царского дворца. Чертков — видный представитель этого общества — отказался от него, принесся в жертву своим убеждениям все те выгоды, которые он мог бы там иметь. Отец высоко ценил эту жертву.

В 80-х годах Чертков еще дружелюбно относился к нашей семье, в том числе и к матери, и наши семейные, особенно сестры Таня и Маша, отвечали ему тем же.

В 1884 году отец задумал создать серьезную народную литературу, доступную для рабочего народа, и заменить лубочные издания хорошими и дешевыми книгами, брошюрами и картинками. До этого времени невежественные издатели сотнями тысяч издавали, а разносчики разносили по всей России дешевые лубочные книжки и картинки, сочиненные за гроши малокультурными писателями и живописцами. Помню, как отец однажды спросил нас: кто самый распространенный писатель в России? И сам ответил: Кассиров. Никто из присутствовавших не слышал этого имени. Кассиров (псевдоним Ивина) был автором многих очень распространенных лубочных повестей вроде «Английского милорда Георга», «Битвы русских с кабардинцами», «Ерусалана Лазаревича» и др.

Отец предложил Черткову заняться народным издательством, и Чертков с увлечением ухватился за это дело. Результатом было основание издательства, названного «Посредником». Материальной стороной дела стал заве-

довать И. Д. Сытин, тогда еще один из торговцев лубочной литературы. Учреждение «Посредника» сильно поощрило моего отца писать народные рассказы. Эти рассказы и были первыми изданиями «Посредника». Чертков возглавлял «Посредник» до 1893 года; в этом году он передал это дело И. И. Горбунову-Посадову и П. И. Бирюкову. С этого времени деятельность Черткова приняла несколько другое направление. Под влиянием Льва Николаевича он стал собирать сведения о сектантах, хлопотать о них и помогать им. В этих делах нельзя не оценить его смелость и готовность пострадать за свои убеждения. Воззвание о помощи духоборам под заглавием «Помогите!» было подписано Чертковым, П. И. Бирюковым и И. М. Трегубовым. Чертков смело его распространял. Как известно, все трое были сосланы: Чертков — за границу, Бирюков и Трегубов — в Остзейский край. Бирюков впоследствии также уехал за границу. В Англии Чертков занялся изданием запрещенных писаний Л. Н. Толстого и периодического органа «Свободное слово».

Нельзя сказать, что Чертков и Лев Николаевич особенно часто видались. Чертков жил либо в Петербурге, либо в имении своих родителей Лизинковке, либо на своем хуторе Ржевске Воронежской губернии; в Москве он бывал временно или проездом. Только летом 1894, 1895 и 1896 годов он часто бывал в Ясной Поляне, поселившись на летние месяцы в пяти верстах от нас, в деревне Деменке. С 1897 по 1907 год он жил в Англии. Зато они обменялись огромным количеством писем. Отец откровенно сообщал Черткову о своих работах и семейных делах, Чертков также откровенно писал ему о своей жизни, высказывал свои мнения о его писаниях, давал советы и даже делал в них свои «предположительные поправки».

О В. Г. Черткове, отношениях его к нашей семье в 900-х годах и о роли, которую он сыграл в составлении и осуществлении завещания моего отца, сказано в главе «О последних днях жизни Толстого».

МУЗЫКА В ЖИЗНИ МОЕГО ОТЦА

Я не встречал в своей жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец. Слыша музыку, Лев Николаевич не мог не слушать ее; слушая же нравившуюся ему музыку, он волновался, у него что-то сжималось в горле, он всхлипывал и проливал слезы. Беспричинное волнение и умиление были те чувства, которые в нем возбуждала музыка. Иногда музыка волновала его против его воли, даже мучила его, и он говорил: «Que me veut cette musique?»¹ Это действие музыки, независимо от рассудочного отношения к ней, особенно ярко описано им в «Крейцеровой сонате»:

«Вообще страшная вещь музыка,— говорит Позднышев.— Что такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что делает?» Таково было непосредственное действие музыки на Л. Н. Толстого в продолжение всей его жизни, начиная с детства и кончая последним годом его жизни, когда он говорил, что, если бы провалилась вся европейская цивилизация, он бы пожалел только о музыке.

Поэтому, при полной искренности Льва Николаевича и всегдашнем старании его выяснить самому себе смысл переживаемых им чувств и впечатлений, мнения его о значении музыки вообще, о месте музыки в жизни человечества и, в частности, его мнения о тех или других композиторах, о тех или других музыкальных произведениях получают особый интерес.

¹ Чего хочет от меня эта музыка?

Какие были первые музыкальные впечатления детства Льва Николаевича? Прежде всего это были впечатления от народных песен, распеваемых на деревне в Ясной Поляне. Затем это была игра на фортепиано и пение в доме Толстых и у их знакомых. В те времена — в 30-х и 40-х годах — концертов давалось мало, к тому же Толстые большей частью жили в деревне; но зато любительская музыка в образованных семьях процветала. Тогдашние любители в самом деле любили музыку, а некоторые хорошо знали ее. Одним из таких любителей был В. И. Юшков, муж тетки Л. Н. Толстого, порядочно игравший на фортепиано; воспитательница Льва Николаевича Т. А. Ергольская также недурно играла на фортепиано. Ее репертуар состоял из Гайдна, Моцарта, Фильда, Дюссэка и первых сонат Бетховена. В «Детстве» и «Отрочестве» Толстой, повидимому, вспоминает о ее игре, описывая впечатления Николеньки от игры его матери. Замечу, что мать Льва Николаевича играла на фортепиано и, по рассказам знавших ее, была музыкальна. Сестра Льва Николаевича, Марья Николаевна, с детства играла на фортепиано. В «Детстве» и «Отрочестве» Толстой, повидимому, думал об ее игре, когда писал про Любочку: «Любочка играет очень отчетливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена».

В Казани Л. Н. Толстой стал сам учиться музыке, отчасти самоучкой, отчасти у плохих учителей. В «Юности», в главе «Мои занятия», у Николая Иртеньева является страсть к музыке, но, как говорит герой повести, «в этом отношении я действовал... без истинного призвания и без малейшего понятия о том, что может дать искусство, и как нужно приняться за него, чтобы оно дало что-нибудь. Для меня музыка или, скорее, игра на фортепиано была средством прельщать девиц своими чувствами... Выбор пьес был известный — вальсы, галопы, романсы (*aragés*) и т. п. ...Но... вообразив себе, что классическая музыка легче, и отчасти для оригинальности, я решил вдруг, что люблю ученую немецкую музыку, стал приходить в восторг, когда Любочка играла «*Sonate pathétique*», несмотря на то, что, по правде сказать, эта соната давно уже опротивела мне до крайности, сам стал играть Бетховена и выговаривать: Беетховен. Сквозь всю эту путаницу и притворство, как я теперь вспоминаю, во мне, однако, было что-то вроде таланта, потому что часто музыка делала на

меня до слез сильное впечатление, и те вещи, которые мне нравились, я кое-как умел сам без нот отыскивать на фортепиано; так что ежели бы тогда кто-нибудь научил меня смотреть на музыку, как на цель, как на самостоятельное наслаждение, а не на средство прельщать девиц быстротой и чувствительностью своей игры, может быть, я бы сделался действительно порядочным музыкантом».

Вероятно, Л. Н. Толстой начал свое музыкальное образование в том же роде, как и Николай Иртенев. Тогда учились чему-нибудь и как-нибудь. В 1847 году он пишет в своем дневнике, что одна из целей его жизни состоит в том, чтобы «достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи». И в следующие три года его молодых исканий, когда он еще не определил своей будущей деятельности, жил то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, он действительно много занимался музыкой. Он привез с собой в Ясную Поляну одного пианиста, немца Рудольфа, и брал у него уроки музыки. Это был талантливый музыкант, но тип богемы. Легкомысленный, кутящий человек, Рудольф недолго прожил в Ясной Поляне и затем вскоре умер. От него остались кое-какие композиции, из которых мне известны «Hexengalop» и две «Кавалерийских рыси». Эти пьесы были когда-то напечатаны. Одну из них Лев Николаевич знал наизусть и нередко игрывал. В этот период его жизни он очень серьезно относился к своим музыкальным занятиям. Он записал тогда (14 июня 1850 г.) целое рассуждение о музыке — «Основные начала музыки и правила к изучению оной»¹. В этом рассуждении, между прочим, есть следующее точное определение музыки: «Музыка есть совокупность звуков, поражающих нашу способность слуха в тройном отношении: 1) в отношении пространства, 2) в отношении времени, 3) в отношении силы». И далее: «Музыка есть средство возбуждать через звук известные чувства или передавать оные».

Одним из воспоминаний этого периода жизни Льва Николаевича может служить небольшой вальс, сочиненный им не позже 1849 года в ланнеровском роде; впоследствии он его иногда игрывал. Сочинение этой пьесы приписывается ему, но, насколько мне известно, это не совсем верно: он ее сочинил с помощью какого-то музыканта.

¹ Юбилейное изд., т. 1, стр. 244—245.

В эти же годы Лев Николаевич, отчасти под влиянием своего брата Сергея Николаевича, увлекался цыганским пением и замышлял написать повесть из цыганского быта. В те времена опереточные арии и модные вальсы еще не заполняли репертуара цыган, и цыгане пели или настоящие цыганские песни, или, главным образом, русские народные песни, получавшие в их исполнении своеобразную прелесть. Об этих песнях Лев Николаевич всегда отзывался сочувственно; о многих он упоминает в своих произведениях, например, в «Двух гусарах» или в «Живом трупе». Толстой всегда считал, что чувства, выражаемые цыганским пением, искренни и заражают слушателей; поэтому цыганское пение есть настоящее искусство, достигающее своей цели, — хотя, может быть, оно искусство низшего порядка.

В следующее за тем пятилетие своей жизни, когда Л. Н. Толстой служил на военной службе, ему мало приходилось заниматься музыкой или слушать ее, хотя он не упускал случая, когда таковой представлялся. За это время он слышал больше всего казацкие и солдатские песни. Во многих местах «Военных рассказов» и «Казаков» он с любовью вспоминает о них.

Уже в этот период своей жизни Толстой старается выяснить себе, почему музыка так сильно действует на слушателей. В первоначальной редакции «Детства» он высказывает следующее свое мнение о музыке — мнение, почти тождественное с тем, которое он высказал гораздо позже, в 1906 году: «Музыка не действует ни на ум, ни на воображение. В то время, как я слушаю музыку, я ни об чем не думаю и ничего не воображаю, но какое-то странное сладостное чувство до такой степени наполняет мою душу, что я теряю сознание своего существования, и это чувство — воспоминание. Но воспоминание чего? Хотя ощущение сильно, воспоминание неясно. Кажется, как будто вспоминаешь то, чего никогда не было. Основание того чувства, которое возбуждает в нас всякое искусство, не есть ли воспоминание?.. Чувство музыки не происходит ли из воспоминания о чувствах и переходах от одного чувства к другому?.. Платон в своей «Республике» полагал непременно условием, чтобы она выражала благородные чувства. Каждая музыкальная фраза выражает какое-нибудь чувство — гордость, радость, печаль, отчаяние и т. д., или одно из бесконечных сочетаний этих чувств

между собою. Музыкальные сочинения, не выражающие никакого чувства, составлены с целью или выказать ученость, или приобрести деньги, одним словом, в музыке, как и во всем, есть уроды, по которым судить нельзя. <К числу этих уродов принадлежат попытки музыкой выразить образы и картины>. Ежели допускать, что музыка есть воспоминание о чувствах, то понятно будет, почему она различно действует на людей. Чем чище и счастливее было прошедшее человека, тем более он любит свои воспоминания и тем сильнее чувствует музыку; напротив, чем тяжелее воспоминания для человека, тем менее он ей сочувствует, и от этого есть люди, которые не могут переносить музыку»¹.

В следующий период своей жизни (1856—1862), вернувшись из Севастополя уже известным писателем, Л. Н. Толстой подолгу жила в Москве и Петербурге и два раза ездил за границу. В это время он не пренебрегал возможностью познакомиться со всем выдающимся в области музыки. Многие приятели и знакомые его были большими любителями музыки. Таковыми были два брата Иславины, Зыбин, В. Перфильев, Ар. Дм. Столыпин, Киреева, кн. Одоевский и др. Некоторые были сами порядочными исполнителями, другие устраивали музыкальные вечера, приглашая лучших артистов. К этому же времени относится знакомство Льва Николаевича с Ник. Гр. Рубинштейном, которого он высоко ценил как музыканта и вместе с которым он обсуждал учреждение музыкального общества в Москве. Эта мысль впоследствии была осуществлена братьями Рубинштейнами, основавшими императорское музыкальное общество.

В двух рассказах, написанных за это время, в «Люцерне» и «Альберте», действующие лица — музыканты. Тип Альберта Лев Николаевич создал под впечатлением своего знакомства с одним талантливым скрипачом, Кизеветтером, погубившим себя разгульной жизнью. Замечательно описание впечатления, произведенного на слушателей игрой Альберта. Это описание само по себе музыка:

«В комнате пронесся чистый странный звук и сделалось совершенное молчание.

Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным

¹ Юбилейное изд., т. 1, стр. 182—183.

светом, вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушал покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии»¹.

За это время на Льва Николаевича особенно сильное впечатление произвели две оперы: «Фрейшютц» Вебера и «Дон-Жуан» Моцарта, особенно «Дон-Жуан». Вообще в своей жизни Лев Николаевич слышал не много опер; он не любил этот род искусства и находил, что нельзя соединять два искусства — музыку и драму, или даже три искусства, если признать, что и живопись (декорации) также участвует в впечатлениях, производимых оперой. От такого совмещения, по его мнению, действие каждого искусства не только не усиливается, но, наоборот, ослабляется. Однако он делал исключение для такой оперы, как «Дон-Жуан», так как в «Дон-Жуане» музыка изображает чувства действующих лиц; лиризм этой оперы, по его мнению, искупает общий всем операм недостаток вместительства музыки и драмы. В этом он сошелся с П. И. Чайковским, который, как известно, очень любил Моцарта и считал «Дон-Жуана» лучшей оперой в мире.

Занимаясь начальными школами в Ясной Поляне и ее окрестностях, Лев Николаевич обратил внимание на преподавание в них пения, сам учил пению и даже вместе с учениками ездил в церковь петь хором на клиросе. Мною записан романс «Ключ», который отец распевал со своими учениками. Этот благозвучный старый романс в итальянском стиле, автор которого мне неизвестен, упоминается

¹ Юбилейное изд., т. 5, стр. 30.

также в «Войне и мире», его пели в доме Ростовых. Между прочим, обучая пению своих учеников, Л. Н. Толстой впервые в России применил цифровой метод по системе Шеве.

В Отчете о яснополянской школе за ноябрь и декабрь 1862 года Лев Николаевич написал небольшую статью, в которой уже проглядывают его позднейшие мысли об искусстве. Он пишет:

«Я делал... наблюдения относительно двух отраслей наших искусств, более мне знакомых и некогда страстно мною любимых, — музыки и поэзии. И страшно сказать я пришел к убеждению, что все, что мы сделали по этим двум отраслям, все сделано по ложному, исключительному пути, не имеющему значения, не имеющему и будущности и ничтожному в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе. Я убедился, что лирическое стихотворение, как, например, «Я помню чудное мгновенье», произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о «Ваньке Ключнике» или напев «Вниз по матушке по Волге», что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен»¹. Эти парадоксальные мысли несколько смягчены в статье «Об искусстве», но в сущности одни и те же.

Мысли о том, что такое музыка, в чем секрет ее действия и для чего она служит, занимали Льва Николаевича также и в эту эпоху его жизни. За границей, вспоминая свой разговор с романистом Ауэрбахом, 21 апреля 1861 года, он записал в своем дневнике слова Канта, что музыка есть «pflichtloses Genuss» (наслаждение, чуждое долгу).

С 1862 года Толстой поселился в Ясной Поляне, где прожил почти безвыездно до 1881 года. За это время он редко имел случай слышать концертную музыку. Зато в Ясной Поляне процветала любительская музыка. Там подолгу гостил К. А. Иславин, хороший музыкант и порядочный пианист, бывала сестра Льва Николаевича Марья Николаевна и др.; каждое лето приезжала его свояченица, Т. А. Кузминская, очень хорошо певшая. Лев Николаевич

¹ Юбилейное изд., т. 8, стр. 114.

восхищался тембром ее голоса и ее манерой петь и обыкновенно аккомпанировал ей. Ее репертуар состоял главным образом из романсов Глинки, а также Даргомыжского, Чайковского, Шумана и итальянцев.

В 70-х годах Толстой сам увлекся музыкой до того, что играл по три-четыре часа в день. Впечатление от его игры — одно из моих ярких детских впечатлений. Бывало, когда мы, дети, ложились спать, отец садился за фортепиано и играл до двенадцати или часа ночи, иногда в четыре руки с матерью. Хорошо помню, как в то время он играл некоторые сонаты Моцарта, Вебера и Бетховена (первого его периода), некоторые вещи Шопена, «Jugendalbum» Шумана, «Accelerationen Walzer» Штрауса, «Рысь» Рудольфа и пр.; как он пытался играть некоторые недоступные ему по технике пьесы, как, например, «Скерцо» В-молл Шопена, симфонические этюды Шумана или «Роème d'amour» Гензельта, и как он с матерью играл в четыре руки симфонии Гайдна и Моцарта, септет Бетховена и другие пьесы. Помню первые сладостные впечатления от музыки, слышанной мною издали, с верхнего этажа, где играл отец, — впечатления, смешанные с детскими грезами, наполовину бессознательными, переходившими понемногу в сон. Особенно хорошо почему-то запомнились мне первые такты As-dur'ной сонаты Вебера, которая очень нравилась отцу. Впоследствии он высказывал свое удивление Н. Рубинштейну, что эта соната и пьесы Моцарта и Гайдна почти никогда не исполняются в концертах. Рубинштейн отвечал, что эти вещи трудно играть, потому что надо играть их безукоризненно.

Вспоминая теперь, как играл отец, я думаю, что он играл ритмично и выразительно, но иногда он понимал пьесу своеобразно, не совсем так, как хотел композитор, а недостаток техники мешал ему вполне выразить то, что он хотел. Игра на фортепиано требовала от него больших усилий. Его неразвитые пальцы ему с трудом повиновались, он сгибался, потел, но играл с большим увлечением.

В начале 70-х годов событием в музыкальном мире Ясной Поляны был приезд одного свойственника Льва Николаевича, Ипполита Михайловича Нагорнова, замечательного скрипача, мало выступавшего в концертах в России, но имевшего когда-то успех в Италии и Франции. Он много играл в Ясной Поляне, между прочим, «Крейцерову сонату», которая именно тогда произвела особенно

сильное впечатление на Льва Николаевича. Может быть, уже в то время зародились те мысли и образы, которые впоследствии были так ярко выражены в повести «Крейцера соната». Может быть, даже некоторые черты И. М. Нагорнова послужили для характеристики Трухачевского. Кроме этой сонаты, я помню, что Льву Николаевичу также очень нравились в исполнении И. Нагорнова другие сонаты для фортепиано и скрипки Бетховена, сонаты Вебера, Шуберта и Моцарта (особенно анданте es-dur'ной сонаты), легенда, полонезы и мазурки Венявского.

В 1876 году, в одну из своих поездок в Москву, Л. Н. Толстой познакомился через Николая Рубинштейна с П. И. Чайковским.

Еще молодым правоведом, с первого появления в печати произведений Толстого, Петр Ильич полюбил этого писателя больше остальных. «Когда я познакомился с Толстым,— писал Петр Ильич десять лет спустя,— меня охватил страх и чувство неловкости перед ним... Глубочайший сердцевед в писании оказался в своем обращении с людьми простой, цельной, искренней натурой, весьма мало обнаруживающей то всеведение, которого я боялся... Ему просто хотелось поболтать о музыке, которой он в то время интересовался. Между прочим, он любил отрицать Бетховена и прямо выражал сомнения в его гениальности. Это уже черта, совсем не свойственная великим людям: низводить до своего непонимания всеми признанного гения — свойство ограниченных людей»¹.

Я не буду касаться вопроса, насколько Чайковский был прав в этом упреке Толстому, замечу только, что сам Чайковский в своем дневнике сознается, что он не любит Бетховена, хотя и преклоняется перед ним.

В это свидание с Львом Николаевичем Петр Ильич устроил с помощью Н. Рубинштейна музыкальный вечер, который произвел очень сильное впечатление на Льва Николаевича. «Может быть, никогда в жизни я не был так польщен,— пишет Петр Ильич,— как когда Л. Толстой, слушая анданте моего квартета и сидя рядом со мной, залился слезами»².

¹ М. Чайковский, Жизнь Петра Ильича Чайковского, М., I, стр. 519.

² Там же, стр. 519.

Вернувшись в Ясную Поляну, Лев Николаевич послал Чайковскому сборник народных песен с просьбой: «Обработайте их в моцартовско-гайдновском роде, а не бетховено-шумановско-берлиозо-искусственном, ищущем неожиданного, роде»¹.

На это Петр Ильич ответил, что «песни записаны рукой неумелой и носят на себе разве лишь одни следы своей первобытной красоты. Самый главный недостаток — это что они втиснуты искусственно и насильственно в правильный, размеренный ритм. Кроме того, большинство этих песен — тоже, повидимому, насильственно — записано в торжественном D-dur'e, что опять-таки несогласно со строем настоящей русской песни, почти всегда имеющей неопределенную тональность, ближе всего подходящую к древним церковным ладам». «Запись народной песни, согласно с тем, как ее исполняет народ, — пишет далее Чайковский, — необычайно трудная вещь и требует самого тонкого музыкального чувства и большой музыкально-исторической эрудиции... Но материалом для симфонической разработки ваши песни служить могут, и даже очень хорошим материалом, которым я непременно воспользуюсь так или иначе»².

После этого отношения между Львом Николаевичем и Чайковским скоро прекратились — отчасти потому, что Чайковский разочаровался, не найдя в Толстом того властителя дум, которого он думал встретить, а отчасти потому, что Петр Ильич вообще избегал людей, не близко ему знакомых. «Я вынес убеждение, — пишет Чайковский в одном письме к Мекк, — что Толстой человек несколько

¹ М. Чайковский, Жизнь Петра Ильича Чайковского, М., I, стр. 520—521.

² Из приведенных писем не видно, о каких песнях идет речь. Я предполагаю, что эти песни не записаны Львом Николаевичем, а что это были песни Кириши Данилова. В то время этот сборник был библиографической редкостью. Думаю я это, во-первых, потому, что Чайковский в своем письме пишет, что эти песни написаны в торжественном D-dur'e, и говорит про какие-то былины, а как раз в сборнике Кириши Данилова большинство напевов записано в D-dur'e и в нем много былин. Во-вторых, думаю это потому, что когда-то в библиотеке Ясной Поляны был сборник Кириши Данилова, а потом он исчез; повидимому, он был послан Чайковскому. Напевы Кириши Данилова очень нравились моему отцу. Он даже подобрал аккомпанемент к одной из них, а именно к песне «Высота, высота ль поднебесная, глубота ль, глубота океан-морья». Этой песней впоследствии воспользовался Римский-Корсаков для песни Садко.

парадоксальный, но прямой, добрый, по-своему даже чуткий к музыке, но все-таки знакомство его не доставило мне ничего, кроме тягости и мук, как и всякое знакомство».

В своих письмах Петр Ильич неоднократно писал о Толстом. Замечательно, что он, написавший более десяти опер, относился к оперной форме так же, как и Л. Н. Толстой, — критически. «Лев Толстой, — пишет он Мекк, — советовал мне бросить погоню за театральным успехом, а в «Воине и мире» он заставляет свою героиню недоумевать и страдать от фальшивой условности оперного действия. Человек, подобно вам, не живущий в обществе (и вследствие того отрешившийся от всякой условности) или, подобно Толстому, проводивший долгие годы безвыездно в деревне, занимаясь исключительно делами семейными, литературой и школьным делом, должен живее другого чувствовать всю фальшивость оперной формы. Да и я, когда пишу оперу, чувствую себя стесненным и несвободным. Тем не менее нужно признать, что многие первостепенные музыкальные красоты принадлежат драматическому роду музыки, и авторы их были вдохновлены именно драматическими мотивами».

Чайковский сходил с Толстым также в любви к «Дон-Жуану» Моцарта и в нелюбви к либретто вагнеровских опер. Сoglалшался он также с Львом Николаевичем, что художник должен руководствоваться внутренним побуждением, но не своим успехом. «Толстой убедил меня, — пишет Чайковский, — что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, тот не вполне художник; его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно усвоил эту истину».

Несмотря на некоторое разочарование после личного знакомства, Чайковский, прочтя «Смерть Ивана Ильича», пишет в одном письме: «Более чем когда-либо убеждаюсь, что величайший из всех художников-писателей, когда-либо бывших — есть Толстой».

В конце октября 1893 года, узнав, что Чайковский умер (Чайковский умер 25 октября этого года), Лев Николаевич писал в письме жене: «Мне очень жаль Чайковского, жаль, что как-то между нами, мне казалось, что-то было. Я у него был, звал его к себе, а он, кажется, был обижен, что я не был на «Евгении Онегине». Жаль как

человека, с которым что-то было чуть-чуть неясно, больше еще, чем музыканта. Как это скоро, и как просто, и натурально, и ненатурально, и как мне близко»¹.

Из этого письма видно, что Лев Николаевич, бывши в Москве одновременно с Чайковским, хотел возобновить свое знакомство с ним. Из писем и из дневника Чайковского видно, почему это знакомство не возобновилось.

С 1881 по 1901 год Лев Николаевич проводил почти все зимы в Москве. В его душе уже произошел тот кризис, который перевернул все его прежнее мировоззрение. В 1897 году он написал свою статью об искусстве («Что такое искусство?»), вопросы которого, как он сам пишет, занимали его пятнадцать лет перед этим; в этой статье он взглянул на искусство вообще и на музыку в частности с религиозной точки зрения. В эти годы, несмотря на то, что вся его душевная и умственная деятельность была направлена на религиозные вопросы, музыка продолжала так же сильно, как и раньше, непосредственно действовать на него. Только, может быть, действие это стало несколько иным. Музыка стала не столько умилять, сколько волновать и даже раздражать его. В «Крейцеровой сонате» Позднышев так судит о музыке: «Говорят, музыка действует возвышающим душу образом — вздор, неправда! Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом». И далее: «Хоть бы эту «Крейцерову сонату», первое престо. Разве можно играть в гостиной, среди декольтированных дам, это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно».

Я помню, как во время писания «Крейцеровой сонаты» Лев Николаевич старался выяснить себе, какие именно чувства выражаются первым престо «Крейцеровой сонаты»; он говорил, что введение к первой части предупреждает о значительности того, что следует, что затем

¹ «Письма к жене», М. 1913, стр. 458.

неопределенное волнующее чувство, изображаемое первой темой, и сдержанное, успокаивающееся чувство, изображаемое второй темой,— оба приводят к сильной, ясной, даже грубой мелодии заключительной партии, изображающей просто чувственность. Впоследствии, однако, Лев Николаевич отказался от мысли, что эта мелодия изображает чувственность. Так как, по его мнению, музыка не может изображать то или другое чувство, а лишь чувства вообще, то и эта мелодия есть изображение вообще ясного и сильного чувства, но какого именно, определить нельзя.

Не знаю, когда именно Лев Николаевич в первый раз слышал «Крейцерову сонату». Незадолго же перед тем, как он писал свою повесть, он ее слышал в исполнении несовершеннолетнего, а именно, тогда играли эту сонату я и скрипач Лясотта.

В этот московский период своей жизни Лев Николаевич почти не бывал в концертах, находя, что в концертах трудно слушать музыку, так много в их обстановке ненужного и искусственного, и что современные концерты устраиваются только для приятного препровождения времени богатых и праздных людей. В этот период его жизни из опер он видел, если я не ошибаюсь, только «Волшебную флейту» Моцарта и два акта из «Зигфрида», к которому отнесся совершенно отрицательно. Тем не менее он за это время переслушал много музыки; многие музыканты приезжали к нему, играли и пели для него. Назову тех, кого помню: Антон Рубинштейн, Аренский, Игумнов, С. И. Танеев, Гольденвейзер, Гофман, Шаляпин, Муромцева-Климентова, Скрябин, Брандуков, Гржимали. Одним из певцов, которого особенно любил слушать Лев Николаевич, был Николай Михайлович Лопатин. Лопатин записывал русские народные песни и сам пел их так, как поет их народ, как говорится — «полевым голосом».

Летом в Ясной Поляне процветала любительская музыка. Лев Николаевич не только снисходительно относился к такой музыке, но иногда даже предпочитал любительскую музыку профессиональной. В этом он иногда доходил до крайних мнений. Помню, он как-то сказал, что особенно любит слушать тех, кто поет или играет (на фортепиано, гитаре или балалайке), не зная нот, потому что слух и память у них, несомненно, хорошо развиты и потому, что они, наверное, хорошо знают и любят то, что играют или поют.

Он нередко с удовольствием слушал пение своих двух старших дочерей Тани и Маши, особенно когда они пели деревенские яснополянские песни, пение его свояченицы, Т. А. Кузминской, импровизированные хоры и игру на балалайках яснополянской молодежи, мою или еще чью-нибудь любительскую игру на фортепиано. Бывало, он вечером скажет мне: «Поиграй». Тогда я садился за фортепиано, а он отворял двери своего кабинета и, раскладывая пасьянс, читая или просто отдыхая, слушал. Иногда он спрашивал про незнакомую ему пьесу, что это за вещь, иногда он заказывал играть ту или другую пьесу, например, старинные гавоты, Шопена, Шумана (например, «Waldesgespräch» или «Nachtstück»), Шуберта (например, «Impromptu» as-dur), Грига («Люблю тебя»), Годара («Au matin») и др. Помню, как раз он мне сказал: «Сыграй три полонеза: Шопена (cis-moll), Моношко (b-dur) и Вебера (e-dur)».

Впрочем, замечу, что далеко не всегда любительская музыка в Ясной Поляне доставляла ему удовольствие. Он не мог не прислушаться к звукам музыки, хотя бы они долетали до него через три запертые двери, а это мешало ему заниматься, думать и писать. Вспомним, как словами кухарки в «Плодах проевщения» он осмеял богатых и праздных людей, занимающихся музыкой «для разгулки времени»: «Барышня, как глаза продерет,— говорит кухарка,— так сейчас к фортепианам, и валяй. А эта, что живет, учительша, стоит, ждет, бывало, скоро ли опростаются фортепианы. Как отделалась одна, давай эта закачивать. А то двое фортепиан поставят, да по двое, вчетвером запузывают».

В последние годы своей жизни (1901—1910) Лев Николаевич окончательно поселился в Ясной Поляне. Музыка, так же как и прежде, волновала и трогала его, но уже меньше раздражала и мучила, чем в те годы, когда писалась «Крейцера соната». За это время многие музыканты приезжали к нему в Ясную Поляну. Там побывали, между прочим, чешский квартет, Сибор, Шор вместе со своим трио, Ванда Ландовска, Оленина-д'Альгейм, В. Философова, С. И. Танеев, Аренский и др.; каждое лето вблизи Ясной Поляны проживал профессор Московской консерватории А. Б. Гольденвейзер, нередко игравший для Льва Николаевича.

Как мы видели, Лев Николаевич в продолжение всей своей жизни страстно любил музыку и имел возможность знать и действительно знал почти все, что было выдающегося в музыке в его эпоху, кроме новейших композиторов. Поэтому его мнения о тех или других композиторах, о тех или других пьесах должны быть особенно интересны. Какая же музыка сильнее всего действовала на него? Какую музыку он больше всего любил?

Вопрос этот осложняется тем, что Лев Николаевич далеко не всегда считал наилучшей ту музыку, которая ему всего больше нравилась; он говорил, что он, «кроме того, что недостаточно сведущ во всех родах искусства, принадлежит к сословию людей с извращенным ложным воспитанием вкусом и потому может по старым усвоенным привычкам ошибаться, принимая за абсолютное достоинство то впечатление, которое произвела на него вещь в молодости»¹.

В одном — в высокой оценке народного творчества и любви к нему — его рассудок и непосредственное чувство сходились. Он не только находил, что народная музыка есть настоящее искусство, но непосредственно любил ее.

Что такое народная музыка? Это далеко не все то, что поет и играет народ. Музыкальный фольклор — это та музыка, которая создана самим народом. Как она создавалась, мы не знаем. Она держится долго, до тех пор, пока держится быт, ее создавший. Ее заменяет культурная музыка.

Те, кто не застали цветения русской народной музыки, едва ли могут себе представить ее прежнее распространение и ее значение в жизни русского народа, особенно в деревне. Тогда пели при самых разнообразных обстоятельствах; вся жизнь проходила под звуки песен. Пели бабы, идучи на работу и возвращаясь с нее; пела молодежь на хороводах и посиделках; ямщики затягивали свои протяжные песни; бурлаки пели свои тягучие песни с ляжкой на плече и свои веселые песни на отдыхе; грузчики, плотники и каменщики поднимали и передвигали тяжести под звуки «Дубинушки» или подобной же песни; у рекрутов, солдат, ремесленников, даже дворовых были свои песни; свадьбы сопровождалась бесконечными обрядовыми песнями: при сватовстве, на девичниках, при проводах в цер-

¹ «Что такое искусство?», гл. XVI.

ковь и возвращении из нее; на похоронах и поминках раздавались надрывающие сердце причитания; на праздниках, например на троицын день, пелись особые обрядовые песни и т. д., и т. д. Мало-мальски музыкальные уши легко запоминали эти песни; их воспринимали еще в детстве. Можно было видеть, как где-нибудь на завалинке сидели маленькие девочки и подбирали и заучивали какую-нибудь песню.

Лев Николаевич жил в годы наибольшего распространения русской народной песни. Он с детства слышал, как в Ясной Поляне и других деревнях бабы «играли» свои песни (в Ясной Поляне говорят «играть» песни вместо «петь»), слышал народные песни на Волге, в Казанской и Самарской губерниях, у казаков, у солдат и в других местах. Упомяну о некоторых песнях, которые он с удовольствием слушал. Это яснополянские песни: «Как по морю, морю синему», «Как под лесом», «Не будите меня, молоду», «Соловей с кукушечкой», «Гуляй, гулюшка», «Улица широкая», свадебные песни и др. Назову еще следующие песни, о которых он отзывался с похвалой: «Дубинушка», «Вниз по матушке по Волге», «Эй, ухнем», «Сени мои, сени», «Сад, ты мой сад», «Как под яблонькой одной», «Во пиру была», «Здравствуй, милая, хорошая моя», «Светит месяц» и др. Ниже будет сказано о народных песнях, исполненных при нем артистами.

В 1855 году, находясь в осажденном Севастополе, Лев Николаевич сочинил сатирическую песню, в которой осмеял нераспорядительность начальства, приведшую к поражению в сражении при Черной речке. Офицеры и, вероятно, солдаты распевали эту песню на мелодию одной цыганской песни: «Я цыганка молодая, цыганка не простая, знаю ворожить». Вот несколько куплетов этой песни:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы отбирать...
Долго думали, гадали,
Топографы все писали
На большом листу.
Гладко вписано в бумагу,
Да забыли про овраги,
Как по ним ходить...
Выезжали князья, графы,
А за ними топографы
На Большой редут.

На уру мы зашумели,
Да резервы не поспели,
Кто-то переврал..
На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки!..

Песня оканчивается крепким словом по отношению к тем, «кто туда водил»¹.

В своей семье Лев Николаевич поощрял исполнение народных песен. Иногда он говорил: «Вы бы попели или поиграли». Его дочери Татьяна и Мария пели песни из репертуара яснополянских баб и цыганские песни. К ним присоединялись и другие. Мой брат Миша и Михаил Кузминский хорошо играли песни на балалайках.

Вот несколько песен, исполненных Лопатиным в присутствии Льва Николаевича: «Горы Воробьевские», «Степь моздокская», «Вспомнил, моя любезная», «Подуй, непогодюшка», «Бурлацкая» (Дуняша), «Не шуми ты, мать, зеленая дубравушка», «Размолодчики» и солдатские: «Гремит слава трубой», «Черная галка».

В 1900 году в нашем московском доме пел Ф. И. Шаляпин. Его пение не особенно понравилось отцу, может быть потому, что ему не нравились те пьесы, которые пел Шаляпин, например «Судьба» Рахманинова и «Блоха» Мусоргского; но когда по его просьбе Шаляпин спел народную песню, а именно «Ноченьку», Лев Николаевич с удовольствием его слушал и сказал, что Шаляпин поет эту песню по-народному, без вычурности и подделки под народный стиль.

Нечто в этом же роде произошло, когда в 1909 году в Ясную Поляну приехала М. А. Оленина-д'Альгейм. Лев Николаевич не особенно восхищался ее исполнением разных романсов, но оживился, когда она без аккомпанемента спела несколько рязанских народных песен. «Чарочку», записанную ее братом Александром, он просил повторить.

В Москве в 90-х годах Лев Николаевич слушал и одобрял игру на балалайках Андреева и Трояновского, исполнявших русские песни, аранжированные для этих инструментов.

Отец с удовольствием слушал не только русские народные песни, но и песни других народов. Он любил

¹ Юбилейное изд., т. 4, стр. 307—308.

слушать цыган, когда они пели народные русские и цыганские песни. Он говорил, что цыгане хорошо интерпретируют русские песни. В «Живом труппе» Толстой, очевидно, упоминает те песни, которые больше других ему нравились. В этой песне цыгане поют две подлинные цыганские песни — «Кон'авэла» и «Шэл-мэ-вэрста» и две старинные русские песни — «Лен» и «Не вечерняя заря».

В 900-х годах Лев Николаевич не раз просил поставить на граммофоне пластинку с пением известной Вари Паниной и похваливал ее. Иногда, когда около Ясной Поляны располагались табором так называемые полевые цыгане, он ходил их слушать и смотреть на их пляску.

На Кавказе Лев Николаевич слушал грузинские, калмыцкие, персидские и татарские песни. В Самарской губернии он с удовольствием слушал башкирские мелодии, игранные на курае. Знал он и украинские и белорусские песни. Песни Западной Европы, особенно французские, также ему были знакомы. В Люцерне он с удовольствием слушал нищего музыканта, певшего с «тирольскими переливами».

В 1909 году я показывал ему свои обработки шотландских песен; они ему понравились, а про одну (Cogn rids) он сказал: «Да это русская песня». И в самом деле эта песня похожа на русскую «Светит месяц».

В декабре 1907 года известная артистка Ванда Ландовска, специалистка по игре на клавесине, провела несколько дней в Ясной Поляне и там играла на рояле и привезенном ею клавесине песни разных западных и восточных народов и напевала их. Я был тогда в Ясной Поляне и помню, как отец восхищался ее игрой. О суждениях, им тогда высказанных, есть следующая запись Д. П. Маковицкого:

«Переносит совсем в другой мир,— говорил Л. Н.— У меня был момент, что я забылся, перенесло меня куда-то. Это музыка рабочего народа, серьезная, веселая. Бетховен и Вагнер выросли на ней. Вечером Ванда Ландовска играла польские календы и напевала их, затем — армянские, еврейские, персидские, лезгинские...» Л. Н. говорил: «Я имею некоторое понятие о восточной музыке. Персидские мотивы мне совершенно понятны, доступны. Поэтому я думаю, что и наша народная музыка им доступна. Новый мотив в первый момент чужд, а потом радуешься, что можешь проникнуть в него. Всякая народная музыка

доступна всем людям, персидскую поймет русский мужик, и наоборот, а господское вранье, например Рихарда Штрауса, никто, даже сами господа не поймут».

Может быть, Лев Николаевич преувеличивал ценность народной музыки, когда он хвалил банальные песни. Но он говорил, что такая музыка, хотя и принадлежит к низшему сорту, все-таки достигает своей цели, заражая слушателя известным чувством. Только подделку под народное творчество он отрицал и не любил.

Мнение Л. Н. Толстого о значении и ценности народной музыки подтверждается историей музыки. Начиная с тех композиторов, которые писали мессы на темы народных песен (Орландо Лассо, Палестрина и др.) и кончая современными, чуть ли не все композиторы сознательно или бессознательно пользовались народными мелодиями. Народная музыка дает плод — культурную музыку.

Перехожу к отношению Л. Н. Толстого к музыке композиторов.

Вот некоторые выводы, к которым я пришел на основании моих личных наблюдений и тех мнений, которые Лев Николаевич высказывал в своих произведениях и в устных разговорах.

Прежде всего он любил простую, ясную мелодию, причем он не боялся любить избитые мелодии. Он любил музыку ясную, энергическую, преимущественно мажорного характера. Большею частью о таких именно песнях он упоминает в своих произведениях («Барыня», «Сени мои, сени», «По улице мостовой», «Как со вечера пороша», «Эй вы, гусары», «Под яблонькой одной» и пр.).

Гармонию, контрапункт и разработку он чувствовал лишь постольку, поскольку этим оттенялась мелодическая канва пьесы. Фуги он находил искусственным и скучным родом музыки. Из произведений Баха ему нравились: известная ария Баха, его гавоты и некоторые старинные танцы, а из *Wohltemperirtes Clavier* лишь немногие пьесы, например, первая прелюдия и некоторые темы фуг, но не их разработка. Не знаю, насколько он был знаком с церковной музыкой Баха.

Он был довольно равнодушен к оркестровым краскам и даже говорил, что фортепианные вещи нередко лучше оркестровых, так же как в живописи рисунки нередко бывают лучше картин, писанных масляной краской. Из инструментов на него сильнее всего действовали смычковые

и фортепиано, что не мешало ему с удовольствием слушать даже балалайку и гитару. Вокальную музыку он любил не менее инструментальной, особенно песни. Оперу, как ложный, по его мнению, род искусства, соединяющий несоединимое — музыку и драму, — он не любил, говоря, что она не дает иллюзии, что на сцене он не может не видеть «толстого певца в трико». Он делал исключение для весьма немногих опер. Кроме «Дон-Жуана», «Волшебной флейты» и «Фрейшютца», я знаю только, что он с удовольствием смотрел «Орфея» и «Севильского цирюльника».

Танцы, но не банальные танцы, очень нравились ему. Он с удовольствием слушал вальсы Штрауса, венгерские танцы, полонезы Монюшко, не говоря уже про мазурки, полонезы и вальсы Шопена.

В статье «Что такое искусство?» он указывает на музыкальные произведения, которые он считает наилучшими. Это — народная музыка, а из ученой музыки — «очень немногие произведения, например скрипичная ария Баха, ноктюрн es-dur Шопена и, может быть, десяток вещей, не цельных пьес, но мест выбранных из произведений Гайдна, Моцарта, Шуберта, Бетховена, Шопена».

Однако этими произведениями, которые он считал отвечающими требованиям всемирного искусства, далеко не исчерпывается число пьес, которые он сам любил слушать. К ним следует присоединить еще многое.

Кроме народной музыки, он любил слушать старинных мастеров, вроде Рамо, Глука, Джона Булля и др., классиков — Гайдна, Моцарта, Бетховена, а также Вебера, Шумана, особенно Шопена и разные пьесы других композиторов. В 70-х годах он с удовольствием играл в четырехручном изложении симфонии и квартеты Гайдна, а также симфонии Моцарта и Шуберта, увертюры Вебера и пр. Дуэт «La ci darem» можно назвать его любимым дуэтом. В письме к дочери Татьяне и сыну Льву, находившимся в Париже, он писал: «Вчера после чепухинского квартета Чайковского, я разговорился с виолончелистом — ученик очень хороший, играющий в консерватории. А там начали петь. Чтобы не мешать пению, мы ушли в другую, заднюю комнату, и я горячо доказывал ему, что музыка новая зашла на ложную дорогу; вдруг что-то перебивает мне мысли, захватывает меня и влечет к себе, требует покорности. А это там начали петь... дуэт Дон-

Жуана «La ci darem l'amano». Я перестал говорить и стал слушать и радоваться и улыбаться чему-то. Что же это за страшная сила!»¹

Отношение Л. Н. Толстого к Бетховену было несколько сложно. Бетховен, кроме его последнего периода, производил на него очень сильное впечатление: в «Детстве» он описывает впечатление его героя от «Патетической сонаты»; в «Семейном счастье» он с любовью отзывается о «Лунной сонате»; рассказ «Крейцера соната» озаглавлен сонатой Бетховена; соната «Араassionata» всегда волновала его; наконец, сам он нередко играл как сонаты Бетховена, так и оркестровые его вещи (в четыре руки). Но, требуя в этом, как и в других случаях, критического отношения к общепризнанным кумирам, он всегда восставал против исключительного культа Бетховена, считая, что Бетховен злоупотребляет эффектами и что предшественники Бетховена, Гайдн и Моцарт, не ниже, если не выше его. Он считал, что Бетховен был не довершителем периода высшего расцвета музыки, а родоначальником упадка музыки, продолжающегося до сих пор. Я помню, как в 70-х годах он говорил, что гениальный художник дает в своих произведениях не только новое содержание, но и новую форму: Гайдн создал сонатную или симфоническую форму, Моцарт — оперу, Бетховен же творил в прежних формах, а именно в формах Гайдна и отчасти Моцарта; поэтому он спрашивал себя, следует ли признать Бетховена гением. Мне кажется, что в этом суждении о Бетховене он ошибался. Симфонические формы Бетховена настолько отличаются от форм его предшественников, что их можно назвать новыми формами: бетховенские построения шире и свободнее; некоторые (например, его скерцо) представляют нечто совершенно новое, так что если верно, что гений творит в новых формах, то это вполне применимо к Бетховену. Затем он находил, что Бетховен понятен сравнительно небольшому числу людей, что надо несколько искуситься в музыке, испортить свой вкус, чтобы понимать его, что в нем много искусственного. Наконец, он решительно не любил произведения последнего периода Бетховена, в чем сходиллся с Улыбышевым, книга которого «Beethoven et ses glossa-

¹ «Современные записки», 1928, XXXVI, стр. 202—204. Выдержка публикуется по подлиннику.

teurs», вышедшая в 1857 году, имела некоторую известность.

В дополнение к сказанному о Бетховене я вспоминаю, что Лев Николаевич сказал про сонату g-dur (Op. 14, № 2): «В первой части слышится как бы разговор мужа с женой, в общем — это *игрушечная* соната». В сонате Es-dur (Op. 7) он находил, что лучшая ее часть — трио из скерцо (в Es-moll), сонату C-dur (Op. 53) он находил искусственной и надуманной. Из последних сонат ему нравилось только Adagio с вариациями (E-dur) в сонате Op. 109.

Другим композитором, который по своему бодрому мажорному характеру был ему сродни, был Вебер. В 70-х годах он увлекался его сонатами и увертюрами.

В списке любимых произведений Л. Толстого видное место занимают также Шуберт и Шуман, особенно их песни. В романсе Шумана «Ich grille nicht» («Я не сержусь») он восхищался аккордами аккомпанеента и верно замечал, что в них есть что-то общее с первой прелюдией Баха (Wohltemperirtes Clavier). Больше других композиторов Л. Н. Толстой любил Шопена. Чуть ли не все им написанное ему нравилось. Шопен волновал и умилял его. Когда я ему как-то сказал, что Шопен мало доступен людям, плохо знакомым с музыкой, например крестьянам, он согласился с этим и сказал, что, к сожалению, он должен признать, что для понимания Шопена нужна некоторая музыкальная подготовка. «Я же его люблю,— прибавил он,— вероятно потому, что мой вкус уже испорчен».

Однажды он был тронут до слез прелюдией Шопена в d-moll и сказал: «Вот это — музыка! И какой простой и новый прием для окончания пьесы — эти три ре в басу!» По поводу одного вальса Шопена он сказал:

«У Шопена, как у всякого композитора, есть банальные места, но у него их мало, и он хорош даже и в этих местах; он банален как-то по-своему».

Казалось бы, что его особенное пристрастие к Шопену противоречит мнению, что он любил преимущественно энергическую, мажорную музыку. Но я думаю, что здесь противоречия нет, так как его прежде всего прельщала мелодичность Шопена, а затем из произведений Шопена он больше всего любил энергические и мажорные пьесы. В мижорных же пьесах ему нередко больше всего нравились вторые мажорные темы, ярко выступающие на ми-

порном фоне. К Вагнеру, Листу (кроме некоторых его переложений), Берлиозу, Брамсу, Рихарду Штраусу и другим более молодым композиторам Лев Николаевич относился отрицательно.

Он говорил про композиторов-новаторов: «Когда слушаешь их, иногда кажется, что вот-вот начнется что-то хорошее, мелодичное, но не успеет это хорошее начаться, как оно уже кончилось и потонуло в непонятных и ненужных диссонансах. Композитор мучает слушателей этими диссонансами, пока опять не проблеснет что-то понятное и опять потонет. Остается неудовлетворенное, беспокойное впечатление». Лев Николаевич вообще не любил Вагнера. Однажды он, прослушав два акта «Лоэнгрин», недовольный ушел из театра. Известно, как саркастически он отнесся к «Зигфриду», особенно к сюжету Нибелунгов. Помню только, что однажды я играл свадебный марш из Тангейзера, и он, не зная, чья эта пьеса, похвалил ее. Когда же я ему сказал, что это композиция Вагнера, он довольно верно заметил, что эта музыка напоминает Вебера. Отрицательное отношение Толстого к Вагнеру известный критик Н. Н. Страхов объяснял тем, что Л. Н. Толстой тонко понимал и чувствовал мелодию, но не гармонию. Между тем у Вагнера гармония преобладает над мелодией. Так ли это, не берусь судить. Вагнер мог отталкивать Льва Николаевича своим пристрастием к внешним грандиозным эффектам, отсутствием формы, своими сюжетами и своим приемом проведения тем в оркестре, а не в пении.

Некоторые пьесы Грига нравились Льву Николаевичу, особенно романс «Люблю тебя». Он чувствовал оригинальность Грига, но, прослушав «Марш троллей», он сказал: «Это уже слишком *григисто*».

Из русских композиторов Лев Николаевич любил слушать некоторые романсы Глинки, но без восторга относился к его операм и был равнодушен к «могучей кучке», произведения которой он, впрочем, мало знал. Знаю только, что его трогал романс Балакирева «Слышу ли голос твой».

Когда-то анданте Чайковского вызвало слезы Льва Николаевича, я думаю, что это было самое сильное его впечатление от музыки Чайковского. Помню, что он с удовольствием слушал некоторые романсы Чайковского и еще кое-что (например, первую симфонию).

Про А. Рубинштейна он говорил: «Рубинштейн знает слишком много чужой музыки: это мешает ему быть самобытным. У него есть немного искренних, но довольно банальных вещей (например, его романсы для фортепиано *es-dur* и *f-dur*, *Valse carrique* и др.)».

Я стеснялся показывать отцу свои слабые композиторские попытки. Однажды он случайно услышал, как я играл одну короткую тему, мною сочиненную, и удивился, что я ее изобрел. Он нашел, что мой романс «Мы встретились вновь» искренен; ему также понравились некоторые мои гармонизации шотландских песен.

Можно не соглашаться с суждениями Л. Н. Толстого о тех или других пьесах, особенно с его отрицательными суждениями, но нельзя не признать, что у него был верный и тонкий музыкальный вкус и что он ценил только действительно хорошую музыку. Это не только мое мнение, но и мнение тех музыкантов, которые его знали, например С. И. Танеева и А. Б. Гольденвейзера. Надо также принять во внимание, что суждения Льва Николаевича о музыке, записанные с его слов, иногда противоречивы, иногда парадоксальны.

В «Детстве» и «Отрочестве» он называет музыку воспоминанием о чувствах. Иногда он говорил: «Музыка есть воспоминание о том, чего никогда не было».

Те же мысли он высказывал в старости, в 1905 году, в письме к жене от 17 января:

«Я на днях думал о музыке вот что: музыка есть стенография чувств. Когда мы говорим, мы понижением, возвышением, силою, быстрой или медленной последовательностью звуков выражаем те чувства, которыми сопровождаем то, что говорим: вырабатываемые словами мысли, образы, рассказываемые события. Музыка же передает одно сочетание и последовательность этих чувств без мыслей, образов и событий. Мне это объясняет то, что я испытываю, слушая музыку»¹.

В том же 1905 году (20 января) он записал в дневнике: «Музыка есть стенография чувств. Вот что это значит: быстрая или медленная последовательность звуков, высота, сила их — все это в речи дополняет слова и смысл

¹ «Письма к жене», М. 1913, стр. 577.

их, указывая на те оттенки чувств, которые связаны с частями нашей речи. Музыка же без речи берет эти выражения чувств и оттенков их и соединяет их, и мы получаем игру чувств без того, что вызывает их. От этого так особенно сильно действует музыка, и от этого соединение музыки со словами есть ослабление музыки, есть возвращение назад, выписывание звуками стенографических знаков»¹.

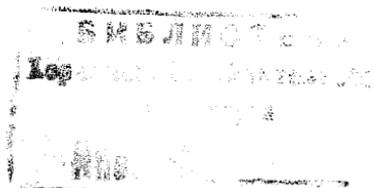
Л. Н. Толстой как будто сам не удовлетворялся своим объяснением действия музыки на слушателя. В душе у него оставалась некоторая доля недоумения: почему звуки умиляют, волнуют и раздражают? В глубокой старости, в 1907 году, он сказал доктору Маковицкому: «Как я ни стар, я все-таки не знаю, как определить, что такое музыка».

Сомневаясь в вопросе о *причине действия* музыки на людей, Лев Николаевич не сомневался в *значении музыки*, в цели, к которой музыка должна стремиться. Об этом он определенно высказывался как в частных беседах, так и в своей статье об искусстве. В этой статье он вообще искусству ставит двойную цель: или служить религиозному пониманию мира установлением отношения человека к богу и людям, или служить общению людей между собой. Первую категорию произведений искусства он называет религиозным искусством, вторую — всемирным искусством. Музыку он причисляет ко второй категории. Музыка служит единению и общению людей между собою. Сказав Маковицкому, что он не знает, как определить, что такое музыка, Лев Николаевич прибавил: «Но музыка хороша тем, что соединяет людей в одном чувстве». В том, чтобы «соединять людей в одном чувстве», и заключается, по его мнению, цель музыки. Отсюда его требование, чтобы музыка захватывала широкий круг людей, особенно рабочий народ. Поэтому он называл настоящим искусством прежде всего народное музыкальное творчество, а затем уже музыку разных композиторов. Поэтому же он считал настоящим искусством разные песни и танцы, популярные мелодии, вальсы Штрауса и цыганские песни, игру на балалайке, даже на гармонике и т. п.; он считал, что если такое, низшего порядка, искусство заражает слушателей известными чувствами, то оно дости-

¹ Юбилейное изд., т. 55, стр. 116—117.

гает своей цели. Конечно, он признавал, что музыка музыке рознь, что есть высокий и низменный род, есть музыка тривиальная и даже служащая дурным целям. Но прежде всего он требовал, чтобы хорошая музыка была доступна большому числу слушателей. По его мнению, музыка тем менее отвечает своей основной цели, чем теснее круг лиц, ее понимающих. Он даже себя причислял к людям, испортившим вкус на ученой, исключительной музыке, и поэтому он не доверял своему вкусу.

Я думаю, что отец мой был прав, указав на то, что композиторы, затемняющие музыкальный язык в погоне за интересными, но искусственными эффектами, стоят на ложном пути. Эти изысканные произведения, если даже станут понятны широким массам, не доставят им наслаждения. Будущность принадлежит тем музыкантам, которые проявят свое вдохновение на серьезном, ясном и понятном музыкальном языке. Нельзя также не согласиться с Л. Н. Толстым, что забава небольшой группы праздных людей не должна служить целью искусства; искусство — дело важное и серьезное, нужное всем.



СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
-----------------------	---

Часть первая

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Жизнь нашей семьи до осени 1881 года	11
Мой отец в семидесятых годах,—высказывания его о литературе и писателях	70
С осени 1881 до осени 1898 года	
Первая зима в Москве (1881—1882)	109
Университет	121
Поездка в самарское имение	127
Разлад	132
1884—1887 годы	144
Почтовый ящик	152
Д. И. Менделеев и самозванцы поневоле	162
Петербург 1888—1890 годов	175
1890—1897 годы	181
Мое участие в эмиграции духоборов в Канаду. П. А. Кропоткин (1898—1899 годы)	186
Л. Н. Толстой в Крыму в 1901—1902 годах. Встречи с Чеховым и Горьким	205
Осенью 1905 года	218
1910 год. О последних месяцах и днях жизни Л. Н. Толстого	
Осень 1910 года, перед уходом отца	226
Отъезд отца из Ясной Поляны. Наша переписка с ним после ухода	246
В Астапове	257
Последний путь	265
Кончина моей матери	272

Часть вторая

**ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО.
МУЗЫКА В ЖИЗНИ МОЕГО ОТЦА**

Сергей Николаевич Толстой (дядя Сережа)	279
Марья Николаевна Толстая (тетя Маша)	286
Тургенев в Ясной Поляне	299
Князь Сергей Семенович Урусов	319
Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин)	327
Илья Ефимович Репин	334
Николай Николаевич Ге	340
Александр Сергеевич Бутурлин	344
Сергей Иванович Танеев	353
Владимир Григорьевич Чертков	369
Музыка в жизни моего отца	373

Редактор *К. Малышева*

Художественный редактор *К. Буров*

Технический редактор *В. Гриненко*

Корректоры *А. Сергиенко* и *М. Доценко*

Сдано в набор 28/1 1955 г. Подписано к печати 3/IV 1955 г. А 02718.
Бумага 84 × 108¹/₃₂ — 25 печ. л. = 20,5 усл. печ. л. 20,514 уч.-пзд. +
+ 6 вклеек = 20,914 л. Тираж 75 000 экз. Цена 8 руб. Заказ 81.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.